

ДЕНЬ ПОЭЗИИ

1978



ДЕНЬ ПОЭЗИИ

1978

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ

1978



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. М. Дмитриев (главный редактор);

М. И. Алигер, Э. В. Балашов (составитель), Л. Н. Васильева, М. Л. Матусовский, Л. А. Озеров, Н. В. Панченко, А. В. Преловский (составитель), Г. М. Поженян, Е. Ю. Сидоров, С. Л. Соложенкина, В. Н. Соколов, Е. Л. Храмов, Л. В. Щипахина, А. В. Юдахин.

ХУДОЖНИК В. ЛЕВИНСОН

ФОТО А. КАРЗАНОВА, В. КРОУДИНА, Н. КОЧНЕВА, Н. ЛАВРЕНТЬЕВА, В. ШАГОВА

Уважаемый читатель!

В этом году исполнилось шестьдесят лет Москве как столице первого в мире социалистического государства. Московские поэты горды этой знаменательной датой и посвящают родному городу многие стихи, вошедшие в сборник «День поэзии 1978». А открывает его маленькая антология стихотворений, написанных в разные годы свидетелями исторических событий: переезд Советского правительства в Кремль, парад на Красной площади в честь первой годовщины Октября, первый суббота...

Второй раздел — отчет московских поэтов перед вами, равно как и третий, где авторы, как принято на поэтических встречах, читают по кругу: с одним стихотворением обращаются к вам поэты разных поколений. В четвертом разделе нашего сборника мы хотим познакомить вас с наиболее интересными из молодых — о некоторых из них доброжелательно говорят известные критики и поэты.

С добрыми словами обращаются московские писатели в следующей части сборника к поэтам, живущим в разных краях нашей Родины. Список наших адресатов конечно же не охватывает всех, кому хотелось бы сказать добрые, сердечные слова. Но пусть все поэты, живущие далеко от Москвы, разделят тепло дружеского рукопожатия!

Мы надеемся, что читателя заинтересуют публикации и статьи, помещенные в последних разделах нашего сборника.

Будем рады, если фотографии на вкладках еще раз подтвердят, что Москва — город воистину поэтический.

Доброго пути вам по этому городу!

РЕДКОЛЛЕГИЯ

1



Степан Щитачев

ИЗ ПОЭМЫ «ПЕСНЬ О МОСКВЕ»

...Март при советской власти шел
впервые.
Капель дробилась на ветру пылью.
Входила в Кремль машина. Часовые
еще не знали Ленина в лицо.

У стен зубчатая лежала тень.
В ботинках и обмотках часовые
переминались у ворот. Впервые
в Кремль въехал Ленин.

Был прекрасный день!
Даль за бойницами была ясна.
Он из машины вышел, кепку тронул.
Шла по земле великая весна —
и падали правительства и троны.

1968

Николай Полетаев

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

Знамен кровавых колыханье
На бледно-синих небесах,
Их слов серебряных блистанье
В холодных и косых лучах.

Рядов сплоченных шаг размерный,
И строгость бледно-серых лиц,
И в высоте невероятной
Гудение железных птиц.

Не торжество, не ликование,
Не смехом брызжущий восторг,
Во всем холодное сознание,
Железный, непреложный долг.

7 ноября 1918 г.

Сергей Есенин

КАНТАТА

Спите, любимые братья.
Снова родная земля
Неколебимые рати
Движет под стены Кремля.

Новые в мире зачатья,
Зарево красных зарниц...

Спите, любимые братья,
В свете нетленных гробниц.

Солнце златою печатью
Стражем стоит у ворот...
Спите, любимые братья,
Мимо вас движется ратью
К зорям вселенским народ.

1918

Василий Казин

КАМЕНЩИК

В. Александровскому

Бреду я домой на Пресню,
Сочится усталость в плечах,
А фартук красную песню
Потемкам поет о кирпичах.

Поет он, как выше, выше
Я с ношей красной лез,
Казалось — до самой крыши,
До синей крыши небес.

Глаза каруселью кружило,
Туманился ветра клич.
Утро тоже вносило,
Вносило красный кирпич.

Бреду я домой на Пресню,
Сочится усталость в плечах,
А фартук красную песню
Потемкам поет о кирпичах.

1919

Василий Александровский

МЫ

На смуглые ладони площадей
Мы каждый день расплескиваем души,
Мы каждый день выходим солнце
слушать
На смуглые ладони площадей...

Что горячее: солнце или кровь? —
Оно и мы стоим на вечной страже,
Но срок придет, и мы друг другу
скажем,
Что горячее — солнце или кровь...

Мы пьем вино из доменных печей,
У горнов страсти наши закаляем,
Мы, умирая, снова воскресаем,
Чтоб пить вино из доменных печей...

У наших девушек бездонные глаза,
В голубизну их сотни солнц вместятся,
Они ни тьмы, ни блеска не боятся...
У наших девушек бездонные глаза...

На смуглые ладони площадей
Мы каждый день расплескиваем души,
Мы каждый день выходим солнце
слушать
На смуглые ладони площадей...

1921

КУМАЧ

Красные зори,
Красный восход,
Красные речи
У Красных ворот,
И красный — на площади Красной
Народ.

У нас пирогами
Изба красна,
У нас над лугами
Горит весна.

И красный кумач
На клиньях рубах,
И сходим с ума
О красных губах.

И в красном лесу
Бродит красный зверь...
И в эту красу
Прошумела смерть.

Нас толпами сбили,
Согнали в ряды,
Мы красные в небо
Врубили следы.

За дулами дула,
За рядом ряд,
И полымем сдуло
Царей и царят.

Не прежнею спесью
Наш разум строг,
Но новые песни
Все с красных строк.

Гляди ж, дозируя,
Веков Калита:
Вся площадь до края
Огнем налита!

Краснейте же, зори,
Закат и восход,
Краснейте же, души,
У Красных ворот,

Красуйся над миром,
Мой красный народ!

1921

КРЕМЛЬ
В БУРАН КОНЦА 1918 ГОДА

Как сброшенный с пути снегам
Последней станцией в развалинах,
Как полем в полночь, в свист и гам,
Бредущий через силу в валяных,

Как пред концом в упадке сил
С тоски взывающий к метелице,
Чтоб вихрь души не угасил,
К поре, как тьмою все застелется.

Как схваченный за обшлага
Хохочущею вьюгой нарочный,
Ловящий кисти башлыка,
Здороваящуюся в наручнях.

А иногда! — А иногда,
Как пригнанный канатом накороть
Корабль, с гуденьем, прочь к грядам
Срывающийся чудом с якоря,

Последней ночью, несравним
Ни с чем, какой-то странный, пенный
Он, Кремль, в оснастке стольких зим,
На вынешней срывает ненависть.

И грандиозный, весь в былом,
Как визионера дивинация,
Несется, грозный, напролом,
Сквозь неистекший в девятнадцатый.

Под сумерки к тебе в окно
Он всею медью звонниц ломится.
Бойтся, видно, — год мелькнет, —
Упустит и не познакомится.

Остаток дней, остаток вьюг,
Сужденных башням в восемнадцатом,
Бушует, прядает вокруг,
Видать — не наигрались насыто.

За морем этих непогод
Предвижу, как меня, разбитого,
Ненаступивший этот год
Возьметса сызнаова воспитывать.

1918—1919

ПРОЩАНИЕ С МОСКВОЙ

Опять до рассвета не спится.
Причины врачам не постичь.
По доброму гулу столицы
тоскует Владимир Ильич.

По стенам тоскует и башням,
по улочке каждой кривой,
по всей ее жизни тогдашней,
по всей толчее трудовой.

Из этого парка и сада,
ровняющих мирно листву,
ему обязательно надо —
хоть на день — прорваться
в Москву.

Легко ли рукою некрепкой,
завидев предместья Москвы,
свою всероссийскую кепку
замедленно снять с головы?

И с той же медлительной силой,
какою в те годы жила,
навстречу столица склонила
свои — без крестов — купола...

Оно еще станет сказаньем,
легендою станет живой
последнее это свиданье,
прощальная встреча с Москвой.

Прощание с площадью Красной,
где в шествии будущих дней
пока еще смутно, неясно
чуть брезжил его Мавзолей...

1971

Владимир Маяковский

ИЗ ПОЭМЫ «ХОРОШО!»

Холод большой.	Зима здоровá.	На трудовом субботнике.
Но блузы	прилипли к потеньким.	Мы не уйдем, хотя
Под блузой коммунисты.	Грузят дрова.	имеем уйти все права.

В наши вагоны,
на нашем пути,
наши
грузим
дрова.
Можно
уйти
часа в два,—
но мы —
уйдем поздно.
Наши товарищам
наши дрова
нужны:
товарищи мерзнут.
Работа трудна,
работа
томит.
За нее
никаких копеек.
Но мы
работаем,
будто мы

делаем
величайшую эпопею.
Мы будем работать,
все стерня,
чтоб жизнь,
колеса дней торопя,
бежала
в железном марше
в наших вагонах,
по нашим степям,
в города
промерзшие
наши.
«Дяденька,
что вы делаете тут,
столько
больших дядей?»
— Что?
Социализм:
свободный труд
свободно
сбравшихся людей.

2



МОСКОВСКИЕ ПЕЙЗАЖИ

1

Хорошо, что в Москве устремленно живется,
Не бывать тишине и не место покою,
И листва, что весною бульварами льется,
Точно волосы вихрит зеленой рукою.

Хорошо, что здесь улицы разноречивы,
Как и россыпи мыслей в умах у прохожих,
Потому что мечтанья, надежды, порывы
Не такие, как всюду, никак не похожи.

Здесь и в снах быстрота исполинская свится.
Рушит прошлое, словно дубы вековые,
Потому что такой не бывало столицы,
И в истории мира такая — впервые!

2

Каждый праздник по своей природе
Любит шум, и красочность, и звон,
И на площадь Красную приходит
Красный лес плакатов и знамен!

Мирные здесь песни запевая,
Шествует народная душа,
Молодые игры затевая
И в рядах все возрасты смешав.

И невольно, хочешь или не хочешь,
Но в веселом, праздничном ряду
Вспоминаешь Красную ты площадь
В сорок первом боевом году!

Как по ней непобедимой лавой
На параде двигались полки,
Шел народ на смертный бой и правый,
Падал снег на танки и штыки.

3

Мы из песен дружеских, любовных,
Под Москвой, на Ленинских горах,
Знаем хорошо о подмосковных,
О московских знаем вечерах.

Но и ночь с грозой вдохновенья
Нас влечет в неудержимый бег,
Когда самым сказочным виденьям
Может быть подвластен человек.

И, служба простору непростому,
В мир идет он, неизвестный нам,
Иль к стихов звучаңью золотому,
К музыке ль, к серебряным волнам!

Иль в ночи далекой, чужестранной
Вдруг встает видением Москва,
Так близка и так душе желанна,
Что бессильны всякие слова...

Степан Щитачев

ЕСЛИ Б Я МОГ!

Перед вершинами снеговыми
встану и, как ни гляжу,
сам себе перед ними
малым пригорком кажусь.

Вдруг просветлею и в строки
мысль отливаю, граңя.
Самодовольство
на долгой дороге
как-то и тут не коснулось меня.

Если б я мог
из солнца, из трав, из земли
слово создать,
душу в него вселить,
чтобы с ним люди
радовались, горевали,
беды одолевали,
не уставали
на любом перевале...
Если б я мог!

ПО ПРАВУ

Может, подумать пришло
о сыновьях и потом
молча склониться над белым
нотариальным листом.
Я им оставляю по праву
не сухоматку анкет —
родины трудную славу,
нашего знамени цвет,

то, что не нажил и нажил,
труд, холода декаблей,
красные праздники наши
в листиках календарей,
гордую память о прошлом
и... для добра, для добра,
а не для сытости пошлой
счет с моего пера.

НА ЮБИЛЕЕ ПОЭТА

Восторгов заученных на юбилее
хватает. Оратор — на папке рука —
лицом к юбиляру стоит. Не жалеет
потупленной скромности старика.

«...Проверено. Точно все. Цифры в руках.
Ты сам представляешь едва ли,
у скольких сердец, на скольких языках
стихи твои перебивали.

Что имя твое среди первых имен —
кто этому может не верить?!

Тебе в антологии всех времен
распахнуты будут двери.

Дорога у славы твоей ясна.
Весна ее не обернется зимою,
и телеэкранов голубизна
строки твоей не размочет.

Не станем гадать. Но, возможно, когда
века отшумят, пронесутся тучи,
вдруг даты какой-то зажжется звезда,
и вспомнят поэтов, сегодня живущих.

Покинув на полках большие тома,
стихи (и твой) сквозь торжественный
гомон
войдут собеседниками в дома
к потомкам далеким и незнакомым».

Винючник торжеств. Он томится. Рукою
то капельку пота смахнет на носу,
то грустную с тонких морщинок слезу.
Но он юбиляр —
и услышит еще не такое.

Павел Антокольский

ТЕНЬ

Я тень того, что беспредельно старше
Всех возрастов. Но я всегда на марше,
В походе, в полной выкладке пехоты
Не дожидаясь отпуска и льготы.

Я только тень. И, оставаясь тенью,
Вьюсь по стене, ползучее растение,
Из жизни в жизнь, из юности в другую
И сказками на ярмарках торгую.

Я вымысел, которому конца нет,
Будь он соната, статуя или танец,
Будь Монте-Кристо или Калиостро
В пробелах или в подмалевке пестрой.

Я память и беспамятство. Я дерзость
И робость. Подо мной земля разверзлась.
И клинопись на глиняных таблицах
Вам воскрешает чудищ меднолицых.

А тень бредет по облакам и странам,
Чужим романам и киноэкранам,
Растет до потолка при свете лампы
И грустные дочитывает ямбы.

Я только тень того, что дальше смерти.
Какая даль! Попробуйте и смертью!
Я тень, но я расту своею силой,
Пока меня случайность не скосила.

МАРКИЗ ДЕ КАРАБАС

(Вариация на тему сказок Перро)

Маркиз де Карабас гулял по сказкам,
Ничем не потрясен, слегка потаскан,
Лорнировал века.
Кот в сапогах служил ему смиренно.
Но никакая ловкая сирена
Не обольстила старика.

Когда же наш маркиз попал в темницу,
Где род людской столетьями томится,
Он обнаружил там
Такой уход за собственной персоной,
Что изнемог от скуки — вялый, сонный —
И предался мечтам...

О чем? — Бог весть... О прошлом,
о грядущем...
О некоем Кощее завидушем,
Замзаве местной лжи:
Все было мыслимо. Все достижимо.
Все сейфы открывались без нажима —
Лишь только прикажи...

Однако и маркизу было жутко
Бездействовать в эпоху промежутка.
Маркиз мечтал попасть
В обыкновенный Ад, в простую драму,
Где дряхлый Кот не стерпит тарараму,
Лишь разевает пасть.

Яков Аким

* * *

Я хотел своей любимой
Подарить стихи
О дожде, который плещет
Ночью со стрехи,

И еще о сером небе
С каплей на щеке,
А потом — о теплом снеге
На ее виске.

Ни строки. Бела бумага.
Ночь черным-черна.
Как в ущелье Копет-Дага,
Давит тишина.

Я привык с тобой ночами
Молча говорить.
Кроме этого молчанья,
Нечего дарить.

СТИХИ ОБ ОЛОВЯННОМ СОЛДАТИКЕ

Жил мальчик в довольстве и счастье,
Легко и доверчиво жил.
Нехитрой мальчишеской страстью
К солдатикам был одержим.

Бегом возвращаясь из школы,
Устраивал войску привал
И маршик простой и веселый
Ему без конца напевал.

Ах, целого дня было мало!
Но мать, наклоняясь, ждала,
Солдатиков в шкаф убирала
И сына к роялю вела.

Опять распостылая гамма!
А им взаперти каково?
Он плакал и думал, что мама
Совсем разлюбила его.

Шли годы. Он сделался старше.
И снова, невесть почему,

Солдатиков трубные марши
Однажды вернулись к нему.

Играл ли он Баха и Листа,
Казалось, за рампой, вдали
Под музыку эту на приступ
Солдаты любимые шли.

О, кто объяснит, как искусно,
Едва наступает черед,
Преследует жертву искусство
И сладким измором берет.

Когда пробуждается Фауст
И душу готов прозакласть
За годы мучительных пауз
И взлета минутную власть,

За вечное хватит — не хватит
Огня до последней версты...
Молчит оловянный солдатик,
В печальной улыбке застыв.

Эдуард Бабаев

ЗАВОДСКАЯ СИБИРЬ. 1944

НОЧНАЯ СМЕНА

Апрель. Ночная смена. Огонечки.
И взрывчатые белые дымки.
Электросварок ледяные точки,
И звезды сыплются из-под руки.

Над корпусами воздух дымно-розов,
И мир завода темен и велик.
Лишь слитный гул военных паровозов
Растет и сотрясает материк.

ЭЛЕКТРОСВАРКА

От бессонного пламени жарко,
Строги лица в защитных очках.
О вечерняя электросварка,
Связка молний в рабочих руках.

И сердца наши мало-помалу
Одевались в литую броню.

РОМАШКА

На ромашках не гадали,
Как бывало в старину,
Те, кого вы покидали,
Отправляясь на войну.

Этой силы не измерить,
Не забудешь никогда! —

Электрод прикоснется к металлу,
И металл уступает огню.

Только огненный голос услышу,
Забываю, что есть тишина.
Бьются искры в стеклянную крышу,
А за ней облака и весна.

Не гадать, а только верить
Надо было в те года.

Вся земля вздыхала тяжело,
Но рассеивалась мгла,
И на бруствере ромашка
Под бомбежкой цвела.

Александр Балин

ЗВЕНЬЯ

Родился...
Стал кричать, потом молчать,
Коль сух и сыт и всякое такое...
Мать ухитрялась левою качать,
Тетради править — правою рукою.

Пополз, перемахнув через порог,
По нешироким школьным коридорам.
Родители мои, прервав урок,
Глядели на меня с немым укором.

Поскольку я занятиям мешал,
Напопдавав тылам моим несильно,

* * *

Воевал я на танке-амфибии,—
Лошадь, лев, бронированный пшик...
Митя Чалов в легчайшем подпитуи
Был довольно серьезный мужик.

Брал за траки машину железную,
И без жалких ха-ха и хи-хи
Он укладывал набок болезную
В белорусские плотные мхи.

Возлежала она преспокойненько,
Не краснела от пламенных фраз,

Совали в руки пустотелый шар,
Чтоб я его накручивал посылно.

Голубовато-желтый, предо мной
Крутился, заворачивая зренье,—
Малюсенький и добрый шар земной,
Моя отрада и успокоенье.

Прошло полвека с милой той поры...
Отчетливо я вижу и поныне,
Как крутятся прекрасные миры
Под детскими ладошками земными.

Согласившись, что на два покойника
Габариты ее — в самый раз.

От осколков и пуль конопатая,
В лишаях — от снегов и воды...
Митя брюхо ей чистил лопатой,
Тер соляркой заклепок ряды.

Перекуривал...
Без напряжения
Брал за башню отраду свою,—
Принимала она положение
Уставное в железном строю.

Яков Белинский

РАБОТАЮЩАЯ ДУША

Всё было. И зной, и ненастье.
Грубела в походной пыли.
Бессонно работали страсти.
Состарить тебя не смогли.

Металл устаёт и камень:
сработаны грани, ржа.
А ты, хоть на сердце шрамы,
все молода и свежа.

К тебе прицелились на рынке.
Ласкали, губя и гася.

Но — крик беззащитной травинки —
и ты отзываешься вся

на трепетный зов человеческий,
на день, что сквозит новизной, —
и — всюю собой! — навстречу,
всей незавершенной судьбой.

Идущая. Ждущая. Режущая.
Сквозь годы. Спеша и греша...
Самое нестарее —
работающая душа.

САД

Мир за воротами ограды
как строчки начатой главы,
мелкозернистый почерк сада,
курчавой вычурной листвы.

Как чья-то рукопись в архиве,
густая скоропись руки,
кривые строчки торопливы,
как гения черновика,

то все в свету, то скрыты тенью,
то различимые едва...
Ждет молча моего прочтения,
как чья-то тайнопись, листва.

И, робко ветвь рукой отринув,
вхожу в густеющую тьму,
вникая жадно в сердцевину,
невидимую никому.

Валентин Берестов

ПОВЕСТКА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

Мир не видал врачей таких веселых,
Как эти окулист или ушник,
Как этот балагур невропатолог.
А тот хирург с медалью? Вот шутник!

Мы нагишом пред ними представляли,
Ремесленник, механик и студент,

И совершенно не подозревали,
Что это исторический момент.

Для тех, кто оперирует и лечит,
Для тех, кто нас осматривает тут,
Мы — первые, кого не изувечат,
Мы — первые, которых не убьют.

МОРСКАЯ ПРОГУЛКА

Идет прогулочный баркас
Вдоль голубого мыса.
Семь чаек вьются за кормой
И две над головой.

А с берега глядят на нас
Дворцы и кипарисы.
А с горизонта мчится вал
К черте береговой.

Одни забыли об игре,
Другие — о потерях.
На лицах взрослых — озорство,
На детских лицах — грусть.

Все дети на море глядят,
Все взрослые — на берег.
А я на лица тех и тех
Гляжу — не нагляжусь.

НА ЯЗЫКЕ ТЕХ ЛЕТ

Был праздник под названием МЮД,
И в МОПР вступал рабочий люд.
Отец мой дважды в шестидневку
В народный дом ходил на спевку.
Лишь незадолго до войны
Недели были введены.
Спорт звали только физкультурой,
Любую ткань — мануфактурой.
Мне горло кутали кашне.
С зажимом галстук был на мне.
А на зажиме пять поленьев

И пламени пять языков —
Эмблема пионерских звеньев,
Союз пяти материков.
В копилку клали мы монетки
Для новостроек пятилетки.
Друзьям на языке тех лет
Мы слали пламенный привет.
А недостатки мы вскрывали
И постепенно изживали.
И жизнь отдать за счастье масс
Мечтали лучшие из нас.

* * *

По крепости, песками занесенной,
Шофер шагает экспедиционный:
«А здесь был рынок, надо полагать»,
И бабы перессорились на рынке,
И все друг в дружку начали швырять
Горшки, кувшины, банки, склянки, крынки.

С тех пор прошло одиннадцать веков,
И вот извольте — россыпь черепков».
Мы соберем осколки все подряд,
Расчистим и напишем этикетки.
Посуда бьется к счастью, говорят.
О сколько же ее разбили предки!

Елена Благинина

* * *

Я на земле не праздник жизни правлю,
А скромное подвижничество дня
И потому не блеск звезды оставлю,
А только отсвет тихого огня.

* * *

Котенок плачет, а дитя хохочет,
Еще не понимая — что к чему...
А бабушка помочь ему не хочет,
Помочь не хочет внуку своему
Стать человеком...

* * *

Деревце рубили не жалея,
Потому что застило оно...
В доме стало чуточку светлее,
А зато в душе — темным-темно!

* * *

Паук, трудолюбив и весел,
Авоську сплел, под водосток повесил.
Туда росины крупные скатились
И засияли, засветились.
И сделалось такое волшебство,
Что описать немислимо его!

КОКТЕБЕЛЬ

Не море сияет и плещет
И хлещет в глаза синевой,
А плачет металл и скрежещет
И жалуется, как живой.

И в скрежете этом постылом,
Всегда — наяву и во сне

Я помню о береге милом,
О кроткой его тишине.

Об этой негрозной вершине,
Где солнечно и ветрово,
Где вместе покоятся ныне
Поэт и Подруга его.

ОЙ, ПОДРУЖЕНЬКИ МОИ!

Сусанне Георгиевской

Ой, подруженьки мои, голубки,
Расцвели на той поляне любки!
Тонкие, негаснущие свечи
На свету прохладном серебрятся...
Только это далеко-далече,
Нам теперь туда уж не добраться,
Нам до этих любок не подняться...

Хорошо, что память не остыла,
Сберегла все то, что свято было,
Всю красу земную сохранила.

Александр Боброз

* * *

Покачнулась звезда на степном небосклоне,
Захлебнулся набат, разбудив города.
Стремя в стремя неслись низкорослые кони,
По открытой земле растекалась орда.

Долго во поле чистом с ней не было слада,
Не склоняла орда черно-желтых знамен.
Ведь недаром в рядах головного отряда
Были воины всех покоренных племен.

Чтоб сливались в безудержном первом напоре
Неизбывная горечь проигранных сеч,

Униженье мужчины и родины горе,
Той, которую пленник не смог уберечь.

И в далеких походах, до самой Непрядвы,
С диким криком летящие в полный опор,
Подминали врага головные отряды,
Чтобы с ним разделить пережитый позор.

Но не дрогнули те, что рекою, как плетью,
Отсекли все пути отступленья во мгле,
Чтобы встретиться утром с победой иль смертью
На своей, на единственной —
Русской земле!

ТИХООКЕАНСКИЙ ТОСТ

Скажет моряк, поднимая стакан,
Скажет рыбак, забывая заботы:
— Ну, да не высохнет наш океан!
Да не останемся мы без работы!

Будет в их жизни немало минут
Грусти, сомненья, неверия в счастье.
Люди не раз океан проклянут,
Но воспоют его все-таки чаще.

Здесь, где жирует годами кета,
Прежде чем в реки идти нереститься,
Трудятся три легендарных кита,
Не позволяя Земле опуститься.

К мысу Терпения, на Шикотан
Рвутся домой сейнера, мотоботы,
Чтобы на суше сказал капитан:
— Ну, да не высохнет наш океан,
Да не останемся мы без работы!

Владимир Британнишский

* * *

В необозримых пространствах России
был мне, как посох идущему, дан
мой петербургский инстинкт симметрии,
дух классицизма, порядок и план.

В тундрах, в болотах и в дебрях таежных,
ясностью разума вооружась,
шел архитектор со мной и художник,
преображавший природу в пейзаж.

Правильным строфам и стройным колоннам
уподоблялись Урал и Кавказ,

по петербургским суровым канонам
строил Сибирь указующий глаз.

Как мне легко покорялась натура,
не возражая, не споря со мной!..
Только теперь мне видна квадратура
круга земного и жизни земной.

Только теперь, возвращаясь к истокам,
в город, чьи так мне присущи черты,
вижу в его классицизме высоком
бездну безумья и дерзость мечты.

ТАТИЩЕВ

Четырехпудовый бивень мамонта
преподнес Татищев государю,
зверя мамонта, зело громадного,
соразмерного с сибирской далью.

Ведавший казенными заводами,
рудами, какие где отыщут,
над Сибирью — воздухами, водами
и зверями — мудрствовал Татищев.

Он, любителю всего гигантского,
куриоз Петру привез великий.
А себе, из Дрездена и Данцига,
привозил лишь книги, книги, книги.

Геродота покупал и Тацита,
«Жизнь Сократа» и трактат Коперника
(чье ученье церковью отвергнуто),
философию, фортификацию...

Дом себе поставив над плотиною,
основатель Екатеринбурга
книги, книги — страсть свою единую —
здесь хранил (он не любил сумбура).

Вечно отрываемый от чтения,
город озирал хозяйским глазом...
Все имел он: честь, чины, имение,
но всего превыше ставил — разум.

Нина Бялосинская

* * *

То ли свет,
то ли смех,
то ли возглас,
то ли взлет жаворонка в зенит —
позапрошлый полуденный возраст
в глубине моей робко звенит.
Не забытый,
еще не избытый,
но уже невозвратный к себе.
На отдельные вздохи разбитый,
на отдельные взмахи в судьбе.
И еще не на грани заката —
на истоке, на выдохе дня,

я как будто сама виновата
в тишине, цепенящей меня.
То ли легкости нет,
то ли мочи,
то ли искус — «себя пожалей».
То ли стали протяжнее ночи,
то ли утренний сон тяжелей.
Только этот —
дрожащий, —
но все же
неугаснувший голос,
живой,
то на ветер осенний похожий,
то на ливень еще грозовой.

ОДНОКЛАССНИК. 1941 г.

Приходят годы
и уходят.
А он — убит,
убит,
убит...

А мы не ждали,
мы не ждали
такую рифму
на «любить».

Константин Ваншенкин

СТИХИ ОБ ОДНОЙ КОМНАТЕ

Жили в комнате одной?
Вам тогда понятно это.
Долгожданной выходной,
А отец встает до света.

Электричество зажег
Или встал, не зажигая, —
Ведь за окнами снежок,
Площадь белая такая.

Если комната одна,
От нее немного толку.
Терпеливая жена
Ночью плачет втихомолку.

Два несчастных старика
Стонут, словно от разлуки.

Ревматизм наверняка
Им выкручивает руки.

Если комната одна,
То, конечно, здесь же дети.
Им порою не до сна.
О каком тут речь секрете!

Жили в комнате одной,
Говоря: «Была б квартира»?..
Предвоенным и войной,
Как волною, окатило.

Жили — вон она видна.
Правда, были помоложе...
Но и жизнь всего одна, —
Вы учитывайте тоже.

* * *

Приемник выключен — и сразу
Погас. Но на исходе сил
Уже бессмысленную фразу
Артист почти договорил.

С недоумением и обидой,
Однако явственно вполне.
Так мог бы говорить убитый,
Что и случилось на войне.

БАЛЛАДА О ПОБЕГЕ

Э. А. Киселеву

Из госпиталя — в часть!
В часть под любым предлогом.
Сестра заснула, шашь —
И вот он за порогом.

И сразу же во тьму,
В сад черный и холодный.
Вчера, прощаясь, взводный
Сказал ему: — Возьму.

До фронта заживет,
Пока туда доедем...
Он движем только этим
И убыстряет ход.

Распахнута фланель
Больничного халата.
Но припасли ребята
Под елкою шинель.

Стеклопанная роса
Искрится на погоне.

МОСКОВСКОЕ ДЕТСТВО

Детство плеснет Москвою,
Словно волной морскою.

Змеем большим хвостатым,
Крохотным стратостатом.

Взорванным громким храмом,—
Слышишь, удар по рамам?

Перед забытым, перед
Многим, что помнишь сам,—

* * *

Были женщины в войну —
Всех любили, всех жалели,
Кто в обмотках и в шинели.
Я такую знал одну.

Было общее у них:
Возвышали в ласках женских
Не каких-нибудь снабженцев,
Интендантов и штабных,

А солдатика того,
Молодого, что, быть может,

И слышатся погони
Ночные голоса.

Сиренью сад зарос.
Он встал у поворота.
Вот няня и завхоз.
Еще промчался кто-то.

— Сейчас, сейчас найдем! —
Летят напрапалую.
А он кружным путем
На станцию другую.

В рассветной полумгле,
К платформе, через силу,
По мокрому настилу,
На желтом костыле.

Да здравствует вовек
Уменье быть собою.
К друзьям, к тревогам, к бою
Мучительный побег!

Твердо слезам не верит,
Верит легко словам.

Теплая, обжитая,—
Уж такова молва,—
Яростно обжигая,
Грозно гудит Москва.

В сутолоке
И суматохе
Сухаревки
И Самотеки.

За отчизну жизнь положит,
Не изведав ничего.

Но потом — войне конец.
Наступили перемены,
И они сошли со сцены,
И отнюдь не под венец.

Разумеется, тогда
Мы ничуть не ощущали
Благодарности, печали,
Сожалеенья и стыда.

МЕТЕЛЬ

Ничто не предвещало снега.
В лесах раскатывалось эхо
охотников.

А в городах,
на Невском и на Маяковке,
как хризантемы в упаковке,
шли женщины в дождевиках.

Фальшивило Бюро погоды.
Запаздывали самолеты.
Жокеи зябли на бегах.
Была подсказка с небосвода:
судьба людей — в судьбе природы,
в кустарниках, календарях.

И, не давая завершиться
ни листопаду, ни страницам
календаря,

перескочив
через октябрь и ноябрь,
не отлучив от яблوك яблонь,
декабрь землю ополчил.

Я жил, как золотодобытчик,
давно удачу позабывший
и разуверившийся в ней.
Надежда вежливо молчала.
Ничто любви не предвещало.
Я рад был горсточке друзей.

Ничто тебя не предвещало.
Судьба, казалось, обнищала
до одиночества, дотла.
Жил наугад — как полузрячий.
Снега сокрыли неудачи,
очнулся — ты уже была.

Земле выпал снег, мне выпала Ты. Ослепительная, даже на этом ослепительном снегу,

смешанном с листвой, ты стояла, соединяя вчера и завтра, ты слепила из них крепкий снежок. Мое счастье, что он угодил в меня, иначе бы за метелью моих неудач я тебя не увидел.

Так долго я приближался к тебе, скользя и едва удерживая равновесие, что понял — ни слева, ни справа тебя не обойти, так неминуемо ты расположена в пространстве.

Все, кто тобой пытался быть, походили на тебя, но в тебе тебя было больше, чем во всех вместе взятых, и еще то, чего ни в ком не было. Во многих землях я встречал места, напоминающие мне Россию, но разве может быть вторая Россия?

Тот, у кого есть Родина, может считать себя человеком.

Человек, у которого есть Любимая и Родина, — счастлив.

Ты расположена в пространстве так неминуемо, что страшно и дальше тратить жизнь, греша. Я понял, пред тобой немея, что форму Родины имеет нерукотворная душа.

Как будто две тебя светлели — в моей душе, в седой метели, как отражение, дрожа. Я понял — не найти границы, где начинается отчизна и где кончается душа.

Пространство жизни было сшито, забыты беды и обиды. Желанней славы и детей пришло, в одно соединилось, как высшая на свете милость, — Марина, Родина, метель.

ЗАВЕЩАНИЕ

Посади надо мною рябину...
Этой просьбой, наверно, грешу
перед женщиной неразлюбимой,
перед жизнью, которой дышу.

Я люблю все на свете деревья.
Пусть береза рябины свежей —

над рябиною руки не греют,
но зато с ней теплей на душе.

Под землей разлюбить невозможно,
коль при жизни не разлюбил.
Красной ягодой примороженной
буду радовать губы твои.

Горше меда и слаще кислицы
эти ягоды на крови.
Пусть клюют их певчие птицы,
чтобы пелось им о любви.

Посади надо мною рябину...
Столько хочется в жизни успеть
для людей, для друзей, для любимой,
что нет времени умереть!

Евгений Винокуров

НИАГАРА

Не избежать канадского загара,
и на руке висит мое пальто...
И вот передо мною Ниагара,
и хочется воскликнуть: — Ну и что? —
В моем блокноте будет эта дата
и краткая отметка: повидал...
Но мне не то мерещилось когда-то,
я большего когда-то ожидал!

Расспрашиваю гида деловито,
и что-то вскользь бросаю о красе,
и, головою покачав для вида,
притворно удивляюсь, как и все.
Я подступил еще поближе к краю:
вода бежит обычна и темна...
Скитаюсь и иллюзии теряю.
Вот и еще потеряна одна.

* * *

Тебе бы пользы все..

Пушкин

Где небо черный мост загородил,
есть темный погребок перед заливом,
туда заходят несколько чудил,
чтоб час-другой прокоротать за пивом.
А надо всем поднялся деловой
ночной Нью-Йорк, который без предела...
И чудаки качают головой,
и шевелят губами то и дело!
Мир практики, как бы печной горшок,
стоит как будто крепость перед ними...
Тот позарос щетиной на вершок,
другой согнулся с патлами седыми...
Но вздрогнут вдруг они, открывши рот,
как будто захватили их над бездной,
когда вдруг кто-то в кабачке сверкнет
блестящею строфою бесполезной.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Стены дрогнули вдруг — и вопли
раздались! Где тут фронт? Где тыл?
Городок македонский Скопле
пошатнулся на миг и застыл...

Ну так что же, просить прощенья
нам у неба? На тротуар
лечь в испуге, землетрясенья
ожидавая второй удар?

Что ж ты медлишь? Так бей, не медли!
Опрокидывай этот свет!..
Коршун по небу чертит пегли.
А удара все нет и нет!..

Мы стоим посреди народа,
не умея смятенья избыть!..

* * *

Я говорю: — А ну, приятель,
пусть спляшет нам твоя змея!..—
И поднял флейту заклинатель,
в глазах чего-то затая...

Что это: мистика иль шутка?
В XX веке, как и встарь,
бывает все ж немного жутко,
когда танцует эта тварь!

Глаза холодные недобры,
и язычок двойной во рту,

Руку вверх занесла природа,
не решается: бить — не бить?

Даже трещина, что, крутая,
шла зигзагами через плато,
задержалась,
как бы не зная,
что же делать ей дальше? Что?

В нерешительности кариатида,
подпирающая карниз,
у которой нога отбита:
что? Стоять или падать вниз?..

Только лишь молодая пара,
потерявшая с миром связь,
в ожиданье второго удара
вдруг, зажмурившись, обнялась.

но как душа у этой кобры
обожествляет красоту!

Вот встала, извиваясь плавно,
чтоб задержала вдох толпа,
как хладнокровно, как исправно
она выделяет па!..

Того, что мы не видим, видя,
чему-то подчинясь на час,
она танцует, ненавидя
и флейту, и себя, и нас.

ПСИХЕЯ

Голова в белой шляпке от зноя.
Вот идет она, рожью шурша.
Это что-то такое родное,
это может быть просто душа,
это может быть просто родная,
что прошла глубиною полей,
от отчаянья руки роняя,
у постели присела моей.
В темной комнате прямо с вокзала,
ночь была эта, темная, зла,
— Мой бедняжка! — так просто
сказала,
по щеке мне рукой провела.

Андрей Вознесенский

МАТЬ

Охрани, Провидение, своим махом шагреневым, обогни ее хижину —
мою мать — Вознесенскую Антонину Сергеевну, урожденную
Пастушихину.

Воробьишко серебряно пусть в окно постучится:
«Добрый день, Антонина Сергеевна, урожденная Пастушихина!»

Дал отец ей фамилию, чтоб укутать от Времени.
Ее беды помиловали, да не все, к сожалению.

За житейские стыни, две войны и пустые деревни
родила она сына и дочку, Наталью Андреевну.

И, зайдя за калитку, в небесах над речушкой
подарила им нитку — уток нитку жемчужную.

Ее серые взоры, круглый лоб без морщинки
коммунальные ссоры утишали своей беззащитностью.

Любит Блока и Сирина, режет рюмкой пельмени.
Есть другие россии. Но мне эта милее.

Что наивно просила, насмотревшись по телеку:
«Чтоб тебя не убили, сын, не ездь в Америку...»

Назовите по имени веру женскую, независимую пустыннолицу —
Антонину Сергеевну Вознесенскую, урожденную Пастушихину.

ЧАСТНОЕ КЛАДБИЩЕ

Памяти Р. Лоуэлла

Ты проходил переделкинскою калиткой,
голову набок, щекою прижавшись к плечу, —
как прижимал недоступную зрению скрипку.
Скрипка пропала. Слушать хочу!

В домик Петра ты ступал близоруко.
Там на двух метрах зарубка, как от топора.
Встал ты примериться под зарубку —
встал в пустоту, что осталась от роста
Петра.

Ах, как звенит пустота вместо бывшего тела!
Новая тень под зарубкой стоит.
Клены на кладбище облетели.
И недоступная скрипка кричит.

В чаще затеряно частное кладбище.
Мать и отец твои. Где же здесь ты?..
Будто из книги вынули вкладыши,
и невозможно страничку найти.

Как тебе, Роберт, в новой пустыне?
Частное кладбище носим в себе.
Пестик тоски в мировой пустоте,
мчащийся мимо, как тебе имя?
Прежнее имя как платье лежит на плите.

Вот ты и вырвался из лабиринта.
Что тебе, тень, под зарубкой в избе?
Я принесу пастернаковскую рябину.
Но и она не поможет тебе.

* * *

В атаке не бывает выбора —
Стерпи, преодолей, дойди,
Хотя бы сердце в горло выбило
И камнем воздух стал в груди.

Но так же и в разгаре творчества —
Не отключиться, не прилечь,
Пока к итогу не отточится
Идея в образ, чувства в речь.

Пока не станет зрима обликом
Вещей непознанная суть, —

Пыли в полях, пари над облаком,
Сквозь свет и мрак тори свой путь.

И передышке — ни мгновения,
И отступать — возбранено.
Пусть из тебя не выйдет гения
Или героя — все одно.

Тасуется сомнений конница,
Миражи пляшут у лица —
Держись! А что в конце — откроется,
Как доберешься до конца!

ПОСПЕШАЙ

Если спросится — куда идешь? —
Не спеша подумай до ответа.
Дождь шумит — но ты идешь не в дождь,
Летний день — но ты идешь не в лето.

Дом недалеко — но ты не в дом.
Чтобы жизнь старьем не обрастала,
Ты идешь под солнцем и дождем
За мечтой, что светом сердца стала.

И что не от нас заведено,
А от вековечного уклада,
Без нее не веселит вино
И не в полноту любви отрада.

Значит, — тут не в счет ни стертость ног,
Ни жара, ни испытанья жажды, —
Поспешай, чтобы сказать однажды:
— Я искал. И я свершил, что мог!

ЧТО НАМ ДЕЛИТЬ

Настанет день, когда мы все уйдем
В безмолвие, в безгласье, чин по чину.
Но этот — на земле оставил дом,
Тот — мост, а тот — высотную плотину.

Тот — урожай взрастил, тот — новый сад,
Тот — в космосе прокладывал дорогу.
Отдельно каждый — вроде понемногу,
В совместности — громада из громад.

В неистребимой к бытию любви
Мы с новых стартов начинали утро
От целины до вышек на Оби,
От Арктики до дерзких трасс «Салюта».

И что делить — кто мал и кто велик:
За чащей лет, над реками забвенья,
В свершеньях наших — наш проступит лик,
Во дне грядущем — нашего продленье!

УЧИТЕЛЯ

Учителей своих не позабуду.
Учителям своим не изменю.
Они меня напутствуют оттуда,
где нету смеиы вечеру и дню.

Я знаю их по книгам да портретам,
ушедших до меня за много лет.
И на земле, их пламенем согретой,
я светом тем обласкан и согрет.

Звучат во мне бессмертные страницы,
когда мы об искусстве говорим.
Все в этом мире может повториться.
И лишь талант вовек неповторим.

К учителям я обращаюсь снова,
как к солнцу обращается земля.
И все надеюсь — вдруг родится слово...
И улыбнутся мне учителя.

НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЙТЕ

Никогда ни о чем не жалеите вдогонку.
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
с этим прошлым порвите непрочную нить.

Никогда не жалеите о том, что случилось.
Иль о том, что случиться не может уже.
Лишь бы озеро вашей души не мутилось
да надежды, как птицы, парили в душе.

Не жалеите своей доброты и участия,
если даже за все вам — усмешка в ответ.

Кто-то в гении выбился, кто-то
в начальство...
Не жалеите, что вам не досталось их бед.

Никогда, никогда ни о чем не жалеите.
Поздно начали вы или рано ушли.
Кто-то пусть гениально играет на флейте.
Но ведь песни берет он из вашей души.

Никогда, никогда ни о чем не жалеите.
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте.
Но еще гениальнее слушали вы.

У МОГИЛЫ Н. Н. ПУШКИНОЙ

«Здесь похоронена Ланская...»
Снега некрополь замели.
А слух по-прежнему ласкает
святое имя — Натали.

Как странно, что она — Ланская.
Я не Ланской цветы принес,
а той, чей образ возникает
из давней памяти и слез.

Нам каждый день ее был дорог
до той трагической черты,
до Черной речки, за которой
настало время суеты.

Как странно, что она — Ланская.
Ведь вслед за выстрелом сама

оборвалась ее мирская,
ее великая судьба.

И хорошо, что он не знает,
как шли потом ее года.
Она фамилию сменяет,
другому в церкви скажет «да».

Но мы ее не осуждаем.
К чему былое ворошить.
Одна осталась — молодая,
с детьми, а надо было жить.

И все же как-то горько это,
не знаю, чья уж тут вина,
что для живых любовь поэта
так от него отдалена.

Юлия Друнина

* * *

Я порою себя ощущаю связной
Между теми, кто жив
И кто отнят войной.
И хотя пятилетки бегут, торопясь,
Все тесней эта связь,
Все прочней эта связь.

Я — связная.
Пусть грохот сражения стих,
Донесеньем из боя остался мой стих —
Из котлов окружений,

Пропастей поражений
И с великих плацдармов победных
сражений.

Я — связная.
Бреду в партизанском лесу,
От живых донесенье погибшим несусь:
«Нет, ничто не забыто,
Нет, никто не забыт,
Даже тот, кто в безвестной могиле
лежит».

В 1941 ГОДУ

Какие удивительные лица
Военкоматы видели тогда! —
Текла красавиц юных череда.
Казалось, выпал жребий им родиться
В пуховиках дворянского гнезда.
Казалось, утонченность им столетья
Вложили в постоуц, в жесты, в легкий стан.

Где взяли эту стать рабочих дети
И крепостных праправнучки крестьян?..
Всё шли и шли они:
Из средней школы,
С филфаков, из МЭИ и из МАИ —
Цвет юности, элита комсомола,
Тургеневские девушки мои!

* * *

Догоняет Война тех, кто мне всех дороже.
И напрасно я другу шепчу: — Борись!..—
С пульей в сердце на землю упал Сережа,
И с тяжелым раненьем лежит Борис.

Поколение уходит опять. Рановато.
Обрывается вновь за струною струна..
Что поделаешь, если только отпуск солдатам,
Только длительный отпуск дала Война?..

ИЗ ДАЛЬНЕВОСТОЧ- НОЙ ТЕТРАДИ

ПОСЕЛОК СМИРНЫХ

В лесу, на краю дороги,
В лесу, на краю страны,
Задумчивый, юный, строгий
Стоит капитан Смирных.

Змеится дороги лента,
«КамАЗы» в лесхоз спешат.

С гранитного постамента
Не может сойти комбат.

Но помнят донныне сопки
Команду его — «Вперед!»,
Отчаянным и коротким
Был бой за японский дот...

Все той же дороги лента,
И августа синий взгляд.
Лишь сдвинуться с постамента
Не может теперь комбат.

НЕРЕСТ

Сопит медвежонок рядом,
Рысь рыщет невдалеке,
С неистовой силой снаряда
Горбуша идет по реке.
Навстречу теченью!
В клочья
Издраны плавники.
За смертью...
И днем, и ночью.
По острым камням реки.
По острым камням Пороная,
Летающего сквозь тайгу.
Виденье царь-рыбы, знаю,
Забуть уже не смогу.
Погибнут безумцы эти,

Сквозь строй ветеранов-елок
Он смотрит и смотрит вдаль —
На тихий лесной поселок,
Которому имя дал.

Сагалин

Как только закончат путь.
Погибнут затем, чтоб детям —
Малькам своим —
Жизнь вдохнуть.

Москва, суeta сплошная,
Но где-нибудь на бегу
Вдруг вспомню о Поронае,
Петляющем сквозь тайгу.
Как сильно тряхнула душу
Земли первозданной твердь
И таинство — ход горбуши,
Что смертью попрала смерть!

Сагалин

Евгений Ерхов

РОДИНА

Родина моя — невидная,
незавидная совсем:
лесу мало до обидного,
речка по колени всем.

Да чего там — по колени:
нагулявшись по овсу,
гуси бабки Аграфены
выпивали ее всю.

Сокрушалась бабка: стыд-то!
И на стане полевом
в этот вечер пахло сытно
дареным ее гусем.

* * *

Мальчишки
русских сел глубинных,
до нас война не донесла
ни свиста пуль,
ни взрывов минных,
как ни росла...

Недоеденная каша
вылезала из котлов.
А к утру — и речка наша
вышла вдруг из берегов!..

И не то еще случилось
и случается у нас.
Тут и сказка начиналась,
тут и песня родилась.

И потом по всей России
шла, дорогами пыля...
Может, есть земля красивой.
Может, где-то и была!

А снится:
черные глазницы
бойниц на нас наведены!
Ведь мы
отцов не видим лица
из-за войны...

УРОК ЧИСТОПИСАНИЯ

«Ма-ма мы-ла ра-му...»
Маму
я не помню
(все война!),
и за этими словами
мне не видится она.

«Ма-ма мы-ла...»
Мы не дышим
над линованным листом.
Моет окна дядя Гриша,
с дядей Гришей — весь детдом!

Мы в ведре меняем воду,
мы взбиваем пену в ней,—
веселее нет народу,
нету
наших рам светлей!

«Ма-ма...»
Я с пером не слажу,
ручку в пальцах теребя...
Искренне: «Не е-ла ка-шу», —
пишет Маша
про себя.

Глеб Еремеев

СИЗАРИ

Мальчишки, мы себя грубей,
И вот признаюсь лишь теперь я,
Что, выпуская голубей,
Хранил оброненные перья.

Мое мальчишество прошло,
Любовь меня крылом коснулась,

И сердце стало на крыло,
И, кажется, земля качнулась.

Пускай к кому-то жизнь добрей,
А я не знаю даже кто ты,
Но не пугают сизарей
Мучительные перелеты.

* * *

Заглохшим садом в пыльных лопухах
Нежданный дождь, белесый и вихрастый,
Промчался, как подросток голенастый,
Все вишни перечмокал впопыхах...

Потом вломился сквозь малинник частый
Ко мне в окно и вдруг затих в стихах,

Как будто в детских каяться грехах
Явился, изумленный и глазастый.
И свежестью дохнула синева,
И солнце задрожало в зыбкой влаге,
А дождь остался только на бумаге,
Преображенный в кляксы и слова.
И вот уж сохнут капли дождевые —
Останутся одни слова живые.

Анатолий Жигулин

ПО ДРЕВНЕЙ ЛЕГЕНДЕ

Крещение. Солнце играет.
И нету беды оттого,
Что жизнь постепенно сгорает,—
Такое вокруг торжество.

И елок пушистые шпильки,
И дымная прорубь во льду...

Меня в эту пору крестили
В далеком тридцатом году.

Была золотая погодка,
Такой же играющий свет.
И крестною матерью — тетка,
Девчонка пятнадцати лет.

И жребий наметился точный
Под сенью невидимых крыл —
Святой Анатолий Восточный
Изгнанник и мученик был.

Далекий заоблачный житель,
Со мной разделивший тропу,

* * *

По холодному яру
До редких посадок сосны,
До обломанной серой
Едва распушившейся ивы
Я люблю пробираться
Тропинками ранней весны,
Где уже зеленеют
Упругие всходы крапивы.

А на склоне оврага
Мать-мачеха густо цветет.
Каждый желтый цветок —
Словно малое робкое солнце.
Жаль, что все это вместе
Теперь уже скоро уйдет
И уже никогда,
Никогда для меня не вернется.

* * *

В. Пескову

Засыпают землю овраг —
Золотистый дубняк и орешник.
И дымится суглинистый прах.
И повис над обрывом скворечник.

Скоро, скоро и он упадет
В эту пропасть земли и камней.
И большая дорога пройдет
Над вершинами мертвых деревьев.

Я не против прогресса,
Ни-ни!
Пью размах и великость.

Таинственный ангел-хранитель,
Спасибо тебе за судьбу!

За годы терзаний и болей —
Не раз я себя хоронил...
Спасибо тебе, Анатолий, —
Ты вправду меня сохранил.

А поближе к ручью
Оживают на солнце хвощи.
И крапива, крапива —
За домом пустым и разбитым...
Из весенней крапивы
Зеленые вкусные щи
Мать готовила в детстве,
Далеком, почти позабытом...

Я согласен уйти.
Только пусть не исчезнет тропа.
Пусть поправится ива,
Пусть будет желтеть одуванчик.
Будет новая жизнь,
Будет новая чья-то изба,
Будет бегать по яру
Растрепанный радостный мальчик.

Но прошу тебя, век:
Сохрани
Хоть какую-то малую дикость.

Сохрани приозерный камыш,
Сохрани деревенские вишни.
Сохрани первозданную тишь,
Из которой когда-то мы вышли.

Сохрани эти ветлы во мгле,
Эти черные гнезда и кроны.
Пусть спокойно живут на земле
Хоть простые грачи и вороны.

Леонид Завальнюк

ОТЕЦ

Смиренный юноша с бунтующей подкоркой,
Прошедший за войсками в два конца,
Не потому ль я потерял отца,
Что так надменно угощал его махоркой?
Вернувшийся с войны
Почти что без наград,
В годах немалых,
Писарь батальонный,
Он думал — я прощу его как человек,
Как брат,

А я простил, как сын,
С печалью затаенной.
Он умер. Я живу, забыв о нем навек.
Но где-то там,
Под памятью,
Под снами,
Он все бредет во мне, бряцая орденами,
Невзрослый,
Старый,
Штатский человек.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Дымится сизая вода,
Бежит дорога мимо клена.
И я кричу ему влюбленно:
— Ты так же юн, как был тогда.
Ты так же свеж,
Как был в тот день,
Когда и сам я был на взлете.—
И вдруг я слышу стон в болоте
И вижу старый, мощный пенъ.
И он мне говорит:
— Да, да!..
Ты тоже выглядишь не скверно.
На пользу нам пошли, наверно,
Разлуки долгие года.—
Мы закурили.
Клен-юнец

Смотрел на нас унылым взором.
И вдруг с заученным укором
Сказал:
— Ты б не курил, отец!..
Для сердца вредно и для зренья...—
В ответ на что стариц изрек:
— Полезно! Помолчи, сынок! —
И вынул штоф из-под кореньев,
И нам налил для настроенья,
И сыну уделил чуток.

Дымится
Сизая вода.
Бежит дорога мимо леса.
И так душа болит полезно,
Как не болела никогда.

ВОСПОМИНАНИЕ О КОНЕ

Конь был слепой.
А я не знал,
Ярился на него,
Когда шараялся он вдруг
От храпа своего.

Конь был слепой.
А я считал,
Что он лентяй и жох.
Кормил внатруску и мечтал,
Чтоб он скорей издох.

Но выжил он
И выжил я,—
Жизнь пощадила нас.
И то, что был калека он,
Я вижу лишь сейчас.
И все казнюсь,
И все твержу,
Как встретимся во сне:
— Пойми!.. Ведь я не знал!
Пойми!..—
Но он не верит мне.

Алексей Заурих

* * *

С печалью нисколько не зряшной,
он ожил, как резкая тень,
давнишний, а словно вчерашний,
к закату клонящийся день.

Его без труда узнавая,
шепчу дорогие слова...
Он чудится в виде трамвая,
а кто он там — «Б» или «А» —

не важно! А все же он ходкий!
Неспешно, с бочка на бочок,
взобрался на мост Краснохолмский
мальчишеских лет ишачок.

Везет он сквозь дальние гулы
в день нынешний вместе со мной
авоськи, бидоны, баулы,
страданья гармошки ночной.

И голос надтреснутый, птичий,
и чьи-то седые чубы...

* * *

За окном
 зарычал
 перфоратор...
Просыпаюсь от нервного ропота.
До чего неуживчив характер
у тяжелого этого робота!
Стонет камень, ударами донят,
ох,
 ему бы спокойствия полного...
Так! Вот так! —
 побеждающий довод
молотка молодого отбойного.
Начинается доброе утро
в древнем граде
 не с посвиста птичьего —

Кому там до знаков различий,
где знаки всеобщей судьбы!

И так же, заметить посмею,
везет он, звеня на бегу,
все то, что я в жизни сумею,
все то, что, увы, не смогу.

В ту полночь всей памятью врежусь,
аж перевернется душа!
Железно-суровая нежность
по миру идет, дребезжа.

Вагончик, окутанный снегом,
на хлестком своем вираже.

Я мыслю его человеком,
которого нету уже.

...Проснуться. Заснуть и проснуться!
Так длись же еще и еще
мгновенье, где можно уткнуться
в железное это плечо.

принимает привычное ухо
перфоратора выстуки,
 клич его:
«Нужно снами, любезные, жертвовать,
вековой
 поднимается
 пласт!
Сибаритствовать, млеть и блаженствовать
в этом мире никто вам не даст.
А иначе ни роста, ни выроста
зданий
 видеть вам не суждено...»

Скорострельные пушки строительства
бьют с утра — деловито — в окно.

ПЕРВЫЙ МОЙ ПУТЬ

Телегу с горы занесло,
С поклажею перевернуло,
Раскат бесконечного гула
Над Камой аукался зло.

Все дальше и дальше в леса,
До самого крайнего края,
Теряясь и замирая,
Уходят его голоса.

Я вырос, пока он умолк.
Поклажу, что мне поручили,

Собрал и повез по России.
И это был первый мой долг.

И это был первый мой путь,
Счастливым, и грозный, и темный,
От Камы-реки до Коломны,
Где некуда сердцу свернуть.

Двойной колеєю беда
Настигнет, стеная и плача,
Догонит со смехом удача,
И только любовь — никогда.

НАЧАЛО ЗИМЫ

Шла, смотрела на море,
Обходя валуны.
Словно снег на заборе —
Свежий гребень волны.

Дразнит снег белизною
Чище пены морской,
Тешит щедрой казною
Непривычный покой.

Это правда и чудо,
Краткой сказочки нить.
Жаль, вовеки отсюда
Мне тебя не сманить!

Долгим взором согреты,
Волны выложат вдруг

Небольшие секреты
И любви и разлук.

Зная счастье и лихо,
Побывав на войне,
Рыбка памяти тихо
Проплывет в глубине.

Если будет охота,
До невидимых звезд
Белый след самолета
Устремится, как мост.

И как вещая рыбка
Под вселенским мостом,
Все блуждает улыбка
На лице молодым.

* * *

Бездумная волна бежит за пароходом,
То лодочку качнет, то подтолкнет весло,
В поля родных небес взирая год за годом,
На тестовский песок вползает тяжело.

Вдруг выстрел прогремит, и ночь волною

Качнется тяжело, заходит ходуном.
И пред твоей душой, спокойной и бездомной,
Река забот и встреч промчит над мертвым дном.

темной

Ты вздрогнешь, и тебя наш возраст не обманет.
Не бойся!.. Выстрел — что?.. Береговая
связь...

То сторож-инвалид заснул в своем чулане,
Курок задел во тьме и трудно встал, бранясь.

Твой пароход плывет. Внизу стучит машина.
Гром выстрела стоит на пристани пустой.
Ты не жалея того, чего не совершила,
Ты позабудь скорей про выстрел холостой.

Рюрик Ивнев

* * *

Есть вещи ясные, как ясли,
Как арифметика и бокс,
Но есть и странный парадокс:
Ты счастлив тем, что ты несчастлив.
Но это, в сущности, так просто!
Ведь счастье — это смерть надежд,
Несчастье — радости апостол,
Осмеянный толпой невежд.
Несчастье расправляет крылья
Надежд, поруганных судьбой,

И ты без всякого усилия
Плывешь над бездной голубой.
Ты счастлив тем, что ты несчастлив,
Что счастье ждет тебя вдали —
Через столетье, через час ли,
В пустыне иль среди олив.
И может быть, нет счастья выше,
Чем ожидание его,
Когда все существо твое
Вдали его раскаты слышит
И с трепетом прихода ждет.

ЗЕЛЕННЫЕ ВОЛНЫ

Куда исчезают зеленые волны,
Когда-то ласкавшие нас?
Куда удаляется ветер упорный,
Скрываясь от пристальных глаз?

Куда уплывает улыбка прибоя,
Случайно подплывшая к нам?
Так явь, незаметно страницы листая,
Опять возвращается к снам.

Все просто, как воздух, как теплая зелень.
Все просто, как пройденный путь.
Но как нам собрать отлетевшие тени,
Чтоб снова их к жизни вернуть?

Чтоб снова увидеть зеленые волны,
Увидеть улыбку такую ж точь-в-точь,
Как та, что сверкала под небом огромным
В земную, густую и жаркую ночь?

Римма Казакова

* * *

Мы читали стихи курильчанам-солдатам
в клубе, длинном и зыбком строенье дощатом.
От курильской погоды, от въедливой каши ли,
молодые ребята — смущались, но — кашляли.
Этот кашель сухой, сотрясающий души,
совпадал с небольшим колебанием суши,
с океанским прибоем и с криком вороньим
и с табличкою: «Вход воспрещен посторонним».
Мы терпели их кашель не попросту вежливо:
нет, не хочет никто — посторонним и чуждым!
Не для нас это слово запрета повешено
над гудящей землей, над прибоем жемчужным.
О, спасибо, что строчкам застенчивым нашим
помогали вы этим застенчивым кашлем
стать уверенней, взмыть напряженней и выше,
чтобы зал шумноватый нас все же услышал.
О, спасибо за ваши охрипшие горла,
обличавшие мест этих сырость и чадность,
выдававшие вашу к себе беспощадность,
и за все, что суровая служба не стерла!

И за ту тишину, что, как лодочка парусная,
вдруг врывается — шумнее, чем шум оглушительный,
и ее утешительный выплеск решительный
выдавал нам внимание ваше яростное.
Этот день отлетит, отплывет, отдастся,
отдымится, вулканами откуритя...
Но когда-то, в иные какие-то сроки,
когда буду я жить и спокойней и проще,
я потрогаю эти курильские строки
и верну этот день и на слух и на ощупь.
И с какой-то совсем материнскою ласкою
вспомню землю курильскую, мгlistую, тряскую,
молодых пограничников, клуб их дощатый...
Дальний берег страны. Жизни край непочатый.

* * *

Ко мне заходит, как к поэту, видимо,
поговорить о том, что жизнь обидела
и оттого не стал, кем стать бы мог, —
в детдоме росший и в тюрьме сидевший,
меня какой-то детскостью задевший,
растерянный и грустный паренек.

Он говорит о том, что заключение —
прокол подростка, просто злоключение,
но отмотал, однако, шесть годов!
Что пишет вирши, трудится рабочим,
что взять сестренку из детдома хочет
и заменить ей мать с отцом готов.

Что нет образования ни грамма!
Четыре класса. На смех курам прямо.
Но и Есенин вроде бы, кажись,
не больно-то учился... Исполдбья
глядит, затосковавшая оглобля,
назло произнося не «жизнь», а «жисть».

Я откровенно — как же с ним иначе? —
свои припоминаю неудачи.
Сочувствует — как будто бы родной.
Но тут же — хоть и сходство это лестно:
— А почему... Вы так со мною честно?!
— А почему ты честно так со мной?..

И я опять, как храбрый рыцарь в рубке,
как одержимый проповедник в юбке,
кидаюсь в схватку, бью, зову, лечу
и вижу по глазам, как будто раненым,
что не пропасть отчаянным стараниям,
что вылечу, уверю, научу.

И он, сияя новой верой искренней,
уйдет, прохожих обжигая искрами
из глаз, из сердца, из самой души...

Но вот он хлопнул дверью очень бодро,
но вот себе я улыбнулась гордо,
и он — в своей, а я — в своей тиши.

И что-то вдруг, о чем я не решалась
сказать себе, пришло — и сердце сжалось
и мне открыло правду без прикрас.
И словно вновь смотрю ему в глаза я,
и слух восстановил, себя терзая,
прекрасный и опасный пафос фраз.

Прозрев, поймет ли парень все до точки?
Прорвется ли из горькой одиночки
незнания в тот мир, где ты и я?
А если наставлений не забудет,
подкреплена ль моей подмогой будет
возвышенная проповедь моя?

Его звала я под свои знамена
не чересчур ли самоупоенно?
Да, не один ведь — нашенских кровей —
за песнопенья похвалу заслуживает,
а между тем лишь упоенно слушает
себя, как очумелый соловей!

А я сама... Как этот мальчик путаный,
с душою озадаченной, испуганной,
с иным, но вариантом тупика,
недавно так убито, вопрошающе
глядевшая в глаза того товарища,
что мне — как я для мальчика пока?..

Он твердо обещал: «Пройдет и это».
Он обобщал: «Призвание поэта —
такая мета, — горе не беда!
Высокий долг... Связующие нити...»
Он повелел решительно: «Звоните!
И приходите...» — не сказав куда.

...Закрылись двери, и уста сомкнулись.
Все звенья цепи, кажется, замкнулись.
Гляжу в окно, в сирень, в туман пути.
Все дождь... Как человек, вздыхает лето.
Что с нами ни случись, пройдет и это!
Но что-то все же не должно пройти?..

Но можно все же, над тобой нависшей,
ответственности не бояться высшей —
вести туда, куда и сам идешь.
...Все дождь... Как человек, вздыхает лето.
Что с нами ни случись, пройдет и это.
Но ведь пройдет когда-нибудь и дождь.

Василий Казанцев

ПОДМОСКОВНАЯ БАЛЛАДА

Время быстрые стрелки торопит.
Солнце в небе — как уголь в золе.
Ты лежишь неподвижно в окопе.
Ты лежишь неподвижно в земле.

Танк идет — огнедышащим взглядом
Предвещающая стальную метель.
Ствол его наступательно задран.
Он нацелен — на дальнюю цель.

Танк окрестность оглохшую будит,
Землю твердым железом скребя.

* * *

Качает ветер рожь густую.
По ней летает зыбкий свет.
— Я еду в сторону чужую.
Что привезти тебе?
— Привет.

Сухая пыль летит по следу.
И застилает дымкой след.

* * *

Сколько лет я все еду и еду.
По болоту, покосу, жнивью.
По колесному, санному следу.
Оглянулся — все там же стою.

* * *

Смотрю на этот лес высокий,
А вижу, как, чисты, густы,
Зажато-стиснутые соки
Взлетают в пламя высоты.

Как набухающие жилы
Излить, избыть себя спешат.

Бить огнем по тебе — он не будет,
Он раздавит, разъедет тебя.

Ты последние метры сверяешь.
Устремленные траки гремят.
Ты опять на груди поправляешь
Неудобную связку гранат.

Ты далекого взгляда не помнишь.
Ты не видишь холодного дня.
Ты на танк наползающий смотришь —
И от взгляда пылает броня.

— Я в край чужой, далекий еду.
Что увезти — туда?
— Привет.

Улыбки радость, слов тепло.
Привет туда — привет обратно.
Приятно им — и мне приятно.
Да и тебе не тяжело.

Тот же тополь, ветрами клубимый.
Тот же берег, судьбами хранимый.
И студеная в речке вода.
И со свистом проносятся мимо
Полустанки, составы, года.

И как натянутые жилы
Внутри прямых стволов дрожат.

Побагровевший, затверделый,
В луче мерцающий, как снег, —
С остекленевшей каплей белой! —
Дрожит — верхушечный побег.

МЫ — РАКЕТЧИКИ

Мы — ракетчики.
Наши системы,
как в предгрозя насыщенный миг,
неспокойно и сумрачно немые,
ожидая решений людских.

Стать ракетчикам главной силой
вся Россия моя помогла:
Артиллерия усыновила,
Авиация крылья дала.

И Граница лесным гарнизонам
грозный опыт доверила свой:

АНТИФАШИСТЫ

Был город еле освещен,
бродил в руинах
ветер мгlistый,
когда сходили на перрон
немецкие антифашисты.

В кирзу разбитую обут,
одет в хабэ, в худые шали,
томился раздраженный люд
в полуразрушенном вокзале.

Кто с узелком,
кто с вещмешком —
все равно мучились устало.
Война проклятая кругом
среди развалин дотлевала.

Заметив женщин взгляд пустой
и лиц ребячьих цвет землистый,
прошли в молчанье зал большой
немецкие антифашисты.

Наутро в гуле ветровом
они пошли, не пряча взгляда,

научила дежурствам бессонным,
быт наладила предбоевой.

Каково — если чувствуешь рядом
день за днем, год за годом подряд:
усыпленный учеными атом,
в молчаливый забитый заряд!

Здесь как будто бы
нервного тока
даже в воздухе столько кругом,
что одна только птица —
тревога
с резким криком парит над полком.

по главной улице с венком
к могиле нашего солдата.

Неведомо какая связь
сработала, но по кварталам
вмиг эта новость разнеслась
неслышным и незримым шквалом.

Мгновенно тысячи людей
пришли и молчаливо встали
с бедой и раной своей
на тротуарах магистрали.

И, вздыбившись за их спиной,
утяжеляли то молчанье
пугающею немотой
парализованные зданья.

И этот коридор живой,
прищурившись, как бы от пыли,
по опустевшей мостовой
антифашисты проходили.

Владимир Карнеко

* * *

Григорию Поженяну

Я не верю в дружбу гладкую —
без обид, без ссор, без драк;
я не верю в дружбу сладкую,
всю обмазанную патокою
(да и той-то — на пятак!).

Верю в дружбу, что особенно
о себе и не кричит, —

ШУТ

Он, балансируя на лезвии,
был в меру трус и в меру храбр.
Ее Величества Поэзии —
не разберешь: владыка? Раб?

Он сам-то знал, что — шут гороховый.
Но, забываясь, вжился в роль.
Вокруг заахали, заохали
и порешили, что — король!

Шут испугался не на шутку —
не роли, нет, — его пугал

в ту, что накрепко просмолена,
солью всех штормов присолена,
перцем грозных лет горчит;

в ту, что нам судьбою выдана,
в ту, где лишни клять слова,
Госстандартом не испытана,
но — гляди-ка! — жизнью пытана,
бита, терта, а — жива!

привидевшийся на минутку
разоблачительный финал.

Но так заманчиво, заманчиво
звучали эти «ох!» и «ах!»...
И он неистово замалчивал
в душе попискивавший страх.

Он днем царит. И только ночью
он плачет, плачет, плачет так...
Корону снять уже не хочет,
но и не в силах снять колпак!

Алексей Кафанов

* * *

Всю ночь какая-то пичуга
На птичьем языке своем
От боли или от испуга
Негромко свищет под окном.

Прищелкнет, переждет минутку,
Потом переберет лады
И долгую начнет погудку,
Как бы в предчувствии беды.

Чего ты, плакальщица ночи?
Становится не по себе,
Когда все выше, все жесточе
Звенит печаль в твоей трубе.

Застыл в дремоте мир огромный
И только звезды в поздний час
На нас глядят из бездны темной
Мильоном раскаленных глаз.

И ни в одном окрестном доме —
Ни зги, ни звука, ни огня.
Никто тебя не слышит, кроме
Не спящего всю ночь меня.

Всю ночь, от боли или от страха,
Свистишь ты под моим окном..
Да если бы не эта птаха,
Я, может, спал бы крепким сном!

* * *

Осенний резкий воздух утра
Процежен влагой дождевой,
И дали проступают крупно,
Во всей подробности живой:

Клубящимися облаками,
Что, набирая высоту,
Друг друга как бы локотками
Подталкивают на легу;

Речушкой местного значенья,
Между пологих берегов
На глади слабого течения
Несущей отсвет облаков;

Травой, до времени появляой,
Утратившей былую статью,
Довольной даже капле малой,
Чтоб жажду смертную унять.

И надвигающийся с юга
Полям пустынным впереиз,
Вершины отклонив упруго,
Плывет по горизонту лес.

И поразительно — чем ранний
Морозец выдастся сильней,
Тем поутру еще багряней
Убранство гиблое ветвей.

Земля устала. Но прекрасна
Исполненная ею суть...
Когда б и я вот так же ясно
На прожитое мог взглянуть!

Все беды, все мои невзгоды,
Обиды мелкие — не в счет
Пред этой щедростью природы,
С какой на спад она идет.

Надежда Кондакова

* * *

Такой зимы Москва не помнит сроду! —
Когда снега татарскою ордой
Наваливались прямо с небосвода
И замирали прямо над водой.

Над черною, над солнцем золоченною,
Над самой красной площадью земли
Стояли дни — как будто заточенные
В глухие льды большие корабли.

* * *

Когда в полуночном метро
Слежу за стрелкой часовой,
То время кажется — мертво,
Хотя оно бежит, живое!

Жизнь на мгновенье замерла,
Но вот уже летят вагоны,

* * *

Чадаев, помнишь ли бывшее?

А. С. Пушкин

Летя вдоль Мойки, пели сани,
И падал снег, легко скользля.
Любить с закрытыми глазами
Свое отечество нельзя!

А за рекой, уже в Замоскворечье,
В каком-то переулке, номер пять,—
Твои глаза, зеленые, как вечер,
Мне до утра не позволяли спать.

...Не говори ни слова, ни полслова!
Из тьмы снегов, веков, из той зимы
Горит стена монастыря Донского!
Еще с тобою незнакомы мы.

Как будто пущена стрела
От перегона к перегону.

Как будто, обгоняя звук
Двадцатого живого века,
Летит стрела из сильных рук
Варяга или печенега.

...Он возразил поэту молча,
Когда в тоске, как во хмелю,
Тот вышел в ночь и, слившись с ночью,
Сказал: «Нельзя...»

Но я люблю...»

Алексей Кондратьев

УТРО

Брызнул мальчишеским альтом
Первый трамвайный звонок;
Метлы ворчат над асфальтом
Перед пришествием ног.

* * *

Я люблю твой тихий голос,
Все твои слова.
Ничего не расколосось,—
Ты во всем
Права.

Ничего не изменилось,—
День сменяет ночь.

Шум городской не обиден,
Листья от ночи чисты...
К смыслу, что каждому виден,
Что-то прибавишь и ты.

Кто придумал эту милость,
Чтобы нам помочь?

Все рассветы, все закаты
На своих местах.
Все слова
Не виноваты
На твоих устах.

Людмила Котылова

* * *

Голос дочери
в природе
растворен, как кислород:
по лугам в пространстве бродит,
по ночам меня зовет.

Сплю — не сплю:
держу под веком

* * *

Вот кто нежен —
окская вода!

И суровой быть не обещает,
все мои оплошности прощает —
головой, как бабушка, качает
и свои качает невода.

* * *

Повернут лучшей стороной
закат ко мне.
Иду по корке ледяной —
зима в стране.

И Волги выросшая дочь,
за ивняком

ветер, оттепель, снега.
Одиноким человеком
дождь выходит на луга.

Пусть хоть это постоянство
за изменчивостью дня:
чу,
дочернее пространство
оглянулось на меня.

Даже и зимою, в холода,
свет в себе,
как лампочку,
включает
и глядит в меня из-под льда —
око в око —
окская вода.

Ока мне говорит всю ночь.
Ока, о ком?

Уже со льдом моя река
мешает речь.
Да, мера счастья велика.
Давай беречь.

Григорий Корин

* * *

Что за прелесть дети-первоклашки!
За столом, уставши от игры,
На листке, на сгибе промокашки
Воскрешают лучшие миры.
Небеса звенят от жаркой сини,
Карандаш берут ли, акварель,
И невольно слышишь — из пустыни
Раздается древняя свирель.
И какие видят натюрморты,
Налегая на тетрадный лист,

Как бы позавидовал им модный
Или древний абстракционист!
На велосипедах, самокатах
Переворошили дачный двор
И теперь уходят на фрегатах
В предвечерний тающий простор.
Мне везет на детские рисунки,
На смысленных маленьких людей,
На тетрадки их, альбомы, сумки,
Полные неслыханных вестей.

* * *

Если слово сына родного
Вознеслось выше слова отца,
Все равно это слово отцово
Проникает в людские сердца,

Все равно это сердце отцово,
Неизбывность его словаря,
Воскрешает и голос Рублева,
И забытый удар звонаря.

* * *

Я рожден под звездой Гиппократы.
В поездах и больничных палатах,
Где бы утро встречать ни пришлось,
Я готов повторить многократно:
— Как вам нынешней ночью спалось? —
И старик ли,
Юнец ли капризный,
Тугодум ли со мной,

Лицедей, —
Дня одной человеческой жизни
Ничего я не знаю ценней.
Будь хоть Гамлет!
Безумной отваги
Я не принял бы, что б ни стряслось.
И бинты мне дороже, чем шпаги.
— Вы проснулись?
Ну, как вам спалось?

Владимир Костров

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 78

В миллиметре от детской улыбки
потихоньку играет на скрипке
одинокий сверчок тишины.
Но ты слышишь, хрутят на балконе
в желтых яблоках рыжие кони,
опалелые кони луны.

Снег светлейший, спасибо за чудо,
что, летя нам известно откуда,
ты не канул незнамо куда.
Что обратно в столицу вернулся,
улыбнулся, зимой обернулся
и остался в Москве навсегда.

Нашу радость ты верно провидел,
ты отсутствием нас не обидел,
твоя колкая внешность кротка,
бесконечно щедра твоя смета.
С горностаем,
с кружением света,

с колдовским истечением катка.
Это счастье и ныне и присно —
мир увидеть в капризную призму
знобкой русской зимы и любви.
Понесемся, сверкнем, исказимся,
вновь преломимся и отразимся
и опять обернемся людьми.

НА РОДИНЕ

Что не хватает нам с тобой:
Трубы гудящей дымовой,
Да синевы над головой,
Да тишины звенящей.
Но это все недалеко —
Парных туманов молоко,
Да голос, слышный далеко,
Зовущий и манящий.
Нам этот голос говорит,
Что в нас не зря огонь горит,
А зря живем мы мелко.
Что зря пугает нас пурга,
Что слишком в друга и врага

Мы попадаем метко.
Послушай, милая моя:
Из края в край лежат края,
Где мы с тобой родились,
Где прочим нас не предпочтут,
Где нас узнают там и тут,
Во что б мы ни рядились.
И буду я тебя любить,
И будем мы с тобой любить
Страну одну и ту же.
Ее мне завещала мать.
И мне не жалко ей отдать
Страдающую душу.

Виктор Кочетков

МОЕ ВРЕМЯ —

Было и слово и дело.
В честь и во славу земли.
Время мое поседело,
Годы мои отошли.

О мое гневное время!
Диспуты, спибки, бои.
Свищут в весеннюю темень
Пули, ветра, соловьи.

Жили мы валко и шатко,
Хлеба не в лишек и сна.
Нынешних дней стройплощадка
Нами для вас спасена.

Смертными тропами ЧОНа
Нас комсомол помотал.
Как утверждает ученый —
Может устать и металл.

Сносятся наши времянки —
Старых окраин миры.

Пообвалились землянки
Грозной военной поры.

Танки ушли в переплавку,
Пушки в музеи сданы.
Жили мы бедно и славно,
Витязи новой страны.

Орлики крыльями машут,
Поземь над степью идет.
Счастье нелегкое наше
Дымом войны отдает.

Было и слово и дело,
Вызнало тяжесть плечо.
Время мое поседело,
Не постарело еще.

С нынешней смотрят страницы —
Брови тугой тетивой —
Косарев мой узколицый,
Мой Недогонов живой.

ИЮЛЬ 41 ГОДА

Нет, вовсе не из уст всеведа-мудреца,
Она из уст солдат — та истина звучала:
«Чтоб знать, кто победит, не надо ждать конца,
Умеющий судить, поймет и по началу».

Пылающий июль. Тридцатый день войны.
Все глубже, все наглей фашист вбивает клинья.
В руинах хуторок на берегу Десны.
Просторные дворы, пропахшие полынью.

Разрывы редких мин. Ружейная пальба.
Надсадный плач детей. Тоскливый рев скотины.
На сотни верст горят созревшие хлеба.
Ни горше, ни страшней не видел я картины.

Не утихает бой за лесом в стороне,
Густеет черный дым над поймой приречной.
И мечется фашист в бушующем огне,
На факел стал похож мешок его заплечный.

Закрыта жаркой мглой последняя изба,
И солнце в этой мгле едва-едва мигает.
На сотни верст горят созревшие хлеба —
Последний страх в себе Россия выжигает.

И плавятся в ночи как свечи тополя,
И слышен орлий крик над потрясенной далью,
От Буга до Десны пропитана земля
И кровью, и бедой, и горькой хлебной палью.

Все впереди еще. Смертельная борьба —
Москва, и Сталинград, и Курск, и штурм Берлина.
Но тот, кто видел их — горящие хлеба,
Тот понимал, что Русь вовек необорима.

Светлана Кузнецова

* * *

«Одеяльце соболье в ногах
Да подушка в слезах...»
Я вдруг старое вспомню присловье,
Поправляя свое изголовье.

Повторяла присловье родня в прошлом веке,
Прикрывая опухшие, тяжкие веки.
...Ну, а мне-то что помнить про то одеяло,
Что облезло до срока, до срока слиняло?

Я богата. Бордовая шаль с бахромою
Беззаветно меня согревает зимою,
Бережет ото снов, ведь вставать надо рано,
Хоть и весь мой барыш в том, что небо багряно.

Хоть и вся моя прибыль, что с окон герани
Безответно сияют из завтрашней рани.
...Ну, а мне-то что помнить про давние слезы?
И без слез нелегко продержаться в морозы.

Что прошло, то прошло. Не болит оно боле.
...Что мне делать с тобой, одеяльце соболье!

* * *

Жестокий романс, я смеюсь над тобой
За то, что красив ты и светел,
За то, что на все, что случится с судьбой,
Ты просто и ясно ответил.

За то, что умна твоя старая грусть
И я перед нею немею,
За то, что я знаю тебя наизусть
И лучше сказать не умею.

Станислав Куняев

* * *

Черные тучи над черной водой,
снегом присыпанный вереск...
Ветер свистит над песчаной грядой —
время на нерест.

Угль дотлевают в горячей золе,
вечное дело вершится во мгле,
в холоде, в темных глубинах...
Что разбудило тебя на заре?
Звон голосов лебединых!

Пламя рождений и холод смертей,
тайны любви и гнездовья,
кровные пути отцов и детей
требуют мглы и безмолвья.

Время исчерпано. Птицы на юг
тянутся к вечному лету,
словно кричат: — Не разгадывай, друг,
тайну последнюю эту!

* * *

Памяти Эрнста Портнягина

Наши лошади шли по цветам,
в синих реках бродили по брюхо.
Я дивился гранитам и льдам,
необъятным для зренья и слуха.
Дети нежной и страшной земли —
если б делали нас из металла!
Мы с тобой по Тянь-Шаню прошли,
и как щепки нас жизнь разметала.
Самых лучших эминает судьба,
самых сильных и преданных косит...

Не удержишь ладоней у лба —
никнут долу, как ветер относит.
Наши тропы и наши костры,
запах счастья, свободы и дыма,
горький привкус огня и золы —
все истаяло неотвратимо.
Сколько жизни я отдал земле,
сколько радостей в небе витает,
не по мне этот мир, не по мне, —
так прекрасен, что сил не хватает.

Юрий Левитанский

СЮЖЕТ С ВАРИАНТАМИ

Не будучи пародистом и вовсе не претендуя на это высокое званье, я иногда позволял себе, тем не менее, писать пародии на своих товарищей и коллег, поэтов хороших и разных. Так незаметно собралась книга, которая выходит в этом году в издательстве «Советский писатель». Она называется «Сюжет с вариантами». Первая часть, сюжет, — это известная история о зайчике, который вышел погулять. Вторая часть — варианты, то есть пародии, написанные на эту тему.

Здесь публикуются некоторые из пародий, не печатавшихся ранее.

ЗАЙЦЕРАМА

(С. Кирсанов)

Там, где, врезанный
в Кордильеры,
огородствует
огород,
конкистадоры-
браконьеры
зайцу сделали
окорот.

Там, в тумане,
за дымной Сьеррой,
только выскочил
погулять —
для чего его
в шубке серой
дваждыдварики
пятью пять?

Хулиганствуя,
хали-гали,
хулахупствуя
на лугу,

длячегорики
напугали,
почемурики
ни гугу?

Говорю ему —
у, мерзавец! —
конкистадору,
главарю:
— Умер заяц?
Не умер заяц!
Чепухарики! —
говорю.

Избегая
финальных арий,
Оркестранты,
играйте туш!
Поместим его
в дельфинарий,
в планетарий
звериных душ.

Пусть морковствует
серый заяц,
путь дельфинствует
над водой,
серый заяц-
незамерзаец,
нуклеарный
и молодой.

Перевязанный
синей лентой,
упакованный
в целлофан,

пусть несется он,
турбулентный,
как огромный
Левиафан.

Пусть летит он
в своем убранстве,
убеждаясь
в который раз:
этот танец
протуберанцев,
c'est la dance
des protuberanse!

КОСОЙ И СЕЛИФАН

Б а с н я

(С. Михалков)

Жил в некоем лесу один косою зайчишка,
Совсем еще почти мальчишка,
Шалунишка
По кличке Гришка.
Однажды как-то днем,
Часов примерно в пять,
Зайчишка Гришка вышел погулять.
А тут, как на беду, из леса выбегает
Охотник Митрофан (по кличке Селифан)
И прямо в серого стреляет,
Хотя, по счастью, он в него не попадает,
Поскольку был разбойник Митрофан
Смертельно пьян.
«Вот повезло,— дрожа, подумал Гришка,—
А то бы бац — и крышка!..»
В сей миг из-за ближайшего моста,
Где зелень так густа,
Из-за куста
(А попросту сказать — со своего поста)
Под тихий шум дерев и гомон птичий
Выходит — кто б вы думали? — лесничий,

Известный всей округе великан
По имени Степан.
Лесничий тот из малых был толковых.
Наш Митрофан белее стал, чем мел.
И так как права на отстрел он не имел,
Степан его хотел на пять целковых
Оштрафовать...
Но не оштрафовал,
А чуть ли даже не расцеловал,
Лжбезно папироской угостил
И с богом отпустил...
Суть в том, что был Степан совсем не тот,
который...
К тому же сей негодник Митрофан
Не первый уже год заведовал конторой
Строительной артели «Целлофан»,
За что его и звали Селифан.

Мораль сей басни —
Не кивай на Селифана,
Коль сам ты слаб по части целлофана!

ПЛАЧ ОХОТНИКА ПО ДВУМ НЕ УБИТЫМ ЗАЙЦАМ

(А. Вознесенский)

Пятый день бегу по следам.
Шагадам, кричу, магадам!

Окликаю своим позывным:
Скрытымным!

Ну и лажа! У, кобели!
Увели...

Было —
четыре пары пушистых лап, четыре пары тонких и элегантных,
восемь изящных спринтерских ног, как у Брумеля или Плисецкой;
Было —
две лебединых шеи, два брюха виолончельных, две мощных спины —
два висячих цепных моста — зеркальное отражение знаменитого
Бруклинского моста, так свободно парящего между башней Эйфеля
и туманными скалами Эльсинора;
Было —
две пары ажурных ушей, серебристых и чутких, как радиолокаторы,
установленные на крыше Эмпайрс-билдинг;
Было —
два смежных мини-хвоста, опалово-перламутрово-белых, грустных,
но стремительных, как проходная пешка Бобби Фишера в королев-
ском гамбите;
Было...

Но свистел, как уркач, аркан.
А ханурик плясал канкан.
Заманили силком в капкан,
Как Букашкина — в хор цыган.

Заманили? А ходит слух —
увели, как последних шлюх.
Как уводят публичных дам,
чтобы там
шагадам магадам.

Был приварочек — первый сорт.
Умыкнули, ханурик, черт!
Где приварочек? Нету. Сперт.
А еще говорили — спорт!

А было —
два любящих сердца, два нежных предсердья, хотя и не лишенных
некоторой сентиментальности, одна пара левых и одна пара правых
желудочков, две пары легчайших легких, приближавшихся к среднему
весу, два пупочка, сладких и нежных, как руки Лолобриджиды, и
это, не считая всего остального, а если считать, то получится —
свежей парной зайчатины 2 раза по 8 кг, или всего 16 кг по 1 р. 29 коп.
за 1 кг в среднем — итого 2811 г., если перевести в голландские
гульденены...

Шагадам, кричу, магадам.
Не отдам!
Пятый день по следу лечу,

Чу —

чую мочу.

Ничего — все равно доскачу.
Ничего — что не по годам.
Шагадам, кричу, магадам.
Нервы, что ли, отключены.

Ветчины хочу, ветчины!

Не морковное е-мое.
Не капустные кочаны.
А хочу получить свое.

Ветчины хочу, ветчины!

Что скрываемся, что темним!
Никакой там не скрымтымным.

Ветчины хочу, ветчины
небывалой величины!

Владимир Леонович

РОДНЫЕ

Все живое. Тесно. Больно.
Вот — стареют, смерти ждут.
А просты, а безглагольны...
Дом пустой. Часы идут.

И везде переселенец,
и нигде не сирота,
перепутал как младенец:
та родная или та?

Жив я, нищий и никчемный,
э т о — милое — копя:
— Целовек-от ты уценой,
так и жалко мне тебя...

А и мне — и так, и жалко...
Грудь нет — спина да палка.
И гляжу и пропадаю:
так стояла б — молодая,
так бы руки прятала,

так бы зорко взглядывала
и, ресницы притемня,
угадала бы меня...

Это — в рамке на стене
будто в омуте на дне —
ты — не ты? В красе и славе,
в лапоточках и с багром
в майский день на лесосплаве.

Пожелтело — вышел бром.
Не гляди уж так плачевно,
укоризну затая,
мама Ольга Алексевна —
одинокая моя.

По Сибири, по России,
память милую храня,
без меня живут родные,
помирают без меня.

ВЕТРЕННОЙ НОЧЬЮ

Ветреной ночью платан шелестит,
легкая бездна навстречу летит —

набережная гонит и гнет
этот ночной, этот душный полет.

Вот в мостовых простонало столбах,
дух захватило, скрипит на зубах...

Мальчик растет и смеется во сне.
Встань поутру — позабудь обо мне.

НИКА

По волнам бухты
скачет скутер,
и свежий ветер — лучший скульптор —
единым замыслом объял
на свете лучший матерьял:
одним порывистым усилием
все обозначит без резца —
от голени и до лица —
и все обдаст

соленой пылью,
обдаст, и насухо опьет,
и замирает на мгновенье,
и собственное вдохновенье
в богине мастер узнает,
и, выведя Никей крылья,
вдруг отлетает — душу вылья, —
не оглянувшись, на простор,
у пирса вырубив мотор!

Семен Липкин

ЧИНАРА

На ветвях деревьев дремлют куры
И, быть может, слышат иногда,
Как шумят седые балагуры
В чайхане на берегу пруда.

Близко — пыль и голоса базара,
Здесь — недвижно вечереет свет
И двухсотвесенняя чинара
Прожитых не замечает лет.¹

Сколько раз шумели эти ветки,
Эти шутники из чайханы,

И потомством становились предки
Человека, птицы и весны.

Неизвестна ей моя забота,
И моя тревога ей смешна.
Что ей жажда и боязнь полета,
Что ей бесталанная вина —

Жить, не зная своего названья,
Жить и ничего не называть,
Разумея смысл существованья
Только в радости существовать.

ГОРОД ХВОЙНЫХ

Я иду навстречу соснам
Тихой улицей в лесу.
За сараем сенокосным
День разлил свою росу.

Перебежчик-кот мурлычет
Обо всем и ни о чем.
Город хвойных здесь граничит
С человеческим жильем.

За единственное яство
В простоте благодаря,
Здесь, в лесу, не хочет паства
Пастыря и алтаря.

Я вступаю в город хвои —
Не изгой, не суевер, —
Одолев свое былое
И языковой барьер.

ВЕЧЕР ЮГА

Нежность или тихость
Сумрачного сада,
Робость или дикость
Лиственного взгляда,

Туч полупрозрачных
На небе стоянье,
Вишен-новобрачных
На земле сиянье...

Здесь на самом деле
Сумерки, цветенья.
Или овладели
Мною наважденья?

Вещими глазами
Смотрим друг на друга,
Иль себе мы сами
Снимся в вечер юга?

Владимир Лифшиц

ДЕЛЬФИН

Узришь такое не везде:
Поклонникам в угоду,
Дельфин твистует на хвосте
И шлепается в воду.

И тут же снова над водой
Свою взметает тушу —

Сверкающий, и молодой,
И радующий душу.

Дельфину по сердцу игра,
Свистит он и стрекочет.
Дельфин желает нам добра.
Дельфин как лучше хочет.

МИМОЛЕТНОЕ

Красивая,
Стройная,
Чудесно настроенная,
Девушка шла по Садово-Каретному,
По летнему, людному Садово-Каретному,
Радуясь абсолютно конкретному:
Тому, что красивая,

Тому, что стройная,
Тому, что идет — чудесно настроенная,
Тому, что владеет
Летающей походкой,
Тому, что оглядывается
Тот, с бородкой.

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

Вот, драматург, тебе награда
За твой неопенимый труд:

— Там волк!..
— Туда ходить не надо!..—
Всем залом зрители орут.

Орут в порыве соучастья,
Орут, вскочив за рядом ряд,
Восторгом ужаса и счастья
Глазенки круглые горят.

Инна Лиснянская

* * *

Там, где из оленьей шкуры
Чум над Хатангой-рекой,
А иной архитектуры
И не видно никакой;
Там, где посредине крыши
Есть дыра, а в ней — труба,
А под ней времянка дышит,
А вокруг нее — судьба;
Там, где ездят на собачках,
Где метель свое мела,
Я, мерзлячка из мерзлячек,
Тоже некогда была.
И, в столичную шубейку
Завернувшись кое-как,

— Поскорей, ах, поскорей-ка! —
Умоляла я собак.
А зачем я затесалась,
И сама-то не пойму,
В эту жгучую, как жалость,
Круглосуточную тьму.
Снег спешил, спешили санки,
Трубку длинную во рту,
Как худые нагасанки,
Я держала на лету.
Это все, чему успела
Научиться я у них.
А какая жизнь скрипела
Да и как надежда пела
В этих чумах кочевых!..

* * *

Я не знала прежде никогда,
А теперь узнала эту новость,
Что сухою может быть вода,
И что пламя — холоднее льда,
И что наша память — это совесть.

Потеряла память я впотьмах,
Собственное имя, год, и город,
И мужчину с дочкой на руках.
Воду пью, но сухо на губах,
Трогаю огонь, а в пальцах холод.

Юрий Лоциц

* * *

Так
паром пышная река,
чуть расшевеливая травы,
прикатит к нам издадека,
из тьмы на солнце, для забавы,
для детских криков у песка.

Ступни поганые ничьи
ко дну ее не прикасались.

* * *

Вечер тянет тени вдоль села.
Рыжий лед молчит оцепенело.
Птица не запомнит, где летела.
Рыба позабыла, как плыла.

Позабыла ветхая молва,
на погосте судьбы чьи холмятся,

* * *

Река, и за рекой гора,
и луг, бегущий вниз от дома, —
опять все это мне с утра,
как год назад и как вчера,
неузнаваемо-знакомо.

Прокрались годы чередой,
пока стоял я тут, немой,
не в силах наглядеться вволю.
Но странно: время за спиной
не подвигалось ни на дюйм.

* * *

По лесному санному руслу
поворот, пригорок, нырок,
всхрап коняги, людской говорок,
сена клочок, окурочок, причмок...

Вздрагнет куст.
Не прервав дремоты,

И крови тяжкие ручьи
в нее ни разу не вливались.

Стыдливая, одна из ста,
она по-прежнему чиста,
как в день рожденья,
когда от малого куста
дано ей русло и движенье.

как отмаялись и как томятся
вместе, от велика до мала...

Но в открытой книге мировой
все уже записано любовно —
все, до имени, до буквицы, дословно, —
первый и последний, и любой.
Даже тени сдвиг и всплеск речной.

Шептал я: жизнь мне не нужна,
но пусть, как образ дивный в басме,
сияет эта сторона
перед глазами и не гаснет.

И вот —
красу родимых мест
всю — до морщинок, до извилин —
так полно вижу я окрест,
что сам уже почти не виден.

набекренит шапку сосна.
Раз в неделю проедет кто-то.
По пятам — тишина.

Да и был ли кто — неизвестно.
За метелью поди докажи.
Может, просто пригрезился лесу
жаркий образ людской души.

Михаил Львов

* * *

Во мне душа растет и ночью
(Я это вижу сам воочью),
Сказать точнее — рабочей ночью,—
Я добавляю ночь ко дню,
Бессонницей работу дню...
(Тогда сильней люблю родню...)
Не получу потом «отгула»
И благодарности (откуда?)...
Никто нагрузок не «скостит»...
Не будет «стаж ночной» засчитан...
Жена — так даже не простит...
Мой сон, как детство, беззащитен —
В душе ответственность растит...
Как я усну? Как я оставлю
Без стражи, без охраны их —

* * *

Ни соловья,
ни скромного щегла
Искусственно заставить петь нельзя.
Да, к нам Отгизна истинно щедра,
Поэтому поется нам, друзья.
Как песня соловьиная — и стих.
И дело совершенно же не в том,
Что средь певцов немало и плохих...
Но в этом разберемся мы потом.

Уснувших близких и родных?
И — сам себя на стражу ставлю!
Святая должность часовых!
Как властную необходимость,
Тебя когда-то жизнь нашла,
И — без тебя не обходилась
Потом — века! — ее душа.
(...Конечно, не проверить в клинике —
Но я уверен — до конца —
Что даже маленькие лирики
Имеют львиные сердца...)
...Не спит мой брат, бои прошедший,
В ночную смену вновь спеша,
И в нем огромно, как прожектор,
Растет солдатская душа.

Поем! А не сидим с закрытым ртом.
От Вологды до края, где — Якутск,
От Бреста и до местности Певек —
Все трассы соловьиные текут.
Наш человек — поющий человек!
А сердце песней полнится не зря —
Не просто «ни с того» и «ни с сего»,—
Его поит певучая Земля!
Певучий Дух Отечества всего!

Игорь Ляпин

ПОСЛЕВОЕННОЕ

1

Мне эта быль навеки близкая.
Навеки дни ее горьки.
Долина. Станция Долинская.
Составы, насыпи, гудки.

И эшелонов звуки трубные,
И вот размашистой рукой —
По всем вагонам строки крупные:
«Мы из Берлина», «Мы — домой».

Такая радость всеми властвует.
Цветы, вопросы невопад.
Слова всеильные «Да здравствует...»
Полощет свеженький плакат.

Оркестр военный, пар кружение,
Танго, сводящее с ума.

И поцелуи, и смущение,
И смех, и слезы — жизнь сама.

И разговоры откровенные,
И звон сияющих наград,
И эти платья довоенные
У раскрасневшихся девчат.

Все так сердечно, так волнующе.
И светом все озарены
Таким весенним и ликующим,
Как будто не было войны.

А дали все еще багровые,
А губы все еще горчат.
И паровозы маневровые
По-человечески кричат.

А след тех дней далеких не простыл,
Он свеж, тот шрам, оставленный войною.
Тот инвалид, что выронил костыль,
Который год стоит передо мною.

Еще беда не улеглась в гранит,
И инвалиды — всюду, всюду, всюду.

А память только этого хранит,
И, видно, век его не позабуду.

И буду видеть шрамы, седину,
А на груди медали все, медали...
И как не доигравшие в войну
Ему костыль мальчишки подавали.

Евгений Мартынов

ЛОШАДИНАЯ СИЛА

Сумрак упал на гранит
У Московского моря.
То ли ветер звенит,
То ли что-то в могоре
Где-то там вдалеке
На шальном катерке —
Разобрать я не мог...

Захрустел тепловатый
Розоватый песок
Возле девичьих статуй,
И как будто она
Лошадиная сила,
Накатила волна,
Керосином песок оросила.

СТРАЖ

Я,
 когда нахожу
 черепки чаш
 в чистом поле,
Думаю:
 — Кто же им страж?
 Вечность, что ли?

Я не говорю уж о многих еще не взятых под охрану
 государства древних могильных буграх,
То есть о том, что кто-то не занят спасеньем
Тех курганов, где предков своих беспокоим мы прах
По субботам и воскресеньям
Так, что сучья трещат средь дубрав и в соседних мирах!

О, довольно пылать браконьерским кострам,
И конечно, теперь уж никто не стремится разрушить старинный храм,
Но на радужном озере
Видится мне:
Монастырь,
Превращенный когда-то в маяк,
А теперь и на месте маячных развалин
Остается, печален, лишь черный пустырь и пожравший и
 камень и пламень очаг.

Словом,
Есть у Вечности что-то
Всепожирающее
В ясных ее очах,
Будто Вечность такой преотчаянный весельчак,
Что порой и заплакать от смеха охота.

СЕРЕБРЯНЫЙ БОР

Путь
В Серебряный бор
В дымах мимо Филевского парка,
Там, где мифы и нимфы и через забор
На Москву-реку в виде подарка
Метеоры бросает неярко
Всемогущая электросварка.
И еще светофор, и еще переезд,
И Товарная Пресня, и дальше в объезд
Разных полуразвалин, причастных к былому,
Через грохот ущелий железного лома,
Мимо бледной колонны ампирного дома,
От которого только одни антресоли,
И затем все заводы, заводы — какой-то
строительный трест, и окрест
Блеск и треск, будто всюду сверкают слюда
и асбест,
И не шпат полевой — так калийные соли...
О путь к Леле!
И где-то вдали за туманом
Октябрьского поля
Он, Серебряный бор, над которым
На Лелю, живущую в новом
подоблачном доме,
Облеченном в стекло, и эмаль, и глазурь,
После бурь, потрясений
Смотрит месяц осенний
Серебряным взором.

Алексей Марков

* * *

Шрамы остаются на дорогах
От скрипучих бричек и машин.
Если ищешь друга без пороков,
Значит, ты останешься один!

Снисхожденье не дается зверю.
Снисхожденьем человек велик.
По своим — грехи чужие мерю,
Вырываю грешный свой язык!

ГРАЧ

Февраль. На тополе сидит
Веселый первый грач!
Нам скорую весну сулит,
Не вовремя горяч!

Что, бедный, перепутал срок?
Да здесь он зимовал,
Нашел уютный уголок —
На южный край плевал!

Орет, когда летят еще
Собратья где-то там,
Сквозь снег и мрак к плечу плечо
Несут отраду нам...

Пуржит... Не много же тепла
Сумел он в нас вдохнуть,—
Затем, что песня не прошла
Сквозь трудный крестный путь!

Другие скоро прилетят,
Свет радости зажгут,
Загомонит зеленый сад,
Заглянет солнце в пруд!

...Подушки выбивает бог —
Последний снег летит
И тает, стелется у ног
Среди бетонных плит...

Сергей Марков

БАЛЛАДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

1. ОТЕЛЛО

Нет, он не мавр, а важный мандарин,
На нем мундир просторный цвета хаки,
Он в желтых пальцах держит весь Харбин,
Его боятся белые вояки.

Советник молвит: «Веря в ваш талант,
Я в наступленье вижу только благо...»
Но вот шуршит змеиный аксельбант,
Рыдают шпоры, в дверь заходит Яго.

Он говорит, потупив темный взгляд:
«Хайлар не верен предержавшей власти,
Там четверо подосланных солдат
Вчера смущали запасные части.

Расстреляны сегодня на плацу...»
И Яго гладит яркие шевроны.
Но тень бежит по желтому лицу
При имени прекрасной Дездемоны.

О Яго! Ты — наперсник и шептун
И старой ложью будешь жить сначала!
Но вот гремят железо и чугуны
У семафора светлого вокзала.

И мандарин, припомня старый сон,
Томящий как осенние зарницы,

Садится в бронированный вагон
И мчится на горящие границы.

Там бог войны, больной прелюбодей,
Закутался в горячие туманы,
Похожие на черных лебедей,
Над головой плывут аэропланы.

Но вот бесславный прогремел отбой...
Чужое и расслабленное тело
Ты в зеркале увидишь пред собой,
Разбитый и обманутый Отелло.

В далекой спальне слышен тихий стон,
Иди по половицам серебристым!
Лиловый зонт, причудливый флакон
И плечи, чуть прикрытые батистом...

Он говорил: «Подарок мой храни —
Браслет, изображающий лилею». —
В полночный сумрак руку протяни —
И ты найдешь ее лебяжьей шеею.

Один лишь миг, лишь судорога скул!
И только в смерти мука и отрада...
А Яго — это беглый есаул
Из нерчинского волчьего отряда...

2. МАРИНА

Пыльный шум толпится у порога...
Узкая Виндавская дорога,
Однопутье, ветер да тоска...
И вокзал в затейливых причудах —
Здесь весь день топорщатся на блюдах
Жабры разварного судака.

Для тебя ни солнца, ни ночлега,
Близок путь последнего побега,
Твой царевич уведен в подвал,
Свет луны и длителен и зыбок,
В показаньях множество ошибок,
Расписался сам, что прочитал.

Паровоза огненная вьюга,
И в разливах тушинского луга
Вспоминай прочитанную быль —
Здесь игра большая в чет и нечет,
Волк в лесу, а в небе ясный крик,
А в полях ревет автомобиль.

Обжигай крапивою колена,
Уходи из вражеского плена

ПРОЩАНИЕ С ЯЗЫЧЕСТВОМ

Свершаем обряд «костромы»,
Пылает и корчится идол.
Зажгли, чтобы тайны не выдал —
Что жили в язычестве мы.

Вчера лишь молились ему
В лесу у Николы-Поломы,

ЛЕРМОНТОВ

Вселенная томится в темном сне,
Но льются воды, и трепещут лозы,
И звезды в недоступной вышине
Сверкают, словно демоновы слезы.

И шепчет рок: «Едва ли счастлив тот,
Кому величье — как печать проклятья,
Кого бессмертье алчное влечет
В могучие и страшные объятья.

Ты встал над прахом вероломных лет
Угрюмой песней, думой вдохновенной,

По кустам береговой тропы!
За Филями на маневрах танки,
У тебя ж, залетной самозванки,
Прапоры да беглые попы.

Да старинный крест в заречной хате...
А сама служила в Главканате
По отделу экспорта пеньки.
Из отчетов спешных заготовок
Убедилась в прочности веревок,
Сосчитала пушки и штыки...

Посмотри, прислушайся, Марина,
Как шумит дежурная дрезина,
Шелестят железные мосты,
Как стрелки берут на изготровку
Кто клинок, кто желтую винтовку,
Как цветут и шевелятся рты.

И стрелки в своем великом праве
Налетят, затравят на облаве,
Не спастись ни в роще, ни в реке.
А на трупе — родинки и метки,
Четкий шифр из панской контрразведки,
Что запрятан в левом каблучке...

А ныне — усы из соломы
Поникли в смолистом дыму.

И весть разнеслась далеко
По градам и шумным дорогам.
Расстались с беспомощным богом —
И стало на сердце легко!

Ты — радуга, ты — незабвенный свет,
И властелин, и пасынок вселенной...»

И вечный лед, и снег, и облака,
И вздохи ветра над холодной чашей...
Бессонница, орлиная тоска
И ощущение высоты томящей.

И что осветит утро бытия,
Сверкнет пред взором сумрачным поэта —
Лезгинской сабли скользкая змея
Иль первый отблеск горного рассвета?

ЕСТЬ ОГНЬ БЕЗДАРНОСТИ...

И цепкий, точно клещ, и едкий, как цикада,
И языком трещит, как на костре береста,
И глуп, как белый бык, ревуший у закута.
Все это превратить в поэзию — не просто.

Отсюда — строк его лирическая смута.
И ярый перегрев (под стать огню Арьосто) —
От тренья нужд о быт. Отсюда — рвенье плута,
По силе равное большой пальбе с форпоста.

Кто лгал, что кровь его не шибко ходит в жилах?
Кто утверждал, что он насквозь фальшив? Поклепы!
Он даже то сокрыть от публики не в силах,
Что нужен сам себе, как Данте — для Европы.

О пламенность!.. Хотя... огонь огню не ровня:
Есть прометеев жар. Есть — адская жаровня.

ТИП ЛИРИЗМА

Я, лирик, примешав унынье к наслажденью,—
Трясине и дождю я дал себя пленить.
Рисую отчий край,— по моему сужденью,—
Большой патриотизм: уныние ценить!

Я творчество... с тоской сумел соединить!
Я скуку изобрел — и рад изобретенью:
По щучьей милости, по моему хотенью —
На что ни погляжу — пойдет сыреть да гнить.

Пейзаж измучен мной — и мне же сердце мучит.
Но так как я пришел воспеть его печаль,
Поддержки он моей — хоть треснет! — не получит.
Он тем меня и взял, что мне его не жаль.

Он — в слезы. А меня — тревожит — не — тревожит.
Кто сам — причина слез — тот верить в них — не может.

Михаил Матусовский

СТИХИ ИЗ СТО ДЕВЯТНАДЦАТОЙ ПАЛАТЫ

* * *

Как я жил, на время не смотря,
Позабыв о всех на ждущем часе.
Как я жизнь свою транжирил зря,
Будто вечность у меня в запасе.

Как не замечал за кучей дел,
Что стою над бездною у края.
Как дружил не с теми, с кем хотел,
Сам себя за это презирая.

Как я на живую нитку шил.
Как, задумав петь, сбивался с лада.

* * *

Всем этим по горло я сыт.
Уж, кажется, хватит.
Мужская компания спит
В больничной палате.

Одна у нас доля на всех,—
Мы вскоре уедем.
Случаен и этот ночлег,
И эти соседи.

Судьба ль мне такая дана
Навеки в нагрузку.
Как будто бы снова я на
Втором Белорусском.

Наш газик, смежив фонари,
Вздремнул за сараем.

* * *

Кто-то в небе грома ворочал,
Брал верха, а потом низы.
Я проснулся в середине ночи
В перекрестном огне грозы.

Двор больницы в кустах сирени,
В низких зарослях бузины
Был способен на озаренья
Те, что гениям лишь даны.

И, измаясь от этих молний,
От подробностей и примет,

Как я труса праздновать спешил
Там, где проявить характер надо.

Как наивно верил в то, что есть
И чего на самом деле нету.
Как я лицемерие и лесть
Принимал за чистую монету.

...Чтоб тебе открылась жизни суть,
Отмели ее и перекаты,
Стоит иногда на все взглянуть
Из сто девятнадцатой палаты.

Дотянем ли мы до зари,—
Мы точно не знаем.

Есть сахар у нас, и махра,
И две полбуханки.
Лишь только б еще до утра
Просохли портянки.

Вся наша команда храпит
Во сне неглубоком.
И жестко и холодно спит
Оружье под боком.

Зенитки, ходя ходуном,
Заходятся в вое.
И долго горит за окном
Село фронтное...

Электричеством был наполнен
В этом мире любой предмет.

Что творилось под небосводом,
Все я схватывал на лету.
Не подушку ли с кислородом
Поднесли мне сейчас ко рту?!

Пахло зрелостью спелых вишен,
Сенокосом, степным жнивьем.
Значит, срок наш еще не вышел,
Значит, мы еще проживем.

* * *

Всю ночь во мраке полусонном
Я различал сквозь забытье
На индикаторе зеленом
Сердцебиение свое.

И я достиг того предела,
Где с временем кончалась связь,
Где только жизнь моя висела,
На нитке пульса чуть держась.

* * *

Стоял я, на волю отпущенный,
Стоял я совсем налегке,
Свое небольшое имущество
В холщовом держа узелке.

Дул ветер, и не было сладу с ним.
И взоры мне застила мгла.
И в этой беспомощной слабости
Какая-то сладость была.

И не было в мире священнее
Проулка со спуском кривым.
И праздновал я возвращение
К деревьям, к домам, к мостовым.

И, заглянуть успев в иное,
Я мысленно сдавал дела.
И капельница надо мною
Уже по каплям счет вела.

И абсолютно неуместно
В палате, где-то за стеной,
По радио звучала песня,
Когда-то сложенная мной.

И облако красок Сезанновых,
И просто гараж или подвал
Я видел как будто бы заново
И заново все открывал.

Такая вокруг тишина была,
Так были все связи легки...
Я мог переписывать набело
Судьбу свою с красной строки.

Стоял я над пропастью гибельной,
Ее глубиною дыша.
И все-таки, что бы там ни было,
Я верил, что жизнь хороша.

Егор Митасов

СТАРОЖИЛЬСКАЯ КАПУСТА

По России по всем направлениям
Я проехал, прошел, пролетел,
Мальчик осенью в каждом селении
Кочерыжкой капусты хрустел.
Я капустой друзей принимаю,
На капусту к друзьям прихожу,
Ем чужую — свою вспоминаю,
В огородах сквозь годы гляжу.

* * *

Туман над пашней молодой,
Над тихой жизнью и бедой.
Обнял меня, шепнул, согрел.
Какую тайну скрыть хотел?
Хотел меня он уберечь,
Отвлечь от бесполезных встреч?
Я с детства знал его: туман

Повелось: на покров в Старожилье
Созывали родню ко двору.
В этот праздник капусту рубили,
Приглашали и нас, детвору.
Вспоминаю о тех временах:
На крыльце бледнолицый мальчишка.
И хрустит у меня на зубах
Невозвратной поры кочерыжка.

И правду скроет, и обман.
Но знал еще: нельзя мешать
Земле туманами дышать.
И все же к пашне я приник,
Я вновь хотел в нее врасти.
Но как? Ушел давно. Отвык.
Стучит в груди: «Прости, прости!»

ЛАДЬЯ

Грудью всей ладья плыла
По своей морской отчизне,
Гибкость жизни в ней была,
Молодая гибкость жизни.

Распростерла два весла
Над стихией беспредельной —
И сама себя несла
Плотью вольною, ладейной!

Высоко вздыхала грудь
И не мялась, не ломалась.

* * *

Весьма подающий надежды
Поэт восемнадцати лет
Спросил меня в клубе однажды:
— Вы пьете коньяк или нет?

А я головой покачала,
Прищипнув на юность свою,
А я ему так отвечала:
— Нет, я не курю и не пью.

Как будто дитя из-за парты,
Он робко спросил у меня:
— Вы любите резаться в карты
Запоем три ночи, три дня?

А я головой покачала,
Прищипнув на юность свою.
А я ему так отвечала:
— Нет, я козырями не бью.

Глаза округлив голубые,
Он страсти искал роковые —
Годилась и та, и другая,
Отсутствием полным пугая!

(Ведь носятся наглые слухи,
Что в поэтическом духе —
Лелеять порочные страсти
Со светлой моралью в контрасте!
Нахальные слухи гуляют, —
И многих весьма окрыляют! —

Всем ветрам забава — дуть,
Чтобы эта грудь вздымалась!

Всем волнам забава — петь,
Чтобы эта грудь томилась
И, обузданная впредь,
Никуда бы не стремилась.

А ее забава — путь,
Ведь ладья она морская!
Для того такая грудь
Да и вся она такая!

Что будто бы метит пророков
Крепчанье тайных пороков!

А я головой покачала,
Прищипнув на юность свою.
А я ему так отвечала:
— Чиста и греха не таю.

И, глядя на город всегдашний,
Спросил он (подумав: соврет!):
— Вон башня, а кто в этой башне,
Высокой и тесной, живет?

А я головой покачала,
Прищипнув на юность свою.
А я под конец, как сначала,
Всю правду ему говорю:

— В той башне, высокой и тесной,
Царица Тамара жила,
Прекрасна, как ангел небесный,
Как демон, коварна и зла!

Бедняга, услышав такое,
Вконец оскорбился душой.
Его самолюбье мужское
Украшилось раной большой:

Ведь кончил он школу с отличием,
Чтоб в собственных высях парить,
И страшным считал неприличием
Цитатами вслух говорить!

ТЮЛЬПАН

Вейся, жилистый тюльпан,
На семи ветрах Тифлиса!
Ты и черен, и румян,
Сверстник чая и маиса!

Ты возлюблен и воспет
Кистью, струнами и словом.
Узнаю легко твой цвет
В красном, желтом и лиловом.

Узнаю тебя легко —
Где, когда и с кем ни буду.

Ты мне виден далеко,
Виден сразу отовсюду.

Да, присутствие твое
Невозможно затуманить,
Как летящее копьё
Невозможно прикарманить!

Дай мне луковку свою —
В безнадежном положении
Я с тобою постою,
Чтоб увидеть продолженье!

Сергей Мнацаканян

* * *

...И я опомнюсь когда-нибудь,
припоминая прошлое,
чтоб только юность на миг вернуть
негаданно и непрощено.
И этот пригородный трамвай,
и темную мастерскую,
и в телеграммах ночных слова —
«помню, люблю, тоскую»...
Я убедился во всем сполна —
что свет из потемок рвется,
что тесен мир и судьба тесна,
рискованно благородство...
Еще припомнится по весне —
когда еще снежно-снежно,

как женщина подарила мне
несбыточные надежды...
Спасибо! Минуло навсегда
все то, что на самом деле
краснело словно бы от стыда,
скрывалось в ночной метели.
Спасибо! Прошлого не вернуть —
не надо тоски и фальши...
Ну, с богом, милые, добрый путь,
пора собираться дальше.
А лес под сумраком золотым —
сосновый и земляничный,
и жизнь проходит, как черный дым
над красной стеной кирпичной.

* * *

Стройка, церковь, темный лес,
не внесенные на глобус,
перекресток словно крест,
а на нем распят автобус.

Он бормочет о своем,
он буксует в черной глине...
Церковь заросла репьем —
бога нету и в помине.

Только этот небосвод,
куртки, кожанки, спецовки,
тополь, утренний народ
на конечной остановке!

Лев Озеров

* * *

Всю ночь стучали яблоки по крыше.
Тяжелый август отдыхал в саду.
И где-то вдалеке, как в темной нише,
Не знаю кто держал в руках звезду.
Грозился уронить ее, но медлил.
А между тем — порывами — вдали
Полоской сильно подогретой меди
Вставал рассвет, и шелесты земли
Сопровождали это полыханье,
Все увеличивающееся, потом,

Как некий путник, придержав дыханье,
Входило утро суеверно в дом,
И, задержавшись малость на пороге,
Циновку света по полу влекло,
И шло по ней, свои босые ноги,
Как в воду, окунув в ее тепло.
И утро стало днем, и день все выше
Вздвигался круто по уступам скал,
И только спелых яблок стук по крыше
Везде его неслышно окликал.

* * *

Не ведая мотива,
Не зная слов, пою.
А песнь легка на диво
И вся — про жизнь мою.

А жизнь так нелегка мне,
Но так отрадна мне,

Как будто бы на камне,
Точнее, на кремне

Так просто и так быстро,
Кресалом зажжена,
Вдруг появилась искра,
Вдруг вспыхнула она.

* * *

Ласточка в туннель влетела,
Ласточка с прибрежных скал.
Легкое металось тело,
Мглистый свет ее пугал.

Выход вдалеке был виден,
В глубине потемок — свет.

Слишком прост он и обыден,
Мучивший ее ответ.

Билась, крылья покалечив,
Билась ласточка моя,
Словно разум человечесий
Над разгадкой бытия.

Лев Ошанин

* * *

*Маше, которой
тринадцать лет*

Ты полна доброты и света.
В душу вглядываясь твою,
Никаких я тебе советов,
Моя девочка, не даю.
Будут петь золотые ливни,
Кинет музыка кружева...
Все доверчивей и наивней
Вдруг закружится голова.
Все задуганней и опасней
С голосами наперебой

Мир — давно уж не одноклассник —
Закуражится над тобой.
Чтоб усталой не стать и стылой,
Чтобы солнце сберечь в крови,
Будь сильна своей высшей силой,
Силой совести и любви.
Белый снег заметет окошко
Или снова пойдут дожди...
Я люблю тебя, длинноножка,
Так смотри уж, не подводи.

• • •

Счастливым своей находкой,
Писал я в далекий год:
Пока я дышать умею,
Я буду идти вперед.
Нашлись сухари-грамотей
На песенном берегу:
Зачем, мол, «дышать умею»,
Сказал бы: «дышать могу».
А песне не было дела
До письменного стола.
Она над землей летела,
В тревожную даль звала.
Глаза у ребят светились
На Волге, на Иртыше —
Тот образ без завитушек
Пришелся им по душе.

...Что ж, с песнями так бывает,
Ребята, да что со мной —
Мне воздуха не хватает

В больничной глуши ночной.
Закрою глаза, а холод
За горло меня берет.
И я, как рыба на суше,
Бессмысленно пялю рот.
Швыряю прочь одеяло,
Вяжу сумятицу чувств.
Учусь дышать безотказно,
До корня дышать учусь.
Как ночь опять полосата...
Я воздух в себя тяну,—
На пятый раз, на десятый,
А в легкие протолкну!
Главное, научиться
Первый страх заглушать.
Как я был прав, ребята,—
Надо уметь дышать.
Ночь за окном светлеет.
Новый день настает.
Пока я дышать умею,
Я буду идти вперед.

Владимир Павлинов

РАБОЧАЯ КУРТКА

Я клятв громогласных, пойми, не даю —
в прощальный наш час не лукавлю.
Лишь эту холщовую куртку свою
тебе я на память оставлю.
Возьми соучастницу горьких невзгод,
защитницу брэнного тела:
в песках за два года считается год
не зря. Говорю тебе дело.

Тот холст, он от жгучего пота белел.
От солнца он делался бурым.
Ни куртки, ни шкуры я, верь, не жалел,
вставая на вахту помбуром.
Узнал и жару, что сгибает металл,
и жизни жестокую цену.
А это потом я бурильщиком стал
и взял в подчинение смену.

Я вышку тащил по барханам сухим,
навстречу песку и бурану.
Бурильщиком — веришь? — я был

неплохим.

Каким литератором стану?
А что, если сердцу не хватит огня —
и вновь окажусь виноватым?
Есть искра, считают друзья, у меня.
Ну, как им не верить, ребятам?

Не зря же, в холщовую куртку одет,
я шел по дымящимся глинам?
Не зря же помбуры признали: поэт!
Прозвали «акыном Павлином»?
Не зря же калился я в лютом огне,
мотался по резкому свету?
Как жить, чтобы жизнь не сломала во мне
рабочую косточку эту?

И если меня уличишь ты во лжи,
в боязни,— ханá мне, поэту:
в Москву прилети и при всех покажи
мне куртку холщовую эту!
А если я крикну: — Куда ворвалась? —
не брошусь на грудь, не заплачу,
то, значит, и жизнь моя не задалась,—
и сам ничего я не значу.

РУМЯНЦЕВСКАЯ СТАРИНА

Какая тихая картина!
Изба — у краешка села,
у тына — синяя осина,
у леса — розовая мгла...

Вот юркий паровозик мимо
пронесся в сбитой набекрень
мохнатой белой шапке дыма —
сквозь привокзальную сирень...

Эх, догоню! Схвачу в охапку,
сойду от радости с ума...
А он швыряет в небо шапку,
как подгулявший дед Кузьма.

Кроваво-красными кустами
между могилок проберусь.
Спит под дубовыми крестами
в своих сосновых шубах Русь.

Русь. У меня к тебе есть дело!..
Крест дремлет, прислонясь к сосне.
Ты отгремела, отгудела —
а душу завещала мне.

И ту вон ветхую избушку.
И те две вишни у стены.
И птицу вечную — кукушку.
И всю историю страны.

Когда нас оставляют силы,
мы — умираем. Но — не ты.
Не потому ли сердцу милы
под краской масляной кресты?

И зной, и лютую остуду
снесу я ради одного:
схоронен, смею думать, буду
я возле деда моего.

В Европе стойкостью прославлен,
сто раз убит — и невредим,
он газом травлен, танком давлен,
жив — и во мне непобедим!

И кружатся листы сухие;
багряные гонцы зимы...
Дабы не убыло России —
на то, брат, и живем-то мы.

ИМЯ ТВОЕ

Шла улицей тень. Я взглянул на нее.
Что это? Ба, это же — Имя Твое!

Обуто как ты. И одето как ты.
Но понял я тотчас: нет, это — не ты!

В охапку Оно не схватило меня.
От радости шапку не сбило с меня.

Оно оглядело меня с холодком,
как будто Ему я почти незнаком.

Лишь бегло взглянуло. Руки не дало.
Надменно кивнуло — и дальше прошло.

Ну что же, простимся — до лучших времен.
Живи-поживай — в окруженье Имен.

Есть вспомнить о чем однокашникам, нам.
Но я не причислен еще к Именам.

Другие с тобою сидят дотемна.
Они — не друзья. Но они — Имена.

Уселись все рядом, но по одному.
И памятник каждый — себе самому.

Где стенографист? Для потомков сбережь
обязаны мы гениальную речь.

Натура для скульптора — всяк и везде...
Ну, где же Вучетич? Кибальников — где?

Но нет, мы — не гении. Люди не лгут.
И скульпторы следом толпой не бегут.

И, горько вздыхая, потрохал домой
непризнанный Шиллер, друг глупенький мой...

Посмотрим — крутые придут времена, —
придут ли на помощь тебе Имена.

Увидим, что общего в странной судьбе,
где каждое Имя — само по себе.

Где в собственном Я сфокусирован свет.
Где есть Имена, а товарищей нет.

Нет братского круга — есть фарс и вранье.
Нет верного друга — есть имя Твое.

КРАСНЫЙ ПЕС

Ребристый, охмелевший тын,
бой соловьев,
чешуйчатый зеленый дым
вокруг стволов.
А в глубине — грусмённый дом,
дом без затей,
зато воспоминанья в нем —
как съезд гостей.
Плечом калитку отгесню
и побреду,
услышу вдруг цветов возню
в полубреду,
как в те отчаянные дни,
когда кругом
пылали музыки огни,
был весел дом!
И разлинованный — насквозь —
лучами сад
преподносил: то ягод гроздь,
то птичий взгляд.
И ласковый тайлся зов,
понятный мне,
здесь терлась свора красных псов
и в тишине
на лапах жилистых стеблей
ждала гурьбой,
кого из них, из своры всей,
возьму с собой.
Чья наступает череда —
никто не знал,
махрово-крупного всегда
я выбирал.

Мохнат, как пудель, георгин,
он цвел, он рос,
он мне в лицо дышал, как гимн,
мой красный пес.
Я увозил его туда,
где рампы свет,
где жемчугом вокруг тебя
кордебалет.
Театр мерцал, и зал, как бор,
вставал не раз,
тебе поддержкой не партнер,
а сотни глаз...
Не музыка тебя вела,
нет, не оркестр,
сама ты музыкой была —
и взгляд, и жест,
и лебединый теплый блеск,
вращенья след,
пернатый дерзкий арабеск

и круглый свет.
Преображений вечера
в душе досель —
Одетта, Маша, Гюльнара,
Нунэ, Жизель...
Но Китри!.. Китри, боже мой,
с разбегу — ввысь,
выбрасывалась по кривой
из мглы кулис
партнеру в руки; как дельфин,
морей дитя,
выбрасывается
из глубин,
дугу чертя.
И рев и гул... И твой поклон
на вызов наш,
и дыбились: партер, балкон
и бельэтаж.
С моей руки гигант-цветок —
неудержим! —
мгновенно совершал прыжок
к ногам твоим.
Как тайну тайн, он службу нес,
курнос и ал,
нас улыбающийся пес
соединял...

Кто мог провидеть боль Земли,
скорь до конца?
А судороги века шли
через сердца.
Война!
Все — в прорву, в забвенье...
Вагонов гон...
И имя изошло мое,
как снег, как сон.
И жалила и жгла, звеня,
в лесах мошка,
ываливалась на меня,
как из мешка.
Я до смерти изнемогал,
я мерз, я дрог,
я клал тела бездушных шпал
в хребты дорог,
скреплял мостами берега,
и, в свой черед,
путь прорубал сквозь жизнь врага
мой пулемет.
Большого времени ярмо,
ум иссушив,
затягивало, как бельмо,
зрачок души.

Ты не тускнела в маете,
я смог сберечь
пленительного фюэте
бегущий смерч
через всю память, вечный миг
в рябом огне,
как через сцену, напрямик,
ко мне, ко мне...
И, возвратясь из гиблых мест
в жизневорот,
встречаю жизнь, как ледорез
встречает лед.

Из мертвых лет, ослепших зон
войны я шел...
Как прежде слышу цветозвон
и танец пчел.
В саду, как в давнем далеке,
дал ход ножу,
смеющегося пса в руке
я уношу.

Театр мерцает. Рыжий блеск.
Ты мне видна:
вот — как фламинго — арабеск,
вот — как волна,
вот совершает оборот
веретено...

И как бы прыгает фагот
вверх, озорно!
Плеск факелов, восторг трубит...
Вот карнавал
тебя на царствие в любви
короновал.
Идет смещение времен,
а ты все та ж,
беснуются партер, балкон
и бельэтаж.
Цветная тень бежит, кипя,
играет след,
и жемчугом вокруг тебя
кордебалет.
Разбег. Полет. Оркестра вздох.
И среди поз
вновь на просцениуме лег
мой красный пес.

Я вижу затаенный вскрик,
и — впереди —
махровой мордой пес приник
к твоей груди.
Восторженный испуг в глазах
мелькнул сперва...
И соловьятся на устах
слова, слова...

Анатолий Передрев

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ МАТЕРИ

Нас в даль свою дорога позвала...
В машину хлопотливо мы влезаем...
Прекрасен наш шофер Ахадулла
И наизусть дорогу эту знает.

Уже на газ он был готов нажать,
Чтоб вдаль ушла послушная машина,
Когда над нами
Появилась Мать,
Держа в руках мерцание кувшина.
Она неслышно вышла на балкон
Благословить гостей своих
И сына,
Чтоб невредимы были мы и он,
Вода струилась из ее кувшина.
Наверно, ей,
И только ей одной,

Дорога наша не была обычной,
Полить ее
Спасительной водой
Старинный ей подсказывал обычай...

И где бы я ни странствовал с тех пор,
В каком ни мчу я бешеном вагоне,
Она,
На путь мой устремивши взор,
Стоит, стоит недвижно на балконе.

Какой бы ни грозила мне бедой,
Какой бы жизнь
Печалью ни страшила,
Она стоит
Неслышно надо мной...
Вода струится из ее кувшина.

* * *

Душа давно блуждать устала
В тех временах, когда над ней
Земли История вставала
В кровавой сущности своей.

Души не трогают нимало
Все три Пунических войны,
Где под пятою Ганнибала
Смешались люди и слоны.

Ее бы раздавило бремя
Всех жертв походов, боен, войн,
Но с ней — безжалостное время,
Закон диктующее свой.

Где орды Дария и Ксеркса?
Кто под копытами коней?
Их стон не достигает сердца
Из дикой древности своей...

Хоть в глубине родных преданий
Таится боль души моей,
Не слышу стоны сечи давней,
Ни звона блещущих мечей.

И гибель предков достославных,
Чей клич: «О, Русская земля!»,
Быть может, Плачем Ярославны
Еще лишь трогает меня.

И время тех, кто в бранной доле
Полегло средь отческих полей,
Давно сияет в ореоле,
Как достойные эпопей.

Рождались песни и легенды
В краях истерзанной земли...
Вставали Славы монументы...
Березы на костях росли...

Душа уже не слышит стонов
Былых полков и батальонов,
Все глуше грохот эшелонов,
Все дальше боль времен иных...

Но двадцать, двадцать миллионов
Недавних... Памятных... Родных...

Григорий Поженян

ЗАКОН ПИГАФЕТТО

Чтоб синей звездой
синела звезда
и ночью
ее отражала вода,
чтоб мирным
был мир
закононый,
чтоб тайный советник
дал тайный совет,
чтоб тень была тенью,
а светом был свет —
должны соблюдаться законы.
Закон раздвоенья
на влагу и сушь.
Закон тяготенья
двух родственных душ.
Всемирный закон
гравитаций
двух равновлекомых
взаимностью тел,
где центрифугальность —
еще не предел
в эпоху

цветенья акаций.
Закон треугольника —
грустный закон.
С ним каждый влюбленный,
пожалуй, знаком.
Закон непорочного круга.
Когда, распадаясь на время,
семья
опять возвратилась
на круги своя
законным приводом супруга.
Закон постиженья,
закон естества,
закон постоянства,
где — прочь голова
за шалость
невинной измены.
Закон воскрешенья
мужского ребра.
Закон возвышенья,
безльготно, Добра,
как пишут:
«без права замены».
...Когда из далеких
и прианостных стран,

БЕРЕСКЛЕТ

Поблекло и высохло лето,
По рощам прошел листопад,
И только кусты бересклета,
Еще зеленея, стоят.

Давно ль на пиру многоцветном,
В июльские светлые дни,
Он был бедняком незаметным
Среди знаменитой родни.

Заметней нарядная краска,
И жарче влечение к ней.
Но яркость изменчиво-кратка,
А тихая скромность — верней.

И вот вам — как воспоминанье,
Как лета прощальный привет,
Среди наготы увяданья
Листву сохранил бересклет.

Ираида Потехина

НА ВОЛОГОДЧИНЕ

Русская печь в пол-избы.
Пшеничная каша томится.
Белые сохнут грибы.
Возле окна кружевница.
Мерно коклюшки стучат,
нитки сплетая в узоры,
на покрывалах внучат
новые будут подзоры.
В них то метель по лесам,
в путанке точек и линий,

* * *

Сегодня мне Останкино
стало кораблем.
Останкинская мачта
качается. Пльвем
по мареву, по морю
мерцающих огней.
Один из них, который,
в моем горит окне?
Забиться — нынче главное,
ныряю в облака.

то — зазвонят голоса
птиц полевых переливно.
Старообрядная Русь,
будней сегодняшних мета,
буйство веселья и грусть —
в хитросплетениях этих.
Тонкая тянется нить.
Пальцев сухих шевеленье.
Сколько ж труда
и терпенья
нужно, чтоб мастером быть...

Земля обетованная,
о, как ты далека.
Как головкружительна
работа моряка,
и это удивительно,
что я держусь пока.
Но чем сильнее качания
на этом корабле,
тем реже все случайное
и шаткое во мне.

Анатолий Преловский

ВОЕННЫЕ СТИХИ

Солдат с провиденьем поэта,
поэт с солдатской судьбой, —
сегодня старые газеты
он разложил перед собой.

В страницах пожелтевших рылся,
на годность их определял —
стихи, как стреляные гильзы,
рядком у стенки расставлял.

Какая надобность, не знаю,
тревожить эти пыль и гарь?
Но вместе с ним и я читаю
войны армейский календарь.

Приказы, сводки, фельетоны,
гнев, мужество, отвага, вши,
бои в масштабе батальона —
все для войны, не для души.

Он бормотал, что, мол, в газеты,
подправив строчечки, отдать,
к тридцатилетию Победы
от разных прочих не отстать.

Иным стихам и сам дивился,
иные же терпел едва.
Казалось мне, чуть-чуть стыдился
сейчас былого мастерства.

Придя с войны, и в мирной жизни —
не уставал он быть живым —
не подменял любви к отчизне
любовью к темам фронтовым.

Поэт, похоже, совестился:
стихи не все давал читать
и уж совсем не торопился
архивом радовать печать.

А тот, разъятый на паркете,
разобранный почти по дням,

* * *

Мой современник вышел на Ордынку
и там услышал скрипку под сурдинку,
но, будто бы услышав первый раз,
вдруг изумился: как же так? — далеко
от запада до нас и от востока —
откуда ж взяться музыке у нас?

Во мгле, где стихотворец заблудился,
в стране, где современник мой родился,
есть музыка своя: звучит она

Борис Примеров

* * *

Травы движения красивы,
Особенно в такую рань,
Когда она, чуть вскинув гриву,
Бежит, как вспугнутая лань.

Бежит по берегам и склонам,
За ветерки, под облака.
И пахнут воздухом зеленым
Ее атласные бока.

лежал, как зримый путь к Победе —
к Поэзии! — кровав и прям.

Солдат сочувственно и свято
стихи военные читал...
Но перерос поэт солдата:
в газеты ни строки не дал.

И темный свет его веселых,
всему познавших цену, глаз
мне говорил, что, как осколок,
оставит и на этот раз

Войну в груди, в душе — все эти
следы истории самой,
где слово пахнет потом, смертью
и обожженную землей.

Да! честь минувшему, а место
грядущему — закон суров.
Но нет прекраснее подтекста
для мирных, нынешних стихов.

как жажда лада в хаосе жестоком,
как боль сраженья Запада с Востоком —
в Орде и на Ордынке всем слышна.

Какое ж сердце и какое ухо
даны владельцу редкостного слуха,
чтоб немотой родной земли страдать,
когда она в течение столетий,
два розных мира сплавив в новый — третий,
не утомлялась музыку рождать?

Она самодовольно дышит!
Что за прожилки, что за масть!
С такую жил, с такую выжил,
В веках с такую не пропасть.

И гладить мне ее досталось,
И холить, и, конечно, петь.
Люблю ее весной за шалость,
А осенью люблю за медь!

Люблю за то, что в тьму и заметь,
Как мордой теплою, она
Толкается в плечо и память
И вновь меня лишает сна.

* * *

Сегодня ночь свежа на редкость,
Я с нею чувствую родство,
Как чувствует грудная клетка
Просторы сердца своего.

Я снова погружаю строки,
Затем, чтоб были хороши,—
В разливы памяти, в истоки
Нечаянной своей души.

И слышу я душой счастливой,
Как в незатоптанную рань
Бежит трава — по ветру грива! —
Бежит, как вспугнутая лань.

Горят березовые чащи,
Горят без дыма и огня.
Не нужно славы предстоящей
Для настоящего меня.

Я плачу. Слезы — это редкость,
Я с ними чувствую родство,
Как чувствует земная ветка
Пространство неба своего!

Юрий Ряшенцев

БАЛЛАДА О ВОСТОЧНОМ ПОЭТЕ

Сказать, что жизнь была к нему сурова?
Хватало в ней вина, хватало плова.
Он был грудным, когда о нем: «Скупец!» —
Сказала мать. Вначале было слово.

Он деньги проживал в мгновенье ока.
И нищий за него молил пророка.
И сто пороков числилось за ним,
А этого не числилось порока.

Здоровьем и умом не обделенный,
Всегда любимый, иногда влюбленный,
Зачем не удивлялся он слезам,
А слыша смех терялся, удивленный?

И праздник был. И там, во время пира,
К нему был обращен вопрос эмира:

— О чем всегда печалишься, певец,
Когда с тобою все богатства мира?..

И объяснил поэт исток печали:
— Конец мгновенья скрыт в его начале.
Меня спросил ты, и ответил я —
Еще две фразы в мире отзвучали...

Сказал и вышел. Гурии кружили.
Шербет плескался в иверском кувшине.
— Какой мудрец! — решили вслед глупцы.
— Какой глупец! — так мудрецы решили.

А он, спешивший к той, с которой нежен,
Ступил в гнездо змеи в тени черешен.
...— Какой наглец, — подумала змея, —
Так ценит миг, а с жизнью так небрежен...

ВОСПОМИНАНИЕ

Всю прелесть январского моря
Не помня уже наизусть,
Я помню, что этой зимой я
Был счастлив с природой.
И пусть,
Пусть жизнь неразлучна с тревогой
Былых и грядущих потерь,

Но цаплей ко мне одноногой
Слетала с карниза капель...
А было и пусто, и сыро.
Валялся обломок весла...
И горькая искренность мира
Впервые меня потрясла.

Владимир Савельев

* * *

Там в золоте и меди дремлет сила,
там диво — что ни храм, что ни дворец.
Московский Кремль!
Так кто тебя, Россия,
привел под этот каменный венец?

Кому твой полдень брезжил ранней ранью?
Кем путь твой предугадан был в тропе?
Чье сильное и чистое дыханье
фату берез колышет на тебе?

* * *

Там, где Москва смешала с хвоей просинь,
где воздух — точно лиственный настой,
стоит береза меж высоких сосен,
белеет птицей в клетке золотой.

И кажется, свою вольной сутью
впрямь обменявшись с кенарем сейчас,
сквозь те стволы прямые, как сквозь прутья,
она глядит невидяще на нас.

* * *

Знать, с прямой пересеклась кривая:
мимо чьих-то щек, носов да глаз
шмель, влетев в одно окно трамвая,
из другого вылетел тотчас.

И в сокольнические березки,
где в листве скворцы да фонари,
а в кустах то лоси, то киоски,
утянул до утренней зари.

МАЛАЯ ГРУЗИНСКАЯ

Немало в Москве магистралей и улиц.
Но мне — у какого ни встану окна —
в чертах этих шумных красавиц и умниц
до черточки каждой открыта одна.

Одна мою душу и нежит, и мучит.
Под Малой Грузинской тоскует земля,
над Малой Грузинской проносятся тучи,
вдоль Малой Грузинской стоят тополя.

Заброшенный храм да пяток магазинов.
А там, где к музею отходит тропа,
желтеет у ног кожура апельсинов,
как будто яиц золотых скорлупа.

Знать, снова я в сказочный мир погрузился.
Не там ли, тебя поджидая впотьмах,
на некогда нашей, на Малой Грузинской
я дочку держу на затекших руках?

Не там ли я с нею под дождиком мокну,
с тобою, с асфальтом и с чахлой травой?
Не там ли в домах загораются окна —
от узкого неба и до мостовой?

Не там ли оставила столько отметин
судьбы нашей самая лучшая треть?
У этих прилавков, у тех вон штакетин
старел я, тебе не давая стареть.

Твои — на себя принимал я обиды.
И, разве что только по духу колосс,
как будто египетские пирамиды,
в ладонях пакеты молочные нес.

Старался, когда-то учуявший сразу,
как немо оттянуты руки твои
большою, загруженною до отказа
авоською — символом прочной семьи.

И в морось, и в снег, и в иные ненастья
по Малой Грузинской, со мной и ко мне,
ко мне, не достойному этого счастья,
ты, щурясь, по солнечной шла стороне.

По солнечной — в радости и невезенье,
по солнечной — мимо любого угла.
Попутным и встречным — одно направленье
нам тихая улица эта дала.

ПРИМОРСКИЙ СОЛОВЕЙ

За парком море бледною водой
На гладкий пляж беззвучно набегают,
И небо, обок с набожной звездой,
Небрежно облака располагает.

Напротив запада в домах — латунь,
А иногда подобье беглой ртути.
В садах стригут, как рекрута, июнь,
Цветут сирени грозные тучи.

И эпигоны соловья — дрозды
Стараются, лютуют в три колена.
А сам он ждет, когда замрут сады
И для него освободится сцена.

Как будто знает: можно ль потрясти,
Покуда слышен голос переладца!
Покуда подражатели в чести,
Он в их толпе не хочет затеряться.

Пускай уйдут. Тогда раздастся взрыв
Кристаллов в пересыщенном растворе.

И страсть, и клокотанье, и порыв,
И в воздухе явление сжатой воли.

Откуда это в жалком существе,
В убогой горстке встрепанного пуха,
Затерянного кое-как в листве, —
Великое осуществление духа?

Нет благозвучья, нету красоты
В том щелканье, в тугих засосах свиста,
Но то, что вдруг в себе услышал ты,
Отражено мучительно и чисто.

Не верю, что природа так проста,
Что только знак пассивной несвободы
Есть трепет соловьиного куста
И переливы бессловесной оды.

Недаром сразу сердце зацемит.
И рокот воли коротковолновой
Не зря нас будоражит и томит,
Как в семь колен мечта о жизни новой.

* * *

Он заплатил за нелюбовь Натальи.
Все остальное — мелкие детали:
Интриги, письма, весь дворцовый сор.
Здесь не ответ великосветской черни,
А истинное к жизни отращенье,
И страсть, и ярость, и души разор.

А чья вина? Считайте наши вины
Те, кто умеют сосчитать свои,
Когда уже у самой домовины
Сошлись концы любви и нелюбви.

И должен ли при сем беречься гений?
О страхе должен думать тот, другой,
Когда перед глазами поколений
В запал курок спускает нетугой.

* * *

О бедная моя!
Ты умерла. А я
Играю под сурдину
На скрипке бытия.

И так же непреложно
Ведет меня стезя
Туда, где жить не можно
И умереть нельзя.

ЗАЛИВ

Я сделал свой выбор. Я выбрал залив,
Тревоги и беды от нас отдалив,
А воды и небо приблизив.
Я сделал свой выбор и вызов.

Туманного марта намечен конец,
И голос попробовал первый скворец.
И дальше я вижу и слышу,
Как мальчик, залезший на крышу.

И куплено все дорогою ценой.
Но, кажется, что-то утрачено мной.
Утратами и обретеньем
Кончается зимняя темень.

А ты, мой дружок, мой весенний рожок,—
Ты мной не напрасно ли душу ожег?
И может быть, зря я неволю
Тебя утолить мою долю?

А ты, мой сверчок, говорящий жучок,—
Пора бы и мне от тебя наутек.
Но я тебе душу вручаю
И лучшего в мире не чаю.

Я сделал свой выбор. И стал я тяжел.
И здесь я задег, словно каменный мол.
И слушаю голос залива
В предчувствии дивного дива.

Арсений Седугин

РИСУНКИ ПЕРОМ

* * *

Навсегда
Исчезает
Ниточка на руке ребенка.
Таает тропинка
В детство.

* * *

С тех пор
Как моя дочка
Стала ходить,
Беспорядок в моей комнате
Не раздражает меня.

* * *

Больше всего
Моя дочка
Любит ключи.
Это понятно,
Ведь даже на склоне дней
Все кажется:
Перед тобой откроется
Дверь
В мир радости.

* * *

Седой старик
Сидит у моря,
Слушает вечность
И думает:
«Истрепались ботинки у внучки».

ВЕСНОЙ ОКАПЫВАЯ ЯБЛОНЮ

Легко острая лопата
Входит в землю.
Потрескивают
Корешки сорняка.
И яблоня
Нежно царапает
Сучком
Лицо мое.
Мы благодарны
Друг другу.

* * *

Девушка
С заснеженной бровью
Вошла в мой теплый дом.
Вот почему
Радует меня
Зима.

Владимир Семакин

* * *

То ли видится-снился,
то ли вспомнилось просто,
как смеется-лоснится
мелкоструйное просо.

И как в детстве, стоишь ты,
обмирая душою,
перед этой
почти что
водяной толчеею.

Ветерок-хорохора —
полетун, побегунчик —

* * *

С кем бываю не бываю,—
не выдавшийся давно,
о тебе не забываю,
помню,
помню все равно.

Помню, помню самый лучший
день с улыбкою твоей,
шаг летучий,
взгляд певучий
и вперед на много дней
забежавшие намеки,—
их сторонний не поймет.

у ее лукоморья
завивает бурунчик.

Плеском плещется поле,
словно это русалки
разыгрались на воле
и в скакалки,
и в салки.

И любому, наверно,
тут нетрудно поверить,
что морская царевна
вот-вот выйдет на берег...

И неназванные сроки,
все мне кажется, вот-вот
подойдут
и прямо в сенцы
шась — глаза у самых глаз!
И кольнет, наверно, сердце,
как кольнуло в первый раз.

А кольнуло,
ох, кольнуло —
так и проняло всего!
Не к ребру душа прильнула —
к сотворенной из него.

Валентин Сидоров

* * *

Пускай повторяются доли,
И нивы, и рощи, и сад,
Пусть русские наши глаголы
Минувшие дни воскресят.

Пусть в мареве знойного лета
Проглянет вдруг сумрак лесной.
Ну, что из того, что все это
Стократно изучено мной

* * *

Ну и ночь. Божественная ночь.
Облака, что горизонт теснили,
Отступили, удалились прочь,
И луна сегодня в полной силе.

Тишину дарует высота.
Ночь полна великого покоя.
Странная какая-то звезда
Небо вдруг прорезала глухое.

* * *

Березы стреляют в лесу,
И эхо гудит над землею.
Излучина Дона внизу
Подернута розовой мглою.

На скользкой площадке холма,
Царящей над звонким простором,
Зима — да какая зима! —
Моим открывается взорам,

И что в голубое забвенье
Сто раз погружался мой дух!
Еще не насытил я зренья,
Еще не наполнил я слух.

В просторах себя растворяю
И, право, ничуть не боюсь,
Что, русский глагол повторяя,
Сто раз я еще повторюсь...

Вот она проходит надо мной,
Вот она в Нездвижности застыла,
Вот качнулась, голубой волной
Всю планету нашу осветила.

И ушла куда-то навсегда,
Растворилась в небе и пропала.
Странная какая-то звезда...
Впрочем, нынче странного немало.

Меня небосвод ослепил,
Как радуга, он наплывает.
Ах, боже мой, я позабыл,
Что зимы такими бывают.

И, право, не помню, мой друг,
Чтоб, слившись с дыханием неба,
Вот так растворялся мой дух
В звучащем безмолвии снега.

Татьяна Смертина

МОСТОК

Колыхается мосток,
Легок мой валец,
Круче бить — так чище будет!
За рябиной милый удит.
Тут воды-то
Выпьешь ковшиком,
Не поймашь
Даже ершика.

Ясно дело — притворяется!
Только в этом толку мало.
С кем он ночью-то
шатается —
Разузнала!
Много рос было обито,
Я к тебе уже не та...

Звонко двинула корытом —
Так и вздрогнул!

Смехота...

Кину тряпку,
круто выжму,

Словно я его не вижу.
Под руками пена бела,
Наклонилась и запела:
«Получила письмецо,
Не знаю от ка-то-ра-го-о...
Примечаю, от того.

Платочек у ка-то-ра-го-о...»
Удочка сгибается,
Ишь, ревнует, мается.
Что просыпал — не собрать,
Коли стало прорасти...
Меньше надобно зевать
По чужим, по сторонам...
А теперь, ты видишь сам,
А теперь меж берегами
По воде печаль кругами,
И качаются кувшинки
Далеко на серединке.

ОЗЕРО

По той тропе
Ходила много, много раз.
Изгиб ее
Навек врастает в лес.
И озеро,
Вороний черный глаз,
Запоминает всех,
Кто ходит здесь.
Теперь уж озеро не сине!
Людских теней
Хранилище оно —
Здесь отраженья

Не поверх скользили,
А тихо опускались на дно.
Когда, угрюма и боса,
Качаю волн полночный цвет,
В воде я слышу голоса
Прохожих,
Что в живых уж нет.
И только чаши белых лилий
Скользят и нежно, и беспечно,
Их не страшит конец предзимний,
Им все равно, что жизнь
Не вечна.

Борис Слуцкий

БЕСПОВОРОТНО

Необратимо, бесповоротно,
все повороты провороня,
все варианты упустили —
бесповоротно, необратимо.

Теперь иного нету выхода,
чем только вверх,
только вперед.
Теперь единственная выгода,
чтоб все отдать
тем, кто берет.

Не вспоминать и не оглядываться —
идти, не разбирая вех,
переть вперед и вверх
и радоваться,
что все-таки вперед и вверх.

И налегке, навеселе
пройти и легким и веселым
по выбеленным мелом селам
вдоль по зеленой по земле.

ИВАНИХИ

Как только стали пенсию давать,
откуда-то взялась в России старость.
А я-то думал, больше не осталось.
Осталось.
В полусумраке кровать
двухспальная.
По полувековой

привычке
спит всегда старуха справа.
А слева спал по мужескому праву
ее Иван, покуда был живой.
Был мор на всех Иванов на Руси,
что с девятьсот шестого
были года,

и сколько там у бога ни проси,
не выпросила своему Ивану льготу.
Был мор
на год шестой,
на год седьмой,
на год восьмой был мор,
на год девятый.

ХАРЬКОВСКИЙ ИОВ

Ермилов долго писал альфреско.
Исполненный мастерства и блеска,
лучшие харьковские стены
он расписал в двадцатые годы,
но постепенно сошел со сцены
чуть позднее, в тридцатые годы.

Во-первых, украинскую столицу
перевели из Харькова в Киев —
и фрески перестали смотреться:
их забыли, едва покинув.
Далее. Украинский Пикассо —
этим прозвищем он гордился —
в тридцатые годы для показа
чем дальше, тем больше не годился.

Его не мучали, не карали,
но безо всякого визгу и треску
просто завешивали коврами
и даже замазывали фреску.

Потом пришла война. Большая.
Город обстреливали и бомбили.
Взрывы росли, себя возвышая.
Фрески — все до одной — погибли.

Непосредственно, самолично
рассмотрел Ермилов отлично,

* * *

В этот вечер слишком ранний
только добрых жду вестей —
сокращения желаний,
уменьшения страстей.

Время, в общем, не жестоко:
все поймет и все простит.
Человеку нужно столько,
сколько он в себе вместит.

В слишком ранний вечер этот,
отходя тихонько в тень,
применяю старый метод —
не копить на черный день.

Да, тридцать возрастов войне проклятой
понадобились.

Лично ей самой.

С календарей обдергивая дни,
дивясь, куда их годы запропали,
старухи ждут-пождут и спят одни,
как молодыми вдовушками спали.

как все расписанные стены,
все его фрески до последней
превратились в руины, в тени,
в слухи, воспоминанья, сплетни.

Взрывы напоминали деревья.
Кроны упирались в тучи,
но осыпались всё скорее —
были они легки, летучи,
были они высоки, гремучи,
расцветали, чтобы поблкнуть.

Глядя, Ермилов думал: лучше,
лучше бы мне ослепнуть, оглохнуть.

Но не ослеп тогда Ермилов
и не оглох тогда Ермилов.
Богу, кулачища вскинув,
он угрожал, украинский Иов.

В первую послевоенную зиму
он показывал мне корзину,
где продолжали эскизы блёкнуть,
и позволял руками потрогать,
и бормотал: лучше бы мне ослепнуть —
или шептал: мне бы лучше оглохнуть.

Будет день, и будет пища.
Черный день и — черный хлеб.
Белый день и — хлеб почище,
повкусней и побелей.

В этот слишком ранний вечер
я такой же, как с утра.
Я по-прежнему доверчив,
жду от жизни лишь добра.

И без гнева и без скуки,
прозревая свет во мгле,
холодеющие руки
грею в тлеющей золе.

КОНДРАТ

Уйду я в Русь,
в родной исток.
На холм взберусь:
изба как стог.
Откроет дверь
мужик Кондрат.
Не скажет: «Зверь»,
а скажет: «Брат».

Бутыль с вином
он колыхнет.
О дне былом
слезу смахнет.
Судьбою терт,
здоровьем плох,
не скажет: «Черт»,
а скажет: «Бог».

Польется речь
про клевера,
про то, что лечь
во гроб пора.
И про фасоль,
и про горбыль...
Не скажет: «Боль»,
а скажет: «Быль».

А в смертный час,
а в смертный миг
о бедных нас
вздохнет старик.
И, глядя в твердь,
в ночную высь,
не скажет: «Смерть»,
а скажет: «Жизнь».

* * *

Перед путником во поле чистом
Птица выпорхнула из травы
И, взлетая, крылом серебристым
Чуть коснулась его головы.

Не поддавшийся детскому страху,
Прядь волос он отбросил со лба,
Но, взглянув на летящую птаху,
Почему-то подумал: «Судьба».

Он пришел, скинул с плеч мешковину,
Дверь открыл в непустую избу
И поведал подростку сыну
Про свою человечью судьбу.

Каждый малый овраг и проселок
В своей памяти цепкой хранил,
А про старый немецкий осколок
На всю долгую жизнь позабыл.

Сеял хлеб и косил за рекою,
Пил хмельное на свадьбах вино...
Но все чаще и чаще с тоскою
Он глядел вечерами в окно.

Мозг его разрывался от боли,
Смерть сидела в углу за столом...
Помнил он, как пророчески в поле
Его птица задела крылом.

РОДНИК

В миг, когда над землею смеялось
Серебристое облачко дня,
В роднике что-то тайно свивалось,
И рвалось, и пугало меня.

Пил я воду и трогал растенья,
И с водою, под пение птах,
В мое тело входило прозренья,
Так на детский похожее страх.

В глубине позабытой криницы,
Век мой краткий держа на уме,
Чьи-то руки тревожили спицы
И наперсток искали по тьме...

Было видно, как корни в печали,
Смысл и суть своей жизни темня,
Мою детскую душу качали,
Может быть, и не помня меня.

Юрий Смирнов

* * *

Полярный круг железным обручем
Макушку глобуса сдавил.
Здесь ночью небосвод безоблачен,
Увешан гроздьями светил.

А на исходе на прощанье
(Я видел раннею весной)
Переливается сияние
Муаровой голубизной.

Придумать можно ли нелепее? —
Почти полгода длится ночь.
На звездное великолепие
Уж никому глядеть невмочь.

Напяливши бушлаты ватные,
На вымерзшем краю земли
Под ветра пение надсадное
Мы на работу молча шли.

* * *

Хвала учителям,
Что взяли нас в науку!
Навек запомнить нам
Тяжелую их руку.

Колючие слова,
Как их ни больно слушать,
Залогом мастерства
Дальнейшего послужат.

Пускай отнюдь не магистральную,
То через топь, то через падь
Я строил здесь дорогу дальнюю,
Которой воротился вспять.

И опыт мой геодезический,
Хоть он и был в то время мал,
Но все же на глазах практически
Здесь очертанья принимал.

Вдоль берега дугою плавною
Легли стальные колеи,
Казалось мне, я понял главное
В те годы юные мои.

Залива воды стекловидные
Буксиры вспарывали, и
За ними корабли солидные
Тела могучие влекли.

Учителям хвала,
Чье мнение пристрастно.
Им подавай дела,
А болтовня напрасна.

Пусть меряют они
Высокой самой меркой.
Ты гордость загони,
Как черта в табакерку.

Владимир Соколов

* * *

Я восстанавливаю город,
Дома, и улицы, и встречи.
Я восстанавливаю гомон,
Гудки машин, и сны, и речи.

Я восстанавливаю город
С Китайгородскою стеною.
Я восстанавливаю голод,
Что словно счастье шел со мною...

А я глядел на эту стену,
Невольно схожею с Кремлевской,

Как на невидимую стену
Большой трагедии московской.

Которая однажды сирот
Призналась нам в одних строках:
«Зачем я шел к тебе, Россия,
Европу всю держа в руках».

Я восстанавливаю город,
Мне этот час и мил, и дорог
Среди предмайской тишины,
Как память, как после войны.

* * *

Балканский сырой ветерок,
Снежок легче пуха и дыма,
Мелькающий, как между строк,
Меж ветками неуловимо.

Я в комнате свет погасил,
И сразу окно засветилось...
Гора заснеженная... Синь
Предутренняя проявилась.

* * *

Мне кажется, что этот год
Вас от меня скрывает.
Певец скрывает, что поет,
А птица, что летает.

Как будто выключили звук —
Одно изображение,

ЧУТЬ-ЧУТЬ ЕСЕНИНСКОЕ

Синь да облако... Сияя,
Лес таит свои пути,
Это Русь моя родная,
Углич, Тверь, Москва, Путивль.

Лес, рябинами разгромясь,
Предлагает свой размах...
Я ведь знаю, отчего здесь
Ключья сена на ветвях,

Это узкие проселки,
Где проехали года.
Это ели, это елки,
Новогодние всегда.

* * *

...И освобожденный от женщины мир
Открыл удивительный лик,
Все ветки и листья свои распрямил
И к сердцу открыто приник.

Теперь уж не ею дома и дворы,
А только самими собой

Прозрачный февральский туман
С горы потянулся к предместью.
Туман, а не самообман.
...И все это было мне вестью.

И снег, и зеленая высь,
И белый цветок на столе,
И солнечный зайчик, как мысль,
О том, что мы есть на земле.

Но и оно живет вокруг
Без самовыраженья.

Мне кажется, что, как родня,
Деревья в дождь осенний
Скрывают слезы от меня
Из добрых побуждений.

Над рекой стоят чертоги,
В чистом инее мосты.
Я ведь здесь не по дороге,
Не до дня, не до черты.

Я ведь все-таки крестьянин,
Если глубже поглядеть...
Я большой любовью ранен —
Хлеб, земля, железо, медь.

Храмы, белые от стужи,
Розовые от зари,
Невысокие снаружи
И огромные внутри.

Глядели, мерцали, как могут миры .
Мерцать на дороге любой.

И шел я один сквозь дома и траву...
Хотел убежать, избежать.
От страшного нежного крика: «Ау!»
В отчаянье уши зажать.

* * *

Я не хочу дружить со стариками,
которые ровесники мои,
что любят безмозольными руками
считать мозоли некие свои.

Ведь я же знаю: не было мозолей,
а был один блистательный порыв —
пройти, прорваться без особых болей
в ряд популярных лиц, плотин и нив.

Теперь они отечески печально
рассказывают очень молодым,
тепло, железно, устно и печатно,
как было трудно нам — считайте им.

Но я люблю дружить со стариками,
которые не хвастаются тем,
что рыли землю, а искали камень,
хоть не умели сочинять поэм.

Сквозь все прошли...
И, слушая рассказы,
внимая им, улыбочиво седым,
я чувствую себя почти что сразу,
как и они, таким же молодым.

Ведь жизнь, как жизнь, не чувствуя
как тему,
чужой медалью густо не звеня,
они такую сделали поэму,
которая всегда вокруг меня.

Татьяна Стрешнева

ФЕВРАЛЬ

Возлюбленный, не мучь меня
Ни загсом, ни попом.
С тобою мы окружены
Ракитовым кустом.

Живи тайком обвенчанный
Без праздничных затрат
С единственной женщиной,
Которой черт не брат.

Невесело невеститься
С потерянным лицом,
Но желтый круг у месяца
Цвет свадебным венцом.

Колечками венчальными,
Морозными, как сталь,

Под вьюгу величальную
Нам пальцы сжал февраль.

Как сваты древнерусские,
Набычившие лбы,
Под снежную нагрузку
Сгорбались дубы.

Тот снег в хрустальной наледи,
Какую настом звать,
Хотел вести нас на люди,
Чтоб дешево продать.

Но если станешь каяться,
Виниться мне веля,
Пусть след твой затеряется
В метелях февраля.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕКАБРЬ

Судеб и встреч случайных сводня,
Наш телефон молчит сегодня:
Устал молоть досужий вздор.
Гляжу в окно оцепенело,
В жестокосердье закоснелом
Декабрь свершает приговор.

На елях смертная рубаха,
Пень затаился, будто плаха,
Под снегом вечность погребя.
Ты с каждым днем со мною круче,
Снег старых яблонь ломит сучья:
Я одного люблю тебя.

А впрочем, надо покороче.
Недолгий век себе пророча,
Единый смысл во всем ловлю.
Пусть тяжесть снега непомерна,
Но оградительно и верно
Я одного тебя люблю.

Рядясь в снега в большом уголье,
Метель справляет новогодье.
Зимы крутое торжество.
И может, лучшего не надо:
Ты и расплата, и награда —
Тебя люблю я одного.

Николай Старшинов

ПРИРОДЕ

Видно, чего-то мы перемудрили,
Стали чего-то не понимать:
Все покоряли тебя — не покорили,
Как же такое — родную мать?!

И не за эти ли притязанья,
И не за этот ли вздорный нрав
Нам посылаешь ты в наказанье,
Деток зарвавшихся покарав,

То разрушительнейшие сели,
То суховей — острее чем нож.
То небывалым еще доселе
Землетрясением как тряхнешь!..

* * *

Некогда, растерянный и жалкий,
Я бродил в окрестностях Москвы.
Там и повстречался с глупой галкой,
Выпрыгнувшей прямо из травы.

У меня от бед мутился разум,
А она, спокойствие храня,
Светло-голубым и наглым глазом
Пристально глядела на меня.

Словно бы по делу, с разговором,
Словно все доступно ей самой...
Был бы это мудрый черный ворон,
А ведь это галка, боже мой!

Так бы рысь глядела, ошетинаясь,
Ну а здесь такой дурацкий взгляд!..
И тогда я этого не вынес —
Рассмеялся, словно психопат.

И как будто совершилось чудо —
Беды позабылись навсегда...
А сегодня — не понять откуда —
Навалилась новая беда.

Разве забыли мы, что мы были,
Были и есть у тебя в долгу?..
Я вот от грохота и от пыли
Каждой весной в леса бегу.

И от мышинной возни позорной,
От обстановки сверхделовой...
Я умываюсь водой озерной
И упиваюсь водой ключевой.

Все, что завистливо и спесиво,
Ты меня учишь — не принимать...
Вот и поклон тебе, и спасибо,
Слышишь, спасибо, природа-мать!..

Нету места никакой надежде,
Сам я понимаю — неспроста...
Вот я и отправился, как прежде,
В те же подмосковные места.

Отвяжись, моя беда-отрава!..
Вышел я на лютиковый луг,
Повернул по лозняку направо,
К ручейку знакомому.
И вдруг...

Я от неожиданности замер:
Лапками по травке семеня,
С голубыми, наглыми глазами
Выскочила галка на меня.

Та же важность и довольство то же,
Тот же бесконечно глупый взгляд...
Я опять не выдержал: — О боже,
Да ведь эта дура — сущий клад!..

По ногам меня стегают лозы,
Хлещут по лицу и по плечу,
И никак не просыхают слезы.
Ну а я бегу и хохочу...

МОСКОВСКИЕ ЗАРИСОВКИ

1941 ГОД

В нашем мирном московском окне городском
Век двадцатый не клином сошелся —
Клинком!
Так и помнится мне:
В каждой раме, вдвойне
Две скрещенных,
Огнем освещенных полоски —
Век двадцатый!
И отсвет огня на стене
Зажигалки, сирены, фугаски.
Шар земной под ногами от взрывов дрожал, —
За окном, веком меченным, черный пожар,
И прожекторы в небе чертили тот знак,
Но знамения века не чувствовал враг:
— Кто грозит нам огнем, тот падет от огня! —
У эсэсовских танков глухая броня...

1942 ГОД

Дети, достигшие 12 лет, получали хлеб
по иждивенческим карточкам.

Белый свет одеялом завешен,
Рев моторов от тысячи неб,
Ад на землю спустился, крошечен...
На слезах и на крови замешен
Аржаной «иждивенческий» хлеб.
Ни слезы, ни кровинки задаром.
Перетерпим. Кому же легко...
Враг отброшен смертельным ударом.
До победы еще далеко...

1945 ГОД

Не была на войне,
Но жила при войне,
Вой сирен и бомбежки к войне приобщали
И тарелка с пустыми крапивными щами.
И отец — красный конник на красном коне!
Только врезались в память ни холод, ни голод,
Ни одежек военных спартанский покррой,
А крестьянский тот серп,
И рабочий тот молот,
И отцовские письма с войны со второй,
Победивших солдат пропыленные каски,
Лепетание пленного: «Гитлер — капут».
С той поры я навеки поверила в сказки:
Все чудовища гибнут,
герои живут!

* * *

Вот я и галстук тебе покупаю.
Алый, такой же, волнующий тот —
Тот, что рукою отцовскою в мае
Был мне повязан. Как время идет!

Наши отцы! Их в бараках заразных
Поедом ела тифозная вошь.
Дерзкие мальчики в галстуках красных,
Мы становились под пулю и нож...

Вот я и галстук тебе покупаю!

СЕСТРА

Посреди самой войны-разрухи —
Будто лучик на землю проник.
Маленькие, зябнущие руки,
Полушубка белый воротник.

30 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА

Провал окна. Сползла на мостовую
Тень, что копилась долго на дворе.
Поставлены орудья на прямую,
И вздрагивает дом на пустыре...

Завален плац обломками и шлаком,
Повисли рваных проводов концы.
На этот раз в последнюю атаку
Из темных окон прыгают бойцы.

* * *

Какие быть там могут разговоры,
Что все страдали, воевали — все...
Он мерз в окопах, он влезал на горы,
Он ртом сожженным припадал к роте.

Минуты за себя не беспокоясь,
Высокой он доверился звезде.

Недоедая и в снегу по пояс,
Недосыпая и по грудь в воде,

И вышел с боем не к одной границе,
Густую на земле развеял тьму.
Что может с правдой этою сравниться!
Он спас тебя... Так поклонись ему.

* * *

Двадцатилетние парни, мы появились в траншее,
На потрясенных равнинах участь решили земли.
Шли мы по Унтер ден Линден, шли мы по Зигес-Аллее —
Всеми дорогами мира, всеми проселками шли.

Беглые тени пожарищ резко ложились на лица,
Много терпели мы горя, много узнали мы бед.
Пусть никогда не померкнет, да навсегда сохранится
В наших нацеленных взглядах красного знамени свет!

Дмитрий Сухарев

* * *

Вспомните, ребята, поколение людей
В кепках довоенного покроя.
Нас они любили,
За руку водили,
С ними мы скандалили порою.

И когда над ними грянул смертный гром,
Нам судьба иное начертала —
Нам, непризывному,
Нам, неприписному
Воинству окрестного квартала.

Сирые метели след позамели,
Все календари пооблетели,
Годы нашей жизни, как составы, пролетели —
Как же мы давно осиротели!

Вспомните, ребята,
Вспомните, ребята,—
Разве это выразить словами,

Как они стояли
У военкомата
С бритыми навечно головами.

Вспомним их сегодня всех до одного,
Вымостивших страшную дорогу.
Скоро кроме нас уже не будет никого,
Кто вместе с ними слышал первую тревогу.

И когда над ними грянул смертный гром
Трубами районного оркестра,
Мы глотали звуки
Ярости и муки,
Чтоб хотя бы музыка воскресла.

Вспомните, ребята,
Вспомните, ребята,—
Это только мы видали с вами,
Как они шагали
От военкомата
С бритыми навечно головами.

* * *

Бремя денег меня не томило,
Бремя славы меня обошло,
Вот и было мне просто и мило,
Вот и не было мне тяжело.

Что имел, то взрастил самолично,
Что купил, заработал грудом,
Вот и не было мне безразлично,
Что за пес у меня, что за дом.

Бремя связей мне рук не связало,
С легким сердцем и вольной душой
Я садился в метро у вокзала,
Ехал быстро и жил на большой.

И мои золотые потомки
Подрастут и простят старику,
Что спешил в человеческом потоке
Не за славой, а так — ко звонку.

Что нехитрые песни мурлыкал,
Что нечасто сорочку стирал,
Что порою со льстивой улыбкой
В проходной на вахтера взирал.

ДВЕ ЖЕНЩИНЫ

Две женщины проснулись и глядят —
Проснулись и глядят в окно вагона.
Две женщины умылись и сидят —
Друг дружку наряжают благосклонно.

Две тайны примеряют кружева,
Им так охота выглядеть красиво!
Одна из них пять платьев износила —
Она пять лет на свете прожила.

Одна пять лет на свете прожила
И повидала разного немало,
Другая — пять смертей пережила
И пятый свой десяток разменяла.

Две ясности, две хитрых простоты
Играют в дурачка на нижней полке,
А сам дурак лежит на верхней полке,
Заглядывая в карты с высоты.

Там на заход валетик желторотый,
Там на отбой четыре короля,
Там козырями черви под колодой,
Там за окном летучая земля.

И карты сообщают так немного,
И так земля летучая легка,
И так длинна, так коротка дорога,
Что можно спать, не слушая гудка.

Татьяна Сырыцева

МОСКВЕ

Ты не верь, не верь пустому бреду, —
мало ли что выдумаю я!
Ну, куда я от тебя уеду?
Я теперь не чья-нибудь — твоя.

Пенья волн хвалыньских не расслышу...
Я, как полночь, знаю свой предел.
Спряталась Медведица за крышу,
звездный Лебедь влево отлетел.

Скоро утро. Солнце золотое
по дуге серебряной пойдет.
Человек шуршащею метлою
перекресток пыльный подметет.

* * *

Говорят, есть город без стариков, —
он еще не прожил долгих веков.

Этот город — молодость сама:
молодые улицы и дома.

Дети в семьях счастливых уже растут.
Ждет их школа, строится институт.

Ты меня держала в черном теле,
пробовала, прочен ли металл.
Слезы на щеках заledenели,
и характер вдвое тверже стал.

И тогда, с желаньем помириться,
радуясь, что я не из тихонь,
ты взяла меня, как мастерица,
на свою широкую ладонь.

Я — твоя, и ты мне не чужая.
О Хвалыни вспомнила, прости!
Возле дома саженцы сажаю,
чтоб к тебе корнями прирасти.

Но они только в садик ходят пока,
и о чем — неясно, в глазах тоска.

Рада мать: не стоит над душой свекровь.
А ребенку такая нужна любовь,

чтобы красила все, как закатный свет...
В этом городе новом закатов нет.

* * *

Меркнет зрение — сила моя,
Два незримых алмазных копьа.
Глохнет слух, полный давнего грома
И дыхания отчего дома.
Жестких мышц ослабели узлы,
Как на пашне седые волю,
И не светятся больше ночами
Два крыла у меня за плечами.

Я свеча, я сгорел на пиру.
Соберите мой воск поутру,
И подскажет вам эта страница,
Как вам плакать и чем вам гордиться,
Как веселья последнюю треть
Раздарить и легко умереть.
И под сенью случайного крова
Загореться посмертно, как слово.

* * *

Просыпается тело,
Напрягается слух:
Ночь дошла до предела,
Крикнул третий петух.

Сел старик на кровати,
Заскрипела кровать.
Было то при Пилате,
Что теперь вспоминать.

И какая досада
Сердце точит с утра?

И на что это надо —
Горевать за Петра?

Кто всего мне дороже,
Всех желаннее мне?
В эту ночь от кого же
Я отрекся во сне?

Крик идет петушиный
В первой утренней мгле
Через горы-долины
По широкой земле.

* * *

Еще в ушах стоит и гром и звон:
У, как трезвонил вагоновожатый!

Туда ходил трамвай, и там была
Неспешная и мелкая река,
Вся в камыше и ряске.

Я и Валя

Сидим верхом на пушках у ворот
В Казенный сад, где двухсотлетний дуб,
Мороженщики, будка с лимонадом
И в синей раковине музыканты.

Июнь сияет над Казенным садом.

Труба бубнит, бьют в барабан, и флейта
Свистит, но слышно, как из-под подушки:
В полбарабана, в полтрубы, в полфлейты
И в четверть сна, в одну восьмую жизни.

Мы оба

(в летних шляпах на резинке,
В сандалиях, в матросках с якорями)
Еще не знаем, кто из нас в живых
Останется, кого из нас убьют,

О судьбах наших нет еще и речи,
Нас дома ждет парное молоко,
И бабочки садятся нам на плечи,
И ласточки летают высоко.

* * *

А все-таки я не истец,
Меня и на земле кормили:
— Налей ему прокисших щец,
Остатки на помойку вылей.

Всему свой срок и свой конец,
А все-таки меня любили:

Одна: «Прощай!» — и под венец,
Другая крепко спит в могиле,

А третья у чужих сердец
По малой капле слез и смеха
Берет и складывает эхо,
И я должник, а не истец.

Людмила Татьяничева

СТОЯНКА ДЛЯ САМОКАТОВ

Комсомольцам Челябинска

То круто идет,
То покато
Дорога в пыли навесной.
На именных самокатах
Ребята спешат к проходной.
Ватагою мчатся веселой,
Как будто бы длится игра...
До срока проститься
Со школой
Нежданно им вышла пора.
Детали к снарядам
И танкам
Проворно они мастерят.
По суткам на тихой стоянке
О них самокаты грустят.
Стоянку устроил здесь кто-то,

Накинув на столбики жердь,
Чтоб этой нехитрой заботой
Сиротские души согреть.
Отцы их воюют на фронте
Иль в братских могилах лежат.
Их матери в трудной работе.
Бедуют и вечно спешат...
Тех дней все события и даты
Хранимы народной молвой.
...Вновь видится мне:
Самокаты
По знобкой гремят мостовой.
Мальчишки несутся гурьбою
К причалу ворот заводских.
С надеждой
И грустной любовью
История смотрит на них.

ПИСЬМЕНА БЕРЕЗ

Когда ростками брызжут семена,
Им радуются люди,
Как открытию:
Берез я разгадала письма
Благодаря счастливому наитью.
Таинственный
Открылся мне язык —
И стал понятным
Этот древний почерк.
...К строке строка, —
И предо мной возник
Лесных легенд

Волнующий подстрочник.
Такой не ожидала я чести!
Но сколько надо сил мне
И старанья,
Чтоб бережным стихом перевести
Легенды эти
С языка молчанья!
И если кто-то мне задаст вопрос:
— Чем можешь ты гордиться? —
Я отвечу,
Что разгадала письма берез
И оживила их родною речью.

ЧЕРЕМУХА

Ее ломают
Ветками огромными:
Молоденьких деревьев
Не щадят.
И тянется за дачными
Вагонами
На плач похожий
Горький аромат.
Беззвучный плач
Возник не оттого ли,
Что, если сплошь
Все гроздь оборвут,

Лишат ее
И материнской доли,
Душистых ягод
Холить не дадут!
...Все дальше в глушь
Черемуха уходит.
В чащобе укрывается от нас.
Так прячутся предания
В народе.
Так исчезают лебеди
Из глаз...

Дина Терещенко

В ЭЛЕКТРИЧКЕ

А я живу! И сила моя крепнет.
Я так хочу. И будет так, пока
я слышу шум дождя и детский лепет
и вижу землю, небо, облака.

А я живу! И набираюсь силы
у неба и улыбчивой земли.
А первую траву уже скосили,
и яблони у дома зацвели,
и громыхают башенные краны,
и над Москвой рубиновый рассвет,

и пахнут земляничные поляны...
Я покупаю тоненький билет.
Вокзал Казанский рядом. Электричка
полным-полна веселыми людьми.
И я как будто родилась вторично!
Рабочий люд! Прими меня. Прими!

— Садитесь! — кто-то место уступает,
гитара что-то тихое играет...
Натруженные нервы утихают.
Я в электричке. С добрыми людьми!

* * *

Мои стихи! Меня не покидайте!
Еще белым-белы мои листы.
О как легко вы над землей взлетаете
и как манит вас чудо высоты!
Мои стихи! Меня не покидайте,
еще вернется промельк сентября,
а вас не будет, и перегорят
под снегом те багряные ладони
кленовых листьев... вдруг перегорят,
и белый лист как белый лес застонет.
Мои стихи, не падайте в закат!

Василий Федоров

ТЕРЦИНЫ

Жизнь суетна, но место есть порядку,
На все свой крайний срок и свой черед,
На неоглядный путь и на оглядку.

Оглянешься — и оторопь берет:
Возврата нет. Мне некуда вернуться
И не за чем уже спешить вперед.

Над головой нетопырями вьются
Назойливые тени тех людей,
С кем встретиться пришлось и разминуться.

То постояльцы памяти моей,
Ничем не заплатившие квартплаты
В расчете, что не сделаюсь бедней.

Утратив их, не чувствую утраты,
Да только жаль, чужих тащил с собой,
Чужим открыл души своей палаты.

Они держались с ревностью тупой
Моих страстишек и случайных болей,
Что поневоле стали мне судьбой.

Ничтожные в своей трусливой роли,
Они со мной, пока вперед иду,
А затопчусь, уже кружат на воле,

Дрожат, что вместе с ними упаду,
Не поднимусь, а там — во тьме кромешной
Поволоку их к вечному суду.

Не отличишься я душою нежной
И добрым сердцем, было бы не грех
Забавиться картинкою потешной.

Но если б видел я их вместе всех
В постыдные минуты обнаженья,
Притих бы мой потусторонний смех.

Их трусость — это предостереженье,
Завременно дающее мне знать,
Что жизнь моя замедлила движенье.

Успею ли торжественно воздать
Всему тому, что было несказанно,
Что шло ко мне само, как благодать,

Всему тому, что в памяти сохранно,
Всем искренним, что были мне верны,
Всем любящим меня пропеть — осанна!..

Во всем я жаждал мудрой глубины,
Да не глубоко вырастала репка,
Вытягивал, не натрудив спины.

Влекла меня возвышенная лепка,
Манил меня к себе небесный фриз,
Но суета сует держала крепко.

«Вперед и выше!» — дерзкий мой девиз
Она, постылая, опровергала
Тем, что при взлетах низвергала вниз.

Мне б тлеть и тлеть уныло и устало,
Не встать бы мне и не взлететь, когда б
Меня моя любовь не сберегала.

Кто любит, кто любим, уже не слаб,
Кто верит, кому верят, тот всемогущ,
Паденье для него — всего этап.

Мне голос некий был: «Очнись, Василий,
Восстань!.. Еще не взята высота,
Другие еще крыл не нарастили!

Дерзай!.. Дорогой звезд, хоть и крута,
Постигнешь, как, зачатая звездой,
Земная прорастает красота.

Ты женщину с единою чертою
Той красоты, желанья торопя,
Беспечно путал с полной красотой.

Ты множил женщин, целое дробя,
И, возлюбив любовь любовью чрева,
Растрачивал во множестве себя...»

Был снова час взлета и возгрева,
Вскипала кровь, вынычавшая страсть,
Любовь без страха и любовь без гнева.

Все суетное потеряло власть,
Все временное пролетело мимо,
И, наконец, мне истина далась.

Любовь предстала без гримас и грима,
Бездубликатною, всего одной,
Как жизнь сама, а жизнь неповторима.

Ее своей я встретил сединой,
Высокому светильнику подобной,
С желаньем осветить ей путь земной.

И вот уже к моей любви недробной,
Постигнутой со всех семи высот,
Спешил какой-то нагло-расторопный,

Охочий до подсказанных красот.
Но пошлость цельной красоты не застит,
Как малый дым не гасит небосвод.

Воистину — у выстраданной страсти
Уж нет соперников и нет врагов,
Над ней и время не имеет власти.

Мы тоньше ниточек в тканье веков,
В станке времен, где так легко порваться,
Где в спешке не завяжут узелков.

Мы можем даже с веком не соткаться,
Историк строгий не заметит нас,
Нам нет нужды и этого бояться.

Нам наша жизнь дана не напоказ,
Но каждому положен подвиг личный,
На вековом пути свой звездный час.

Первична жизнь, история вторична!

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ

Что делать: неудобны и громоздки
В обыденном быту богатыри!
То князя он погладит против шерстки,
А то княгине пригрозит: «Смотри!..»

А как проститься может этот подвиг:
На княжий пир созвал кабацкий люд?!
И вот — под три замка, в холодный погреб
Спасителя отечества введут.

Сидит Илья с ячменной ковригой
Да с черепком колодезной воды

И утишает гнев священной книгой.
А там, вверху, льют сладкие меды,

А там, вверху, хмельное пиво плещет,
Сердца бояр и князя веселя,
Пока не поплывет набат зловеще,
Пока не станет надобен Илья.

И он выходит: кулачищи сжаты,
Наточен меч и палица тверда.
И что ему бояре и княжата,
Когда на левом берегу орда...

* * *

Там, где в Волгу впадает Кама
Или в Каму впадает Волга
(Так теперь они стали безбрежны,
Что запутаться в них недолго).
Там, на верхней палубе, грелись
Две широких рыхлых старухи,
И над ними кружились сонно
Те, еще довоенные, слухи,
Первых двух пятилеток легенды,
Уходящего нэпа сплетни...
Говорила та, что постарше,
Молодой, шестидесятилетней.
Говорила голосом, смятым
Бесконечную жизнью, стертым:
«В тридцать первом я вышла замуж,
Овдовела в сорок четвертом.
Мы когда-то здесь проплывали,
В Камском Устье яблок купили,
Здесь анисовки были только,
Мы как раз их с мужем любили...»
И под этот рассказ негромкий
Не спеша обсыхало море
И затопленные деревни
Возникали на косогоре.
Пароход наш к берегу правил.
Прямо по носу парохода
Кумачовый вспыхивал лозунг:
«Пятилетку в четыре года!»
И гремели на пристани в рупор
Те, еще довоенные, марши,

И стояла прямо старуха
(Та из двух, которая старше).
А в глазах ее столько было
Молодого сильного света!
Шелестели по бедрам складки
Дефицитного маркизета.

Где-то там, за чертой горизонта,
В этом мире и все же не в этом
Пробежал я по переулку
С деревянным своим пистолетом.
И о жизни этой старухи,
Об ее удачах и бедах,
О слезах ее и улыбках
Я ни сном ни духом не ведал.
Только были радости наши
Так же редки и так же скромны,
Как у этой Анны Ивановны
Или, может, Марьи Петровны,
И взрывались над нами беды
Незаслуженно и неожиданно,
Как над этой Анной Петровной
Или, может, Марьей Ивановной.
И сейчас над Волгой и Камой
В суть мою и в мое начало,
Так, как кличут домой мальчишек,
Возвращала она, возвращала.
Ничего друг о друге не зная,
Вспоминая разные даты,
Мы стояли на палубе рядом,
Как в одном окопе солдаты.

* * *

Качает жизнь меня вперед-назад,
всем сердцем к горькой памяти прижат,
притиснут — острие на острие.
Всего себя передаю в нее.
Так в корни вжат тяжелый чернозем,
так в тучу вжат непримиримый гром.
Я вжат в себя,
я вжат в крутой простор,
о время сердце я свое истер.
Остановлю ли нежностью теперь
безудержных мгновений карусель?
Рванусь назад, попячусь,
словно крот,—
оставлю вместе с болью сердца клочок.
Рванусь вперед — так легче на миру! —

ГУЛ ЯЗЫКА

Всех трав, всех птиц наполнясь гулом,
ты не страшись суда хулы,
так, может быть, взмятенным гуннам
был дан прямой язык стрелы.

Неси в себе язык свободный,
диктаторский язык грозы,
и вместе с тем вникай в ознобный
и сбивчивый язык росы,

чтоб боль и радость человечья
могли сказать:
— Я — зов, я — зык,
язык пророка и предтечи,
века сдвигающий язык...

Неотвратимый, неминуемый,
пробив души смятенной тишь,
он в несогласный гул созвучий
введет — и ты заговоришь.

От лжи отделит, как проказой,
он правду даст,
и вновь ты жив,

но сердца от него не отдеру.
Спешу, спешу, спешу ему вдогон:
то явь, то сон,
то тишина, то гром,
то ясность,
то с самим собой разлад.
Я меж грядущим
и былым распят.
Туда-сюда качает жизнь меня,
то — под ногой песок,
то — полынья.
Качнется миг —
и тут же наяву
я на сто лет вперед уже — живу.
Еще качнется миг, теперь назад —
я центробежной силой в песню вжат...

язык волны зеленоглазой
и преклоненных к полдню ив.

Вбери с заботою отважной
в себя — ведь ты и меч и щит —
и первой почки вздох протяжный,
и холодов январских щип,

и радуги повисший хобот,
и дрожь ее,
и блеск камней,
и, заточенный в твердь, и холод,
и в немоту,
язык камней.

То стариной войдет, то новью,
прорвется к сердцу напрямик
мужицкий злой,
и вещей вдовий,
и резвый городской язык.

Неси его своей тропою
и жди, что где-нибудь вдали
заговорит весь мир с тобою
на языке твоей земли.

Я БУДУЩЕЕ ВИЖУ

Мне молодость трубила в звонкий рог
и вдаль звала, и шел я без дорог
на гул толпы и улиц шумных гомон,
не зная,
что мой каждый шаг и вздох
моей душой давно запеленгован.

Студил я стужей сердце, жег огнем.
Срастается мой день с грядущим днем.
Я от него хотя бы в том зависим,
что он вырастает,
словно в чернозем,
в меня своим тяжелым корневищем.

Врастает прочно он, вырастает впрок.
Я будущее вижу, как пророк,

что просветлен нечаяно правдой сущей.
Как по стволу весенний, теплый сок,
во мне день подымается грядущий.

Сквозь времени несбывшегося тьму,
доверившись и сердцу и уму,
гляжу, гляжу — и памятью яснею.
Неужто боль свою в него возьму
и нежностью своею не прозрею?

А день встает.
А день горит огнем.
И я живу во времени ином
то грустным, то, как в юности, веселым.
И угадать спешу себя я в нем,
озвучиться неведомым глаголом...

Варлам Шаламов

* * *

Я вспомнил бранные слова,
Какие слышал с неба,
Когда болела голова
И не хватало хлеба.

Я повторил всю эту брань,
Все эти ада бредни,
Когда с Юпитером на брань
Я вышел в час последний.

Сердась, Юпитер отступил
К какой-то южной трассе.
Я поумерил его пыл,
Утихомирил страсти!

* * *

Нас водило перо Пастернака,
Но — в какой-то решительный миг
Обошлось без дорожного знака
Пастернаковских ранних книг.

Остановленное поминутно,
Закрепляя любой миллиметр,

Ощутило, хотя бы и смутно,
Но настойчивый блоковский ветер.

Укрепясь на позициях этих,
Мы опять зашагали вперед,
Подчиненные Блокову ветру,
Слову Блока: «Поэт и народ».

НА СТАРИННОМ КЛАДБИЩЕ

Среди величавых могил,
над коими кружат поверья,
я холмик простой различил,
прочел на табличке: «Лукерья».

О тех, кто был в жизни велик,
про добрый их час и тяжелый,
узнал я немало из книг
не ныне, а в детстве, со школы;

и как выростали в семье,
трудились, любили, мужали,
и как воспитали в себе
талант, занесенный в скрижали.

И их биографий черты
известны мне вплоть до кончины, —
от старости иль клеветы
покинули землю мужчины.

А бабки Лукерьи не смог
представить я жизнь, как ни бился,
лишь ситцевый белый платок
наивно со снимка светился.

* * *

Был у меня друг.
Под стрехой его дома
трясогузка гнездо мастерила,
и любил я смотреть,
как проворно трудилась она...
.
Годы шли,
и мы с другом расстались.
.

* * *

Надо помогать друзьям,
вместе с ними вырастая,
и поверьте: сила злая
не опасна будет вам.
Надо помогать друзьям.

Другу помощи с душой
и пекись, как бы о брате,

Но чтобы понять — хоть чуть-чуть —
жизнь женщины старой и строгой,
российской истории путь
с ее совмещаю дорогой:

увидел я, как, молода,
с открытой и ясной душою,
за трактором шла в холода
своей и чужою межою;

как в ночь поседела одну,
на лунном полу распростертой,
узнав, что погиб на Дону
меньшой и последний, четвертый...

Как жизнь доживала вдова
без близких, без ласки, без песен,
хотя есть и хлеб, и дрова,
и малый достаток от пенсий.

...И я исторический взгляд
отбросил, чтоб грянуло диво,
твердя все, наитию рад:
«Счастлива была ты, счастлива...»

А недавно набрел я в терновнике
на гнездо трясогузки,
сердце вдруг защемило тоскливо:
я припомнил ту трясогузку,
что когда-то гнездо мастерила под
стрехою...

Только никак не удавалось припомнить,
чей это был дом.

не для выгоды пустой
или выигрыша ради.
Другу помощи с душой.

Жить дремуче, как кулак,
умереть, как схимник тощий, —
это же простого проще,
но не стану жить я так.

Игорь Шкляревский

СКИТАНИЯ В ЛЕСАХ

* * *

Короб, полный багровой брусники,
и матерый глухарь...
Чтобы он сохранился подольше,
я извлек деревянным крючком потроха
и набил его брюхо холодной галькой.
И лосось... В перламутровых жабрах
переливы полярных сияний.
Я его дотащил, и рука онемела.
Все закрыто рогожей...
Завелся мотор.
Режет воду смоленая лодка.
Ветер хлопает мокрой веревкой,
и слезятся глаза. Путь далек.
Мы уходим к Большому порогу.

Лес. Вода. Синева.
Все скользит. Убегает навеки...
Лес. Вода. Синева.
Все уходит и все впереди!
Только здесь я бываю счастливым.
Вот и Малый порог. Берегись...
В камнях крутится пена стремнины.
Дно летит подо мной. Под меня...
Берегись, браконьер! Берегись, человек!
Друга, женщину, радость, обиду — забудь!
Проскочили... И с небом сливается путь.
Отдаляется рев. Горы сжали реку.
Я люблю эти грустные горы лесные.
Мох, брусничник и вереск на склонах.
Никуда торопиться не надо.
В этом воздухе,
в этом унылом краю
долго слушать на камне люблю
гул далекого водопада...

* * *

Обнимаю собаку, чтоб пальцы согрелись.
Быстрый холод и звезды...
Мех щекочет лицо.
Пес дрожит. Ледяная дорога
позади. Дом стоит под горой.
Друг горящей берестою машет.
Эй! Эгей! Эге-гей!
Тьма обстала меня.
На песке только зверя следы.
Здесь от огня до огня
как от звезды до звезды!

Входим в дом. Я на лавке сижу.
Заложило от звона и холода уши.

Льется пламя из печки,
на бревенчатых стенах дрожит.
Надо снять сапоги, надо снять...
Я к стене прислонился безвольно.
Просыпаюсь,— стреляет сучок.
Свет дрожит на бревенчатых стенах.
Надо встать. Дом звенит! Я встаю.

Выхожу в темноту на крыльцо.
Воздух обжег лицо...
От инея все побелело.
Брат уже оципал глухаря.
Над костром —
синий треск обгорающих перьев.
Сон прошел. Дико, весело нам.
Побелела трава и скрипит!
В звонком холоде плачет сова...

* * *

Тихо в доме. Березы шумят.
Ставлю лампу, стекло протираю.
Дождь пошел. Подымается ветер.
Я ненастье люблю —
в темноте за стеной,
чтобы печка горела и ветер шумел,
чтобы свет керосиновой лампы мигал,
чтобы капли по стеклам уныло стучали...
Разливаем похлебку. Горячее мясо
рвем зубами и рот набиваем брусничкой.
Кислый холод и хруст!..
Я тебя не зову.
Без тебя мне просторней.

* * *

В лодку падает лист.
За ночь лес пожелтел.
И посыпался, и полетел...

Мы к порогу идем на шестах,
на исходе бензин.
Утром я на обрыве остался один.

Ветра нет, а знобит...
И такая тревога,
словно кто-то мне в спину глядит.

Воздух пахнет зимой.
Подосиновик точно стеклянный.
Я ударил ногой —
на куски разлетелся со звоном!

Солнце грустно блеснуло —
и на белых малины кустах
засветились холодные красные ягоды!
Ветку тронешь — и падают...
Некому их собирать.
Тени тонкие школьных друзей
окружили.
— Уходи! —
Замахали руками, завывали...
Сколько слов не сбылось!
Сколько сил распылилось!
Золотые мечтания под крышей сарая.
Чей-то профиль, назад запрокинутый, гордый.
Я лицо расцарапал, шаги убыстряя.
Мне вослед улюлюкали лучшие годы...

* * *

Прозябай!
Голова разболелась от ветра.
Все промокло. Раскисло. Настыло.
Вбили колья и пленку на них натянули.
Ветер пленку поднял пузырем и сорвал.
Никогда!
На горелом холме
пилим мертвые сосны.
Тащим их и кладем
ствол к стволу,
ствол к стволу.
Обливаем бензином —
пламя шаром взметнулось.
Сохнет горло —
такой разгорелся костер.
Дождь над ним испаряется в небе!

* * *

На обрыве береза желтела.
Дунул ветер! И вся облетела...

Стая листьев, тоскливо звеня,
пролетая, задела меня.
Закружила... В глазах замелькала.
И на темную воду упала.
Зябкой дрожью покрылась спина.
Я смотрел на пустую березу.
Сразу все потеряла она.
Оглянулся... Приблизилось небо.
Много лет я хожу по лесам,
но чтоб сразу осыпалась крона —
я сегодня увидел впервые.
Стыли в воздухе сучья кривые.

Я пошел к одинокому дыму.
Брат сидел у костра
и сушил сапоги.
Ярко, весело — с треском горел можжевельник.
Что сегодня?
Суббота, среда, понедельник?
Смысла не было в этих словах.

Я забыл, сколько дней мы в лесах.

* * *

Все! Унылое летное поле.
Пьет из лужи собака.
На пустом горизонте
гудит полосатый мешок.

Завтра чаю напьюсь у соседа.
Он покажет мне слайды —
с приветом из Сочи,
он в нарядных трусах
выбегает из пены морской.
Баба дует в огонь...
Вспомню с дикой тоской
на пустом горизонте мешок полосатый.

Людмила Шिताхина

НАША ДУША

Мы земные, из крови и плоти.
Но, вселенскою жаждой дыша,
Пребывает в крылатом полете
Одержимая наша душа.

Наша сущность, и голос, и зренье...
Так порой ее власть велика,

Что она, увеличив мгновенье,
Оставляет его на века.

Прежде чем нас возвысит отвага,
Прежде чем нам воздаст ремесло,
Это в ней создается благо,
Это в ней отвергается зло.

Птичий гомон и вешние воды...
Потому и земля хороша,
Что к прекрасному зову природы
Расположена наша душа.

Запах гари и выхлопы ружей,
Боль и подвиг на том рубеже...

ЖЕНСКИЙ МЕСЯЦ

Женский месяц — месяц март.
Талый снег, шальные воды.
Вздых разбуженной природы.
Созидательный азарт.

Месяц март — и все с азов...
Дар тепла, капли слезы.
Воспаленный всплеск мимозы
И фиалок нежный зов.

Уплывают клочья туч.
Птицы пробуют пространство.
Холодок непостоянства.
Обещанья зыбкий луч.

Между небом и землей
То ли грозы, то ли ветры.
Сочетанье трезвой веры
И надежды голубой.

Мир насилья затем и разрушен,
Что сначала он проклят в душе.

Целый мир заполняя собою
И себя в нем заполнить спеша,
Мы — земные, но нашей судьбою
Безраздельно владеет душа.

Полуявь, полунамек,
Месяц март — лукав и весел.
Солнце в воздухе повесил,
Взрывом почек изнемог.

Многозначачий кивок,
Робкий, легкий, осторожный,
Повод к нежности возможной,
К откровенности предлог.

Зимней памятью суров,
Месяц март, как гость желанный,
Весь в учтивости пространной,
В жажде писем и даров.

Месяц март, пресветлым будь!
По велению природы
Расточай свои щедроты!
И меня не позабудь.

Александр Юдахин

ЧОЛДЫ-ЕЛДЫ

В Андижане жила побирушка —
провозвестница бед.
В чайхане привечали старушку:
— Чолды-Елды, привет!

Наполняли ей рисовым супом
допотопный бидон,
и она улыбалась беззубым
провалившимся ртом.

Но когда Чолды-Елды ворчала,
лучше было бежать.
Голова у нее, как мочало,
начала дрожать.

С бесноватой загробною силой
жгли глазенки ее.
— Чолды-Елды! — она говорила.
Чолды-Елды — и все!

У людей, мы доподлинно знали,
с наговора всегда
дохли куры, горели сараи,
приключалась беда.

Я, мальчишка, не верящий в черта,
возвращаясь домой,
Чолды-Елды всегда безотчетно
обходил стороной.

Где старуха жила-ночевала,
не узнать никому,
потому что однажды пропала,
не пришла в чайхану.

Может, где умерла на скамейке,
может, поезд унес.

АСТРОНОМИЧЕСКОЕ

В водопроводе утечка.
В жаркой диспетчерской важно,
кесарем слесарь сидит.
Хочется многоэтажно
кесарю выдать словечко —
водопровод не велит.

Носисься, будто бы белка,
с Сокола до Маяковской.
Боже меня сохрани,
как это буднично, мелко:
водопроводы, и верстки,
и гонорарные дни.

Что бы я делал на свете,
если бы не было тестя
и телескопа его?
Сидя в своем кабинете,
он конфликтует в Триесте,
пьет на Венере вино.

Кажется, новый родитель —
не потребитель матерый
и не доцент имярек,

Говорят, на базаре узбеки
горевали всерьез.

Позабыли про страх горожане,
стали жить без затей.
Стало нечем пугать в Андижане
непослушных детей.

а — увлеченный учитель,
и одержимый ученый,
и заводной человек.

Я засыпаю не скоро
после его сообщений
об изученье миров.
После космических споров
вижу по несколько серий
астрономических снов.

Вот, замирая от счастья,
люди в одежде жемчужной
пересекают эфир.
Я представляю отчасти,
как обывателю чуждо
видеть во сне этот мир.

Да, обывателю жутко
видеть, как с целью познания
носится зонд неземной,
как телефонною трубкой
к теплой щеке мирозданья
месяц прижат ледяной!

3



Сергей Алиханов

* * *

Ухарские выкажу замашки
И, пока до озера дойду,
Выпростаю плечи из рубашки,
Загореть успею на ходу.
Солнце и недалняя дорога.
Вдоль опушки леса, вдоль ручья.
Аист над водою длинноного
Постоит, и отразит струя
Птицу.

Я увижу спозаранку
У опушки низкую землянку,
Полуразвалившийся накат.
Здесь снаряд десятки лет назад
Вывернул всю землю наизнанку.
Хорошо как не задел солдат.

Евгений Антошкин

* * *

Звезда любви, страданьем и печалью
Отмечен твой века идущий свет.
Как женщина, закрытая вуалью,
Хранишь ты жизни бесконечный след.

От дел земных отгородившись далью,
Глядишь невозмутимо с высоты.
Хотя бы раз
Мелькнувшею печалью
Твои случайно тронуло черты.

Цедишь и серебро, и позолоту,
Горишь вдали, как хрупкая свеча:
То в трепетных, живых лучах восхода,
То в заходящих огненных лучах.

Я на тебя гляжу не дни, а годы.
Мигни в ответ — и тайну мне открой:
Как научилась мертвая природа
Нести через века огонь живой?

Елена Аксельрод

* * *

Хоть мир широк, строка моя узка,
И лишь мой малый мир в ней уместится.
В нее стучатся страны и века,
Но строго обозначена граница.

Мой малый мир! Помилуйте, но в нем
Любовь и смерть — последнее объятье,
В нем горе белым залито вином,
В нем давний счет, предъявленный к оплате.

Как переулочек мой, строка узка,
Но в каждой улочке грохочет город...
Мой малый мир — клочок черновика,
Кровоточит он, колеями вспорот.

Размыты строчки кляксами дождей,
И ластиками шин поспешно стерты,
И вновь проявлены в тиши полей,
Где мир мой ширится, вбирая версты.

Пусть, точно комната, тесна строка,
Но в ней, как в комнате, три поколения —
Лишь названы — не узнаны пока,
И не дают мне предаваться лени!

Мой малый мир! Он ждет таких трудов,
Что мне на них навряд ли хватит жизни...
А сосны за окном поют без слов,
И целый мир в их гулкой укоризне.

* * *

Чуть рассветет — и мимо дома,
Без выходных, и в сушь, и в грязь,
Дорогой, что уже знакома,
Идут мужчины, торопясь.
Идут гуськом, почти в затылок,
Как у заводов после смен.
По три, по пять пустых бутылок
Несут мужчины на обмен.
Но — что бывает очень редко —
Без укоризны говорит,
Увидев их, моя соседка:
«Да, аппетит так аппетит!..»
Скрипят под окнами ботинки.
Обратно через пять минут
Похожие на четвертинки
Бутылки полные плывут.
Так и сейчас: едва потухли
Ночные тусклые огни,
А мимо нас к молочной кухне
Идут мужчины. Вот они!
Торопит их попутный ветер,
Проснувшись, вслед глядят скворцы.
И шутит дворник дядя Петя:
«Видал? Кормящие отцы...»

ПАРКОВЫЙ ТРИПТИХ

Памяти отца

I

Вечер на меридиане,
Вечер в переулке.
Время переодеваний,
Сборов на прогулки.

От торжественности хмурый,
Глаженный и бритый,
Вытекает в парк культуры
Отдых деловитый.

Что мерещится тем часом
На невидном месте
Человеку с «эсным» басом
В духовом оркестре?

II

Не поверил раньше сам бы —
Осознал впервые:
Мне, пожалуй, всех ансамблей
Ближе духовые.

Марш военный! Как он четко
Выбит и откован!
Как чугунная решетка
Сада городского.

В нем не только гром орудий,
Грохот наступлений —
Часть лирическая будет
Во втором колене.

Это ведь увидеть надо,
Оценить
и взвесить:
Над боями, над парадом —
Одинокий месяц.

Труб нежнейшее касанье,
Хроматизм кларнета...
А в муззвонковой казарме
Душно ночью летом.

Вздых валторны в этом месте
Скажет остальное —
И напрасно капельмейстер
Разлучен с женою.

Далеко ушла разведка
Сквозь разрывы дыма...
«Эсный» бас вступает
редко,
Где необходимо.

III

Полька, вальс напропалую.
Танцы, пиво, танцы.
Я не пью и не танцую,
Не влюбляюсь, не ревную —
Что же я остался?

Как понятны зверь и птица
Для специалиста.
Я хотел бы научиться
Понимать басиста.

Поменяться с ним местами —
Что-то вроде жажды.
Встать за нотными листами,
Оглядеть однажды

Шар огромный, двухполярный,
Космос, все творенья
С этой малопопулярной,
Редкой точки зренья.

Юрий Белаш

МАЙСКАЯ ГРОЗА

Каждый день гремят на фронте громы
Бьет по сердцу майская гроза.
И смолкает как-то незнакомо
вся прифронтная полоса.

О войне не может быть и речи.
Ну какая, к черту, тут война,
если вдруг обрушится на плечи
ливня шелестящая стена!..

Мы совсем к другим привыкли грозам.
И привыкли к молниям другим.
По окопам в неудобных позах
все под плащ-палатками сидим.

А гроза колеблет свод небесный —
словно бы решила доказать,
что на свете грозы есть известней,
чем артиллерийская гроза.

И когда прохлещет дождь короткий
и под солнцем вспыхнет листьев сеть —
нет, не пушки прочищают глотки,—
птицы начинают петь.

Юрий Беличенко

* * *

...а там, в земле, еще идут бои.
Горят снега. И дымом пахнут слезы.
И ставшие золою соловьи
еще поют в прифронтовых березах.

Уходят в ночь беззвучные полки.
Цветет свинец. И кровь кипит на траках.
И легендарные политруки
еще ведут своих бойцов в атаку.

И хоть хлеба вернулись на поля
и все дожди очистились от дыма,—
не забывает прошлого земля:
оно сокрыто, но неизгладимо.

А наши корни, дерево храня,
его питая в стужи и ненастья,—
навек вошли в суровый пласт огня.
Негодования. Ненависти. Страсти.

Михаил Беляев

* * *

Грибною белой лихорадкой
Москва в дожди потрясена.
Ах, любит праздники она
С грибной солидной раскладкой!

Торит столица первопутки
В лесах на сотни верст окрест.
В лесах она и спит и ест,
Затянутая браво в куртки.

В кудрявых заводях черники
Блуждают пылкие умы,
Чтоб над метелями зимы
Грибной клубился дух великий.

Кружи, здоровый свежий отдых!
Пора счастливая пришла:
Как древние колокола,
Звенят грибы в корзинках желтых!

Анатолий Богданович

КУРГАНЫ

Навсегда с землею русской спаяны
Воины, что видят в дымке сны...
Не былшем —
Цветами Вечной памяти
Низкие курганы поросли.
В них лежат друзья и побратимы,
А над ними пятикрылый свет...
И высот, земля моя родимая,
Выше тех курганов —
Нет.

Анатолий Бразин

* * *

Снесли хибару — сад остался.
Бездомный сад! Легко сказать!
Он возражать и не пытался,
Он не умеет возражать.

Еще цвести и плодоносить!
Но без хозяина любой
В него посмеет камень бросить
И обломать, само собой.

Он как без матери ребенок.
Ребенку надобен уход...
Никто не высушит пеленок
И ноготки не пострижет.

Равиль Бухараев

СУМАРОКОВ

Пей зеленое вино, Александр, Расин российский!
Не дано так не дано, до забвенья путь неблизкий...
Отрешаясь от семьи, ты один по воле рока
окунул перо глубоко во Кастальские струи...

На Руси висит туман междувременья, порока,
но трагедия — обман, а комедия — морока,
заваливший тянешь фант — слова, а не славы ради,
козырь в нынешнем раскладе фаворит, сиречь амант.

Где алмазная звезда? Сумрак, истечение сроков,
да кому в тебе нужда, Александр Сумароков?
Пей — и славы не проси, а забвенье — не минует,
с Оренбуржья ветер дует, оживленье на Руси...

Муж в лаптях и армяке,
пожелтевший от работы,
с топором грядет в руке,
растоптав твои заботы!
Исправлять дворянский нрав
от сохи грядет мессия,
пробуждается Россия,
заповеди все поправ!

Глянь, провидец, в белый лист сквозь пожары да измены,
вот курчавый лицеист, вот иные перемены...
Ты к судьбе своей готов, так пускай увидит, дура,
как глядит литература в опустевший полуштоф!

НОЧЬ. БУМАГА ДОРОГА...

...бысть дорога бумага, десть два алтына
книжная... лист полденги писщя.

Новгородская летопись

Ни работа, ни стишок не идут на лад.
Верстки, сверки, колготня. Скрепки, дырокол...
Рукописей — сундуки, а на трезвый взгляд —
Все как надо... Не впадай... Не впадай, сокл.

Хоть впадай, хоть выпадай, а запала блажь,
Впала в голову, да так, что и не отвести.
С четверга ли, со среды этакий мираж:
Бысть бумага дорога — два алтына десть...

Как-то в юности тушил почту... Из огня
Кипы, стопы — кто волок, кто кидал в окно.
Будто лишь того ждала, взмыла бумажня,
Так и хлынул белый день в темное темно.

Шли квитанции в полет. Белая пурга.
Несуразный листопад заметал порог.
Бысть бумага... Черта с два! — вряд ли дорога...
Бысть когда-то дорога, был и царь Горох.

Не от писем же? — вокруг побелела грязь,
Бланков белых облака. Захватило дух:
В заполенной кутерьме, искрой заразясь,
Вспыхнут разом, а тогда... Помню тот испуг.

Вытворяя на ветрах петли и витки,
Реет писчий матерьял, ахает толпа,
Суматошно мельтешат мелкие квитки,
Полыхает зверь-огонь, а над ним — колпак...

На фонарь, что на носу катера сиял,
Так летела мошкара белым сплошняком,
Заволакивая свет, словно кисея...
Так и плыли мы всю ночь с этим ночником...

Бакен тлел и угасал, как подмокший трут.
Рулевой наш не дремал, то и дело ход
Убавлял насколько мог, медлил там и тут...
Неужели отомрет славный этот флот?

За Тарусой кто сошел, кто убрался вниз.
Белым шаром на носу мглились мотыльки.
Шаром, роем, колесом, — странный механизм...
Не они ли нас везли, эти бурлаки?

Не они ли нас влекли в тишину тишин?
По обоим берегам соловьиный шелк...
Росный ладан шел за фунт в сорок пять алтын,
А почему он был тогда, лунный этот шелк?

Лунной ряби на воде серебристый ворс,
В темном омуте Оки звуки толкотни...
Как он скроен, этот мир? — не пустой вопрос,
Лицевою стороной — ночи или дни?

Так и плыли... Что за рейс?.. Моль да соловьи.
Рейс в убыток. Каботаж, график — не путем...
Два бездомника не в счет — сами не свои,
Не с ума, так на любой пристани сойдем.

Перевертывалась жизнь, а луна — в упор,
Так светила — желтый зуд пронимал до жил.
Что творилось? Что за ночь?.. Что, как до сих пор
Все с изнанки понимал, наизнанку жил?

Что за притча? Что за ночь? Что его встрясло,
Разболтало весь до дна смутный мой состав?..
До Алексина, считай, ехали без слов.
Только в Туле все пошло на свои места.

Только в Туле все пошло, да и то не враз,
Ни заботы, ни толпа не могли помочь.
У ларька лишь некий луч дрогнул и угас:
Лунный спутник вокруг Луны действовал ту ночь.

Космостанция «Зонд-3» глянула с полос.
Фотографии... Чертеж... Полденьги за лист.
Третий лист уже гублю — вот ведь в чем гипноз...
Бысть бумага дорога... Бысть или не бысть?

Бысть бумага дорога. Видно, не судьба
Ночь ту выписать до дна.
Просто сладу нет —
Летописная строка, а ведет себя
Как мотивчик пробивной, заводной куплет!

Александр Васютков

ФРОНТОВИК

Он в нерезкий снимок тычет,
Раздвигает пыль рукой.
— Не гляди, какой я нынче,
Вот он я, гляди какой!

По уставу брови сдвинув,
В объектив нацеля взгляд,
У молоденькой рябины
Снят молоденький солдат.

Он ли это, в самом деле,
В гимнастике фронтовой,

Не его ль снега отпели
В 41-м под Москвой?

Не его ли под Берлином
Пуля черная взяла?
И не эта ли рябина
Полыхала у села?..

Пожилой, одутловатый,
Он с улыбкой виноватой
Трет залысину рукой.
— Разве я такой, ребята?
Вот он я, гляди какой!

Лариса Васильева

ГОЛОС ГЕРОИНИ

В океане стою, на мели.
Волны бьют, а убить не вольны.
Я — горячая точка Земли.
Мне закрытые дали видны.

На исходе столетья миры
замыкают истории круг.
Окончание старой игры
все во власти стремительных рук.

На три цвета разбившийся свет,
на два мира расколотый пласт
наконец-то раскроет секрет:
кто же прав? И героям воздаст.

И взлетят перекрестья путей
над открывшейся истиной дня —
но ценою напрасных смертей,
но ценою большого огня.

Пусть! Любая цена не цена,
Привыкать ли идти на костер!
Ах, далекий огонь из окна,
он нам светит с невиданных пор:
это мать запалила его.
То любимый случайно зажег.

Хорошо ли в костре?
Ничего...
Свет в окне—одинокий ожог.

Я — горячая точка Земли,
я предчувствую сильный толчок,
то не кони взлетают в пыли,
это бьет электрический ток,

это вверх с океанского дна
Атлантида восходит. Куда?!
О, несет нам гибель она —
захлестнет человека вода.

И — напрасно горела в аду,
не сгорела — напрасно жива,
чтоб увидеть такую беду
по закону Ее Естества...

Я — горячая точка Земли,
не боюсь катаклизмов Ее,—
не одни ль это силы зажгли
пламя солнца и сердце мое?

Я боюсь — не погасло б оно,
материнское окно.

Игорь Волгин

* * *

Но взгляните на лица детей!
Поглядите на детские лица:
ни злодей
и ни прелюбодей
здесь ни в ком не посмели явиться!

Я не знаю, с чего ты взяла
(хоть опять эти веянья в моде!),
что истоки всемирного зла
заключаются в нашей природе.

Ты стучишь на машинке всю ночь.
И, подвластная звукам знакомым,

спит твоя годовалая дочь
на диване, что кушлен месткомом.

Мы, возможно, и будем в аду!
Но недаром
сей ангел небесный
в деревянную дует дуду
и парит над вселенскою бездной.

Он — не жалок,
и он — не велик.
Он не вырос еще из пеленок.

...Обобщи человеческий лик
и уверься, что это — ребенок.

Зоя Велихова

ГОЛУБЫЕ СТЕКЛА

После долгого истфака,
Защитив диплом ученый,
Я устроилась, однако,
В магазин комиссионный.

И посереде Арбата
За прилавком простояла
В храме Антиквариата
Шесть прекрасных лет без мала.

Мной за эти годы нажит
Опыт жизни — свет и тени,
Обо мне профком не скажет:
Мол, тепличное растенье.

Там, где в голубые стекла
Вечно улица глядится,
По ту сторону витрины
Обитают продавщицы.

Лучше бы опять работать
За прилавком в шуме зала,
Где старательная спешка
Лица перетасовала.

И, работая, не помнить
Об игре воображенья,
А привычными руками
Делать четкие движенья —

Отпускать товар вошедшим,
За день мимо промелькнувшим,
Появившимся и тут же
В сутолоке потонувшим.

А под вечер, после смены
Уходить домой усталой.
С этим постоянным делом
Лучше было бы, пожалуй,

Чем бродить в толпе без цели
И глазеть, другим мешая!
Да и дело ли шататься,
Что-то впрок запоминая,

Собирая чьи-то лица,
Голоса и впечатленья,
Вынося с собой из гула
Это вот стихотворенье?..

Ирина Волобуева

ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЮБВИ

Четыре времени есть у любви,
Не каждому они судьбой даются...
Весна любви, когда вдруг соловьи
Твоею грустью песенно зальются.

Когда две нежности друг к другу в первый раз
Стремятся, околдованные тайной,
И понимающе луны огромный глаз
Светло глядит на робость их свиданья.

А как прекрасно лето у любви,
Безудержное в зное откровенья!
И сочных трав полдненное томленье,
И спелых злаков зной — в ее крови.

Есть у любви и осени приход
С листвой пожухлою, с дождем уныло-длинным,
Когда две нежности, под шуму непогод,
Взгрустнув, друг друга греют голубино.

Зима любви...

Поземкою пыля,
Она идет своим последним кругом.
Как с белым небом белая земля,
Две нежности сливаются друг с другом.

Срастается замедленность их дней,
Но каждый день лучом весны подсвечен.
И может быть, любовь всего нужней,
Когда она заснежена навечно.

Не веришь, девочка?

Ну что ж, спеши, лови
Свой час весенний, как полет светящий!
Но пусть тебе накликут соловьи
Четыре времени одной любви,
Единственной... И значит — настоящей.

Юрий Воронов

ПАМЯТЬ

«Бессмертье или память?» — спросишь ты.
И я тебе отвечу, жизнь, без спора:
Конечно, память!
В ней — мои мосты
В грядущий день.
Она — моя опора.

Когда приходит памяти конец,
Ты — дом,
Где окна досками забиты.
Что может быть
Опаснее сердец,
В которых пережитое убито?

Забывать, что было,—
Значит обокрасть
Самих себя своими же руками.
Становятся слепыми

Ум и страсть,
Когда у человека
Меркнет память.

И я в свои недожитые дни
Кричу с надеждой, а порой с тревогой:
О жизнь,
Ты только память сохрани...
Пока живой я,
Памяти не трогай!

Ее нести сквозь долгие года —
Нелегкий труд.
Но человек — не сито.
Тем, кто ворчит:
«Она — твоя беда»,
Отвечу:
«В ней — мой свет, моя защита!»

Любовь Воронаева

СНЕГ НА БУЛЬВАРЕ

Снег на бульваре — такие дела!
Раньше я этого не замечала...
Не начинать же всю зиму сначала
Лишь оттого, что незрячей была!

А на удары декабрь мастак:
Вдруг ощутить, что смертельно устала...
Не начинать же год старый сначала
Лишь оттого, что он прожит не так!

Вот и с тобою нам вместе не быть.
Помнишь, как я тебе вслед прокричала:
«Не начинать же с тобой нам сначала
Лишь оттого, что хотели любить!»

Но, если б что-нибудь выпало вновь,
Я бы, наверное, так отвечала:
«Предпочитаю все это сначала —
Зиму, бессмысленный год и любовь».

Александр Городницкий

* * *

В переулке старого Арбата,
Забредя как в воду по колено,
Высятся дома-акселераты
Над домами прежних поколений.

Не толпою дружною, а порознь,
Монументами без пьедестала
Поднялась их негустая поросль
Из стекла, бетона и металла.

Сквозь завесу дождика и ветра
Из окна их вижу каждый день я,
Идеал скупого геометра,
Современных стилей порождение.

Всё стоят они при ярком свете,
Неподвижны в уличном потоке,
Словно наши выросшие дети,—
Равнодушны к нам и одиноки.

Николай Глазков

ФИЛОСОФЫ ВОСПОРСКОГО ЦАРСТВА

Эпикуреец жалеет,
Что в юности стойком не был.
Часто болеет
Под самым безоблачным небом.
Хочется выпить ему —
Больше не может уже.
И может быть, потому
Грусть у него на душе.

Стойк жалеет,
Что в юности был он аскетом,
Ждал, что созреет,
И радость держал под запретом.
Он не изведал любви.
Кто полюбит теперь старика?

Юность зови —
Отзовется уныло тоска.

Скептик жалеет,
Что в том и в другом сомневался —
И на заре лет
Не ведал ни драмы, ни фарса,
Не испытал ни волнения страсти,
Ни тихого счастья,
Не был ни рьяным, ни резвым,
Ни пьяным, ни трезвым!

Сетуют старцы:
С иллюзией трудно расстаться —
Слыли всю жизнь мудрецами,
А оказались глупцами!

Виктор Гофман

* * *

Кое-где уже льдом покрывается черная грязь,
но еще под ногами скользит на прохожих дорогах.
Заигрался, и мама давно уж меня заждалась,
и в холодную форточку что-то кричит об уроках.

Я игрой увлечен, и не слышен мне голос ее,
прячусь я от себя, и ищу, и себя догоняю,
и стреляю в себя, и шепчу себе имя свое,
и у голой осины считалку свою сочиняю.

Завтра строгий учитель по чтению спросит меня,
и я буду молчать удрученно и непоправимо,
и за школьным окном будут падать снежинки, звеня,
и деревья стоять удивленно и неповторимо.

Нет, пора уже вспомнить, что дома братишка один.
Приготовлю урок и ему перед сном почитаю.
Мама, мама, я скоро! Я чуточку не «доводил».
Я считаю еще, прислонившись к себе, я считаю.

Лидия Григорьева

МОСКВА 41-го ГОДА

Известно какая погода:
Ни солнца, ни звезд, ни луны.
Москва сорок первого года —
полярные ночи страны.

Всесильный момент поворотный.
Но яростный мечется флаг,
и тяжело гудит в подворотне
беременной женщины шаг.

Вот дворик пустой, невеликий.
У входа в скупое жилье
небесные, бледные блики
исходят от лика ее.

И возле «ежей», у траншеи,
в фуфаячном стылом краю,
спокойно несет, хорошея,
высокую ношу свою.

Надежда Григорьева

* * *

Вы женщину нарисовали
Сухой ракушкой на песке.
Предусмотрели все детали,
Вплоть до морщинки на виске.
Она была, как тень, пустая,
В ней тела не было совсем,
И отвлеченно, как святая,
Она принадлежала всем.

Но вдруг она взяла и села,
Ваш плоский замысел разбив,
Ее рука порозовела,
И округлился плеч изгиб.
И, нарисованная криво,
Она качнулась к вам в тоске
И о любви заговорила
На женском вечном языке.

Лорина Дымова

* * *

И улицы старые эти,
и неба рисунок рябой
в ответе, в ответе, в ответе
за нашу разлуку с тобой.

Холодные темные зданья,
слепые ночные огни
глядели на наши свиданья
в те дивные давние дни.

Хоть знали они, что печали
великие нам суждены —
но все же об этом молчали,
немым состраданьем полны.

Калитка скрипела убого,
и черен был снег на трубе...
Любая на свете дорога
меня приводила к тебе.

Прекрасней не ведала боли
и счастья не знала больней,
чем наши скитанья с тобою
в том снежном мелькании дней.

Так будьте вовеки прекрасны
ограды, огни фонарей
за то, что вы были причастны
к любви незабвенной моей.

Владимир Дагуров

* * *

Ребенок, не взрослей, не старься,
а будь всегда таким, как есть.
Хочу, чтоб в сердце ты остался
и подавал из детства весть.

Я жил, любовью уязвленный,
но за меня на мир смотрел
наивный, жадный, изумленный,
лукавый, как Амур, пострел.

Под пыткой будничного быта
она, не выдержав, ушла —
меня ж мальчишечья обида
осиротелостью прожгла.

Сберег я в переделках лютых
то чувство детского стыда

и ту способность видеть в людях
начала добрые всегда.

Когда беда как наважденье
иль снова козни подлеца,
ко мне приходит как спасенье
улыбка детского лица.

Когда старик впадает в детство,
он, значит, благородно жил.
Не совершил старик злодейства —
в себе ребенка не убил.

А что еще ему осталось,
ни в чем планиду не вина,
как, усмехаясь, встретить старость
глазами детского огня?

Юрий Денисов

КРЕМЛЬ

По своей форме Москов-
ский Кремль с птичьего по-
лета напоминает старинный
русский топор.

Из объяснений экскурсовода

Стонут степи от гика,
что ни град, слобода —
сеет черное иго
Золотая орда.
Нету злей, вероломней
кочевой татарвы.
Враг подходит к Коломне,
враг уже — у Москвы.
Прочь с пути, пехотинец!
Конь грызет удила.
...И московский детинец
догорает дотла.
Плачут Суздаль и Галич...
Солоны калачи!
Растревоженно галочь
раскричалась в ночи.
Зло не вечно бывает —
неспроста, неспроста
калиту набивает
князь Иван Калита.
Умудренней, упорней
строят вновь мастера

Кремль из камня
по форме
своего топора.
И не рабски, не сиро
встанет Кремль на виду
древнерусской секирой —
острием на орду.
Враг нередко, бывало,
приходил ко двору.
Русь народ призывала:
— К топору! К топору! —
И секира отчаянно
всех разила с тех пор...
Спохватясь,
замечаю
свой рабочий топор
с прочным, чуть свилеватым,
филигранным почти
топорищем,
зажатым
в онемевшей горсти.

Олег Дмитриев

* * *

Такие стояли погоды,
Такие летели года!..
Я мог под небесные своды
Уйти неизвестно куда,—
Вернее, куда мостовая
Меня, как подруга, вела.
Я брел, обо всем забывая,
Любые оставив дела...
Встречали меня, как родные,
Неблизких окраин ручьи,
Как другу, двory проходные
Вверяли мне тайны свои.
Я слушал гудки на вокзалах,
Внимал тишине у реки,
На ниточках улочек малых
Навек завязал узелки!

И если, случалось, запястья
Я клал на перила моста,
Коротким мгновением счастья
Дарила меня высота!
Я верил: любимой не надо,
Не надо веселых друзей —
Украсть бы три дня листопада
У времени серых дождей...
Искал я повсюду открытый
Не ради стихов и поэм,
Летя по случайной орбите!
И счастлив-то был
Только тем,
Что шел по Москве несравненной,
Надолго забыв о себе,—
По маленькой этой Вселенной,
По этой огромной судьбе.

Евгений Елисеев

СВЯТ ХЛЕБУШЕК

Огрузились боеприпасами
ярославские облака,
они к этой земле привязаны,
им уйти не дает река.

Вот и ходят вокруг да около,
брюхом маются облака
из военного, из далекого,
незабвенного далека.

И почудится поневоле,
будто снова ты под огнем,
и занает твое пулевое,
как гроза полыхнет окном.

Дико вскакиваешь, весь потный,
как повеет в тиши ночей
серным запахом преисподней,
адским зевом ее печей.

Будто снова накрыло в пульмане
нас, невылупившихся вояк,
и на полном ходу, под пулями
захлебнулся кровью «Варяг».

Будто снова на брюхе, полозом,
выбираемся из-под колес,
и кричит не своим голосом
на смерть раненный паровоз.

Это месиво, это крошево
из сегодняшнего и прошлого
нам вовеки не расхлебать.
Но ведь было же и хорошее,
что на прошлое зря клепать!

Были двое чужих.
Породнила война.
И была на двоих
даже ложка одна —
я про нашего отделенного,
многим в юности обделенного,
но не совестью, не душой.
Он встречает меня, как брата,
да и жинка его мне рада,
никому я тут не чужой.

Ни единого сухаря
мы не съели с ним втихаря —
все делили напополам.
Вместе грелись в навозной куче.
И в любви — по госпиталям —
были счастливы и везучи.

Мать-земля уже не сырая,
стоит выйти хоть на крыльцо,
поглядеть на поля без края —
вот он, труд его! налицо!

Рано списывать нас со счета.
Он не зря трубил день-деньской,
ишь, смеется с доски Почета
среди площади городской!

Хоть одна рука и в перчатке,
сила есть еще во второй,
зубы тесные, как в початке,
хоть и траченные махрой.

От солдатского костерка,
закопченного котелка,
именной оловянной ложки,
уцелевшей после бомбежки,
есть пошла наша дружба
(и пить пошла!) —
с ней солдатская служба
не так тяжела.
За торжественным варевом
мы сидим, разговариваем
про былые года.
И такое за чаем
блаженство вкушаем,
как никто лет за тыщу
не вкушал никогда.
Про духовную пищу
не скажешь — еда!

А беда —
коли зубы на полке!
Еще в памяти у людей
горький хлеб тех лет,
тот пайковый хлеб
и голодные толки
очередей...

Свят хлебушек, свят!
Хоть и грешны бывают,
кто его добывают,
ночей не спят,
как на фронте.
И неловко бы вроде
говорить про стихи,
что и мы, мол, пахали,
то бишь — орали:
ведь и мы от сохи!..

Да и что за дележка,
если оба в живых,
и цела эта ложка —
одна на двоих,
и слоются в подклети
седые вихры
самой дружной на свете
солдатской махры.

Игорь Жданов

ИППОДРОМ

У загнанных
Выигрывать не трудно,
Когда трибуны взрывают трубно,
Когда толпе по праву фаворит.
У загнанных выигрывать не стыдно,
Им — загнанным — нисколько не обидно,
Что главный тренер вытурить грозит.
У загнанных
Выигрывать не надо!
У них своя последняя отрада,
У них свои предчувствия и сны.
Дается им за все

одна награда —
Осенний свет, сиянье листопада,
Сентябрьские созвучия весны.

У загнанных
Выигрывать не ново:
Не каждому счастливая подкова,
Не каждому надежная узда...
Шли лошади размеренно и плавно,

И пал туман,
и пела Ярославна,
И всем светила добрая звезда.
У загнанных
Выигрывать нелепо:
Они у вас не отбивают хлеба,
Не отнимают ленты и цветы.
Им — загнанным — видны такие бездны,
Так с ними завсегдатаи любезны, —
Они со всей вселенною — на «ты».
Вот он идет —
Морщинистый и легкий,
Ведет коня седого на веревке,
Он — проигравший — все-таки живет...
Стоите вы
и ваши полукровки
И знаете:
напрасны тренировки,
А главный тренер
семечки грызет.

Александр Жаров

ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ

Ночь звучит, как дневное эхо.
И во сне, словно наяву,
Все мне чудится,
Что приехал
Я в родную мою Москву.

Крики радости рассыпаю
И в таежной
Приморской мгле
В сновидении я ступаю
По московской моей земле.

Снежной скрипкою
Гул пространства,
Побежденный, поет в крови.
Принимай, Москва, постоянство
Безраздельной моей любви!

Ты везде. Далеко-далеко
Проникает
Твой зоркий взгляд...
Люди в бухтах Владивостока
Неприступность твою хранят.

Всюду
Пыль вековой хмури
Смел строительный ураган.

Не Москва ли в миниатюре —
Забайкалье, Балей, Алдан?

На хрустальной воде Байкала
Сквозь прибрежные кружева
Предо мною
Не раз играло
Отраженье твое, Москва...

Так сплеталась с воображеньем
Ярко-солнечных бликов сеть.
Город мой!
За твоим движеньем
И фантазии не поспеть...

Вот — иду по долинам света,
По проспектам твоих побед.
И у самого Моссовета
Голосую
За Моссовет.

Мчится поезд. Колесный грохот
Выговаривает слова:
«С добрым утром, моя эпоха!
С добрым утром,
Моя Москва!»

Павел Железнов

7 НОЯБРЯ 1918 ГОДА

*(Из воспоминаний коменданта
Кремля П. Д. Малькова)*

Когда бежали юнкера
и след их скрыл туман,
в Кремле стоял среди двора
чугунный истукан.
Хоть падал снег,
хоть дождь хлестал,
хоть лед внизу, хоть грязь, —
он попирал свой пьедестал,
над всеми возносясь...
Но — в год
со дня, что на века
запомнила Земля, —
вождь Октября и весь ЦеКа
шли через двор Кремля.
И, поглядев на постный лик,
Ильич спросил друзей:
«Чем, кроме роста, был велик

великий князь Сергей?»
Смутился комендант:
«Глаза
мозолит всем злодей!
Давно убрать бы приказал,
да — не найти людей». —
«А члены нашего ЦеКа
не могут вам помочь?
Несите нам канат,
князька
мы сами сбросим прочь!»
...Свердлов шутил:
«Все по плечу
Вождю рабочих масс!
Ну, а тиранов
Ильичу
свергать не в первый раз!»

Анатолий Заяц

* * *

Пусть снова судьбу нам предскажет
Последний, по осени, гром.
И время нам на душу ляжет
Огромным таким сентябрем.

И пчелы летят с медосбора
Не роем весенним, а врозь,
И виснет, и ищет опоры
У нас виноградная гроздь.

И нет —
Ни тележного скрипа,
Ни гула турбин с высоты,
А только безлистная липа,
А только задумчивый ты.

Лишь птицы взлетают со звоном,
Чтоб скрыться за синим бугром,
Как молодость наша
За Доном,
Как наша любовь
За Днепром.

Пространство молчит полевое,
Гусиные плачут стада.
И лес расстается с листвою,
И кажется, что навсегда.

И кажется
В горестном шуме

Волны, где у речки изгиб,
Что кто-то любимый наш умер,
Что кто-то напрасно погиб.

И плечи от мысли согнутся,
И крик улетит в небосвод:
Вдруг милый не сможет вернуться,
А снова немилый придет.

И словно случайно увидел
Ту правду без всяких прикрас,
Как кто-то кого-то обидел
И кто-то кого-то не спас.

От грусти ракита трепещет, —
Но все же заметь на заре:
Озимые зеленью блещут
И это, заметь, в сентябре.

От этого времени хода
Нелегкие видятся сны.
И страсть как бывает охота
Дожить в сентябре до весны.

Чтоб эти прекрасные дали,
Вернув и тепло и любовь,
Тебя молодым увидали
Хотя бы когда-нибудь вновь.

Станислав Золотцев

ТРИ ГОРОДА

Подзолот пашен, свежестью озер,
былинным зовом башен и соборов
и терким духом яблочным пронзен,
овеян, зачарован первый город.
Там — детства сны, звенящие коньки,
гнедые кони, гулкие станки.
И первых поцелуев жгучий солод.

Второй — окутан дымкою сырой.
Но в нем жилось не сумрачно, не сыро,
когда на крыльях юности носило
рабочей и студенческой порой
меня по островам под невским ветром

Он создан моряком и геометром,
гранитный трон поэзии живой.

А третий, что когда-то третьим Римом
был назван, — стал сегодня лишь собой,
необозримым и неповторимым.
Все голоса его наперебой
звучат, звенят, но суждено им слиться
в единое по имени — столица.
И в ней сегодня слышен голос мой...

Три паруса. Три вехи. Три магнита.
Три города земли моей родной.
Я петь их буду вольно и открыто,
пока дышу под солнцем и луной.

Марк Кабаков

* * *

Давай, атомоход,
Дави к чертям преграду!
Угрюмые поля
Прессованного льда.
Реактор у тебя работает что надо,
И в контурах не зря беснуется вода.
Давай, атомоход!
Я видел, как прижался
Малютка сухогруз
К твоим стальным плечам,
Как ты его тащил,

Как делал галс за галсом,
Окалывая лед,
Чтоб не озорничал.
Но даже и тебя заклинивает поле,
Заклинивает так, что душу холодит!
И, розовую пасть
Разинув поневоле,
На чудище во льдах медведица глядит.

Архипелаг Норденшельда

Павел Калина

БЕРЕЗА ВО ДВОРЕ

А у нас во дворе городском
Есть береза — по самую крышу.
Летней ночью за звездным окном
Я шептанье ветвей ее слышу.

Зимним утром, когда мой сосед
Примеряет упругую лыжу,
Выходя из подъезда на свет,
Я ее очень белой вижу.

И она среди каменных плит
В неудобной, наверное, клети

Словно снежная баба стоит,
Что слепили веселые дети.

В этой жизни, что малость шумна,
Что делами меня замотала,
Сколько раз забывалась она,
Сколько раз мимо дум пролетала!

Лишь на юге, в аду отпускном,
Вспоминал я под ветками граба,
Что у нас во дворе городском
Не растаяла снежная баба...

Николай Карпов

* * *

Не только свежесть, и прохлада,
Да из ручья глоток воды —
Мне лес как высшая награда
За все невзгоды и труды.

Я воспитал в себе привычку
И все, что найдено в лесу, —
Перо, цветок и песню птичью —
Домой торжественно несу.

И на моей нескладной полке
Лежит несметное добро:
Чудной сучок, и лапа елки,
И птицы редкостной перо.

И как вершина накопленья
Даров земли моей сырой,
В душе хранится птичье пенье.
И прорывается порой...

МОСКОВСКАЯ ВЕСНА

Многоточие почек раскидала ветла,
Горький тополь насытился соком.
Мне милее всего городская весна
Открываньем заклеенных окон.

Для чего теперь рамам торчать, словно
щит?
Пусть крошится облезлая краска!
Под веселой рукой крестовина трещит,
Облетает сухая замазка!

А за окнами — гомон, галдеж, щебетня,
Старый быт получает отставку,
И, как после войны боевая броня,
Лед со снегом идут в переплавку.

Позолоченный луч, словно блестящая нить,
Обшивает узором дома и растенья.
И торопится сердце соединить
Ожидание и нетерпенье.

Александр Коваль-Волков

* * *

В магазине Военторга,
На Калининском проспекте,
Ленты орденские, планки
И колодки продают.

Две российские мадонны
Подбирают их любовно.
Очередь течет потоком.
Нескончаем тот поток.

Люди с выправкой военной,
Возрастов войны последней,
Боевые ветераны
Вереницею идут.

И в погонах старших званий
Пожилые офицеры.
И героев миллионы,
Не вернувшихся с войны...

Две российские мадонны
Ленты орденские, планки
Подбирают им любовно,
По заслугам фронтовым:

Ордена солдатской славы,
Чаще звонкие медали
В честь чужих столиц спасенных
И героев-городов.

В этой очереди длинной
Где-то я стою мальчишкой,
Мне положены медали
За Варшаву и Берлин.

Очередь течет сквозь годы
Нескончаемым потоком.
Удостоилась награды
Вся родимая земля...

Кирилл Ковальджи

БАЛЛАДА

Как я жил? Я строил дом
на песке. Волна смывала.
Только в детстве — горя мало,
если можно все сначала
и неважно, что потом...

Шел по жизни с другом рядом,
с женщиной встречался взглядом,
оставался с ней вдвоем:
занят был одним обрядом —
возводил незримо дом.

Шла война стальным парадом
по садам и по оврагам,
двери высадив прикладом,
сапогами, кулаком...

Что я мог? Я строил дом,
спорил с холодом, огнем,
снегопадом, бурей, градом,
смертью, голодом, разладом,
одиначеством и адом:
что б ни делал — строил дом,
чтобы дети жили в нем,
чтобы женскою улыбкой
он светился день за днем...

Стены дома в жизни зыбкой
я удерживал с трудом.

Парадоксы — аксиома,
это женщине знакомо,
той, что за и против дома,
что бунтует и в тоске
молча делает проломы
в стенах и на потолке.
А еще — взрослеют дети
и мечтают на рассвете
дом покинуть налегке...
Я любим, и ты любима,
злые ветры дуют мимо,
но душа неизъяснима,
снится — строил на песке...

Я меняюсь вместе с домом,
он просвечен окоемом,
дом висит на волоске,
он спасется — невесомым,
рухнет, если — на замке.

Я хожу теперь по краю,
ничего теперь не знаю,
но скажу перед судом:
я был прав. Я строил дом.

Яков Козловский

К ВЕРШИНАМ УСТРЕМЯСЬ

К вершинам устремясь,
Летим на холм с холма.
Дорога словно вязь
Грузинского письма.

Под небом этих мест,
Тому немало лет,
Как с лучшей из невест
Венчался наш поэт.

Имела добрый нрав,
Прекрасна и нежна,
Его женою став,
Грузинская княжна.

Но вскоре весть летит,
Пред нею засты свет:

Он в Персии убит,
Посол наш и поэт.

Шептала вновь и вновь,
Когда за гробом шла:
«Зачем моя любовь
Тебя пережила?»

Шестнадцать было ей
В год свадьбы роковой,
Но до скончанья дней
Осталась вдовой.

Мы платим, не скупясь,
Дань горю от ума...
Дорога словно вязь
Грузинского письма.

Виталий Коржиков

КРАСНЫЙ СЛЕД

В спину — дуло, штык — к лицу,
Черный глаз, надзор негласный —
Все кричало вслед отцу:

— Красный!
— Красный!
— Красный!
— Красный!

Красный прапор в двадцать лет,
Алый бинт по всей рубахе,
Красный конь — сквозь годы бед
И звезда среди папах!

Да, огонь его примет
Озарял миры и царства —
Раскаленный чистый свет
Огненного комиссарства!

Черен хлеб, и горек лук.
Но какая огнекрылость!

Мне с отцовских добрых рук
Площадь Красная открылась!

И простерлись — в вечный дар, —
Льющийся многоплеменно,
Демонстраций наших жар,
Строек гулкие знамена.

Как нас метило войной —
Черной, горькой, без привала,
Сколько черной именной
Время соли выдавало!

Все прошло. Но с детских лет —
Самый чистый, самый гласный —
Все не меркнет этот след —
Красный-красный,
Красный-красный...

Артур Корнеев

БЕСПЕЧНОСТЬ

С морокой всяческой не лада,
я дар беспечности — хвалю!
Ведь он, по крайности, не даден
ни хитрецу, ни куркулю.
В моем родном краю рабочем,
испеленном на войне,
я сиротою был не очень,
но пролетарием — вполне!
Мне думать в муках и метаниях
про то, как жить,
что есть и пить,
не позволяло воспитание
мое такое, стало быть.

Я был и в юности беспечен —
среди металла и огня.
Тогда мартеновские печи
дышали свойски на меня.
Огнеупорность в теле крепла!
Лицо слегка прикрыв плечом,
я мог войти в любое пекло
и там не печься ни о чем.
Я жизнь свою вверял бригаде,
ее уму, ее рулю..
С самим собой давно не лада,
я дар беспечности — хвалю!

Владимир Костко

БЕЛАЯ НОЧЬ

То ли это мне привиделось
Иль из детских снов пришло?
Нет, взаправду ночка выдалась,
Что, как днем, светлым-светло.
Посмотри, как ярко светятся,
Попрозрачней ранних рос,
Просто сами, не от месяца,
Блузы белые берез.

Ручеек лучит сияние.
Обозначен каждый куст.
На большое расстояние
Слышен шепот чых-то уст.
А роса такая спелая!
Свет высокий, свет живой!
Ночь бредет, как лошадь белая,
Голубой хрустя травой.

Татьяна Кузовлева

* * *

Мне этот дом не чужой:
Нет в нем и тени гордыни.
Все, что держу за душой,
Здесь оставляю я ныне.

Только шагну из дверей,
Встану у рамы оконной —
Взглядами двух матерей
Я молода и спокойна.

Мне ли не сын тот юнец,
Приговоренный к дорогам,
Белый совенек, птенец,
С нигилистическим слогом?

Мне ль тот мужчина не брат:
Труженик, полубродяга,
Строящий жизнь наугад —
Словно от шага до шага?

Мне ли и ты не сестра?
Нет в нашей крови родного.
Разных оттенков игра
В каждом значении слова.

Вот пред тобою черта,
До сумасбродства крутая.
Где же твоя высота?
Грешница ты иль святая?

Обнажена до души.
(Как мне те слезы знакомы!)
Ты бы погибла в тиши —
Я бы устала от грома.

Сколько событий вместишь
В непродолжительность суток!
Как же ты ярко горишь, —
Господи, я не могу так.

Все же, взглядишь, наша суть
Сестринской стянута болью.
Ты про любовь не забудь —
Что без нее наша воля?

Все, что мое существо
Делит с тобою и с миром,
Все я беру у него —
Все мне даровано милым.

И потому говорю
(Разве и ты не такая?):
Только бы по январю
Шаг его пел, не смолкая.

Только горел бы огонь,
Только бы плакало слово,
Только б родная ладонь
Голову гладила снова.

Владимир Лазарев

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЕННОМ КАПЕЛЬМЕЙСТЕРЕ ИЛЬЕ ШАТРОВЕ

Вот он вращается, вот он возник,
Черной воды чуть блистающий диск.
Кружится, кружится вальс над водой:
«Тихо вокруг, сопки покрыты мглой...»

Белой луны не меняется лик.
Грозной войны изменился язык.
А над водой, над водой, над водой
Вновь капельмейстер возник молодой.

Это над стаей притихших ветров
Встал он, Илья Алексеич Шатров,
Полузабытый людьми офицер,
Вальс сочинивший на старый манер.

Ах, как летит и скользит над водой:
«Тихо вокруг, сопки покрыты мглой...»
Снова война превращается в быт,
И капельмейстер надолго забыт.
Счастье его еще, что не убит.

Нет, нас не сломит земная юдоль.
Словно родник, прорывается боль —
Слышно сквозь пепел второй мировой:
«Тихо вокруг, сопки покрыты мглой...»

Будет звучать оркестровая медь.
Тенор в саду городском будет петь.
И, не сдержавшись, у всех на виду

Мальчик заплачет вдруг в третьем ряду.
Память тревожно забьется в груди,
Все еще, все еще, все впереди...

Кружатся, кружатся диски морей,
Кружатся, кружатся судьбы людей.

Птицей летит капельмейстера жест.
Влажно звучит, как сквозь дымку, оркестр.
Сколько их было во веки веков,
Русских, морских и пехотных, полков!
И над забвеньем, над сном, над судьбой:
«Тихо вокруг, сопки покрыты мглой...»

Григорий Левин

РОСТОВ ЯРОСЛАВСКИЙ

Народ сотворил руками
Из храмов великий град.
Он камень ставил на камень,
Почище царских палат!

Из храма во храм проходим
По мостикам перекидным,
Как будто часы заводим
Все сразу — заводом одним...

Врагом в боях не поборот,
Взнесен великим трудом,
Тот дивный храмовый город —
Единый как будто дом!

Забуты богатые вклады,
Забуты князья и цари,
Но высятся эти громады —
России самой алтари!

Александр Ливанов

* * *

Ты, видно, задумал меня позабавить
И к морю мой парус сердечный направить —
Высокая мачта, баркас просмоленный,
И солнце и море — спасенье влюбленным.
Я знаю отлично, к чему ты все клонишь, —
Те годы, мой друг, не вернешь, не догонишь,
Где с томиком Блока, с манеркой латунной
Бродил по земле я веселый и юный,
Лечил примуса, вдохновлялся гитарой,
За корку ржаного, а чаще задаром.
Меня искушаешь простором и далью,
Попробуй поспорить с мужскою печалью,
Попробуй у сердца отнять ее грубо,
Взамен не давая любимые губы,
Любимые руки взамен не давая —
Попробуй поспорить, —
Затея пустая!..
Я сам приучал себя к хитрой измене —
Подменивал образ, придумывал тени —
Но каждая тень была точно такою,
Как женщина та, что потеряна мною.
Ты пишешь про ветры, что мчат с океана,
Про горы за синею дымкой тумана,
Про грозы лесные, про бурные реки —
А я ведь грущу о живом человеке.

Марк Лисянский

ПЕРЕД КАРТИНАМИ СТАСИСА КРАСАУСКАСА — ИЗ ЦИКЛА «ВЕЧНО ЖИВЫЕ»

Вот она, земля в разрезе —
На крови и на железе.

Воин спит в земле сырой,
А над павшим — пир горой.

Навсегда они живые,
Те, кто спят в кромешной мгле,
Потому что молодые
Жизнь справляют на земле.

Каждый занял свое место —
И погибший и живой.
Обнимаешь ты невесту,
Он в обнимку спит с землей.

И на всех рисунках —
Тот же

Павший воин, как во сне,
На своем последнем ложе
В черноземной глубине.

У художника спросили:
Почему среди утрат
Много жизней, а в могиле
Тот же самый спит солдат?

Может быть, признайся, этим
Облегчаешь труд себе?..
И художник так ответил
Сразу людям и судьбе:

Жизнь во всей красе и силе
На земле, где любят нас.
Это я лежу в могиле,
Сам лежу я каждый раз.

Евгений Лучковский

* * *

Кот выгнул страдальчески спину,
А все потому,
Что сейчас
Циклон над Антарктикой сдвинул
Воздушные массы — у нас.
И ветер, подувший законно,
В высоких широтах возник.
В предчувствии антициклона
Прохожий поднял воротник.

Ветров экзотических роза
За тридцать чьих-то земель

Сулит наступленье мороза,
Бураны, тайфуны, метель.

Мы все это видим и слышим,
Неужто не ясен намек.
Давай-ка, дружище, над крышей
Запалим наш теплый дымок.

Таких обстоятельств стеченье
На нервы не действует нам,
Ведь теплые, в общем, течения
Противостоят холодам.

Майя Луговская

* * *

В кольце весны, в кольце надежды,
Когда трава заколосится,
Разлечься с праздностью невежды
На пестром подмосковном ситце.
Срывать вокруг солнечного диска

Лучи ромашки, не без риска
Поверить лепестку удачи, —
Откинув тридцать лет, — как прежде.
Ведь время ничего не значит
В кольце весны, в кольце надежды.

Владимир Матвеев

ИДУТ УЧЕНЬЯ...

Когда ночная канонада
Разбудит, стеклами звеня,
Ты вновь, не отрывая взгляда,
С тревогой смотришь на меня.

Идут ученья до рассвета —
Уюта рвется тишина...
А может, это, может, это
И впрямь нагрянула война?

Шаги ее в сознание живы —
Гром тишиной не заглушить.
И я готов идти под взрывы,
Чтоб нашим детям мирно жить,

Чтоб вырастать веселым внукам
Под нежный говор тополей...
Скажи мне: с прошлым ли разлука
Или с грядущим тяжелей?

Александр Медведев

СТРОЙКА НОЧЬЮ

Бетонных башен темная гряда
стоит по грудь в нахлынувшем тумане.
Вдали кричат спросонья поезда
и вздрагивает эхо в котловане.

Здесь глины древние обнажены,
но истина, открывшаяся грубо,
не взыскана никем, и не нужны
ни горький пот, ни солеварен срубы.

Вот здесь, гляди, грядущее встает!
В стеклянных трубах кровь его помчится.
Все выше металлический восход
свои крыла подьемлет, точно птица.

Нет! это ты, ты сам встаешь вот здесь
и зренью новому велишь: откройся!
И сталь гудит. Ты полон дрожью весь.
Свет занимается. Гляди, гляди ж, не бойся.

Павел Мелехин

* * *

Безмолвна Яуза во льду,
Промерзшая до дна.
На берег утренний взойду —
Река и не видна.

Уже оттаяли холмы
И дышат за спиной,
А здесь — хранилище зимы
Блестит голубизной.

Отскакивает от слюды
Припая
луч зари,

И веры нет, что эти льды
Взломают изнутри.

Одна надежда, что ручьи
Напольной чернотой
Затопят в мартовской ночи
Остекленелый слой.

А там и солнце, без вреда
Для русла, поднажмет:
По черному оно всегда
Сильнее как-то жжет....

Юрий Мельников

ГНЕДОЙ

Я был на фронте офицером связи,
Имел по штату при себе коня.
К передовой
По снегу ли, по грязи
С пакетом в штаб — он лихо мчал меня.

И я в седле, склоняясь над черной гривой,
Скакал не раз сквозь дым и сквозь огонь.
Не подводил меня мой непугливый,
Со звездочкой на лбу, гнедой мой конь.

Мы с ним Победу встретили, осилив
Врага в чужой немецкой стороне.
И возвращался с фронта я в Россию
Верхом на этом боевом коне.

...Цвела весна. В полях синели дали,
И увидал я тут издалика,
Как на коровах женщины пахали.

И мы колхозу отдали Гнедка.

...Случилось так, что как-то поздним летом
Попутно, хоть и дождик моросил,
Я снова побывал в колхозе этом
И о судьбе гнедого расспросил.

Сказали мне, что нет Гнедка в помине,
А был горячим,

работающим конь...

Он подорвался в мирный день на mine,
Пройдя войну сквозь дым и сквозь огонь.

Юлий Михайлов

ГОРОДОК

Вот вы знаете что?
Вот вы попробуйте,
выйдите
к нашей маленькой пристани.
Кажется, что там такого —
река, и вода, и волна...
Но взгляните попристальней —
и в реке вы увидите,
вы увидите море,
куда и впадает она.
На реке — городок,
городок наш зелененький,
наш районненький,
город как город,
а река — это пресной воды запас.
Но взгляните внимательно —
и тогда обязательно
вы полюбите город зеленый
и в нем вы заметите нас.
Если вы бережете глаза свои,
а к реке вы бредете, как заспанный,
воздух носом понуро гребя,—
то напрасно к реке этой выйдете,
ничего вы в реке не увидите,
разве только что сами себя!..

В БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

Города оставляют солдаты,
Генералы берут города.

Александр Твардовский

И в музеях и в комнатах Славы
редко встретишь солдатский портрет.
Не солдаты великой державы,
там творцы их великих побед.

Где лежат фронтовые бумаги,
ордена, и мундир, и дары,
неуместны солдатские фляги
и расшитый кисет для махры.

Несекретными стали приказы
постепенно,
за давностью лет.
И лежит не стрелявший ни разу,
но свидетель побед
пистолет.

А на узкой полоске плацдарма,
где геройски погиб батальон,
нет комбата,
а бюст командарма
над низиной речной вознесен.

Так уж издавна, видно, ведется:
где был штурм,
где замкнули кольцо,
узнаем мы в лицо полководца,
а солдат не узнаем в лицо.

И напрасна, конечно, тревога,
и сердиться конечно же грех,
ведь солдат-то,
их было так много,
что в лицо не запомнишь их всех.

Но вот здесь уникальное место,
потому что здесь можно узнать
имена всех защитников Бреста,
всех, его штурмовавших опять.

Сорок первый.
Начальная дата.
Первый подвиг и воинский труд.
Города оставляют солдаты,
а потом их обратно берут.

Олеся Николаева

* * *

Когда беременела теплая земля
И треснувшей губою пить просила,
Тяжелой, плотной стала тень моя,
И я дитя под сердцем проносила.

Тугим, как шар, был воздух золотой,
Растягивались, плавали, тонули
И задыхались гласных полнотой
Слова
И к утайтельству тянули.

Томилось «О»,
Прислушивалось «У»,
Искало «И» и воли, и покоя,
Да выло «Ы»,
Да спрашивать судьбу
Боялось «А»,
Да «Э» вело рукою...

Хотелось бликов, ласточек, стрекоз,
Чтобы пространству плакалось и пелось,
И шепота, и шороха, и слез,
И бабочки,
И бабочки хотелось.

Елена Николаевская

* * *

Земля обнажена. Едва-едва
Местами пробивается трава.

На просеках лесных, в просветах рощ
Мох стелется и выключнулся хвощ.

На кочках, на колдобинах, во рву
Высматриваю — не плакун-траву,

Ту, от которой в царстве тишины
Заплачут ведьмы, бесы, колдуны...

Ищу в овражках не кликун-траву:
Сама того, кто нужен, позову...

Тянулся день.
Дремали петухи.
Текли стада.
Чуть шевелилось дело...
Земля лежала, зализав грехи,
Печальными глазами вдаль глядела.

Но никогда еще так не была
Она грозна, страшна своим сияньем,
Так глупо, непростительно мала
В одышке душной,
В тесном одеянье.

День продолжался.
И толпа текла,
Суровость лиц под солнцем не смягчая,
Бессмысленно глазами из стекла
Смотрела, ничего не замечая.

Она несла квартир и смрад, и хлам,
И шамканье, и шиканье, и тленье...

И вдруг на миг
Привиделся мне там
Ты — первенец мой,
Ты — мое творенье!

Не дарящую клад разрыв-траву:
Без кладов я жила — и проживу...

Не камнеломку, что крушит гранит,
Не приворот — гордыня не велит...

Мне кажется, во сне и наяву —
Всю жизнь ищу я оберег-траву —

От лиха, от напасти, от потерь:
И я должна ее найти теперь —

Во что бы то ни стало, хоть убей! —
Траву от порчи и от всех скорбей.

Николай Новиков

ПРОГУЛКА ПО СИВЦЕВУ ВРАЖКУ

В этот вечер весенний
В пальто нараспашку
Хорошо прогуляться
По Сивцеву Вражку,
Речки Сивки сберегшему след.
С Огаревым над нею
Расхаживал Герцен,
И Аксаков приятелей
Ростбифом с перцем
Славно потчевал после бесед.

Ах, какие здесь речи
Когда-то звучали!
И какие понятия обозначали...
Сколько марамо черновики!
Друг мой, сколько, наверно,
Прекрасных историй
Дом любой рассказать нам способен,
Который
Сохранился от прошлых веков.

Здесь не месяц один,
Не квартал, не полгода —
Здесь веками едва ли
Менялась погода,
Здесь почти не менялась Москва...

Поглядим, как закат
Догорает багрово
Вдалеке от густого
Моторного рева,
Как из трещин восходит трава.

Жизнь в движенье —
В противном и не уверяй нас!
Но зачем же при этом
Впадаем мы в крайность,
Разгоняясь Садовым кольцом,
Где давно ли изжита садовая поросль,
Где, гудя, грохоча,
Оглашенную скорость
Наворачиваем колесом?!

Надоело куда-то нестись
Непоседам,
Наконец истомилась душа
По беседам,
По общенью при помощи слов...
Не пройтись ли нам, право,
В пальто нараспашку
В этот вечер весенний
По Сивцеву Вражку,
Где когда-то гулял Огарев?

Нина Новосельнова

ОСТАНКИНО

Зажемчужнели под вечер,
Синевато-розовы,
Словно в снежном храме свечи,
Заросли березовые.

А за рощицей — дубрава
Вышла разворотами,
Как старинная оправа,
Бронза с позолотой.

Вдоль дубравы, в перезвоне,
Сытые да быстрые
Мчатся кони, мчатся кони,
Медалисты с Выставки.

Пристяжные серой масти,
Выгнув шеи, снег едят.

Ах, какое это счастье —
Грудью резать снегопад!

И когда промчатся сани,
Стихнут звоны на пруду,
Я неспешными шагами
Парк знакомый обойду.

...Были танцы, песни, игры,
Золотые вечера.
Где ж вы, мальчики с «Калибра»,
Работяги, мастера?

Ожениться не успели,
Лишь подружек завели,
Ремешком стянув шинели,
В ополчение ушли.

На далеком полустанке,
Под разрывами гранат
Вспоминал свое Останкино
Молоденький солдат.

А ведь, может быть, за Каменкой
Не гнуть ему ракит?
А быть может, в гулком пламени
Он под Крюковым сгорит?

...Вдоль дубравы — в перезвоне,
Сытые да быстрые
Мчатся кони, кони, кони,
Медалисты с Выставки.

Вот опять промчались санки,
Перезвон и говор стих.
Помянем теперь, Останкино,
Защитников своих!

Лада Одицова

МАТЬ У ЗЕРКАЛА

У зеркала остановилась мать:
Лицо без возраста, косящее глазами,
И зеркало в резной старинной раме
Пред ликом матери почло за честь стоять.

Взяла она с трюмо бутон цветка,
И он раскрылся, вспыхнул синей астрой,
Вполоборота стала — и пространства
Прихлынула бессмертная река.

У зеркала остановилась мать;
Запахла осень майскою листвою.
Куда ж берешь ее ты, время злое,
Она всегда вот так должна стоять!

Владимир Осинин

МОЕ ИМЯ

Казалось, вечно дождик моросил.
Кустарники да заросли осота...
Забыть бы их, но не хватает сил,
Те Куликовы ржавые болота.

Молчунья хата обнажила швы,
Не раскрывалось пыльное оконце.
Как глаз расплавленный совы,
Мутнело сквозь дерюгу солнце.

Всю жизнь меня какой-то душный шквал
Бросает в неосознанное детство...
Отец как слег зимою — и не встал,
Оставил только имя мне в наследство.

Там я родился — в «чертово» число,
У матери тринадцатым по счету.
И все же мне, наверно, повезло, —
Молиться б надо мне тому болоту!

Я вырвался из лапщ сыпняка
И не ослеп от мрака и трахомы,
Ни хлеба не видал, ни молока —
От кислых ягод на зубах оскома.

Я появился в тот декабрь на свет,
Когда неотвратимо, как стихия,
Одна из самых тяжких бед
Свалилась на притихшую Россию.

И, ничего другого не найдя,
Повесив свои головы в печали,
Простые люди именем вождя
Сынов своих повсюду называли...

Отец, я так признателен тебе
За то, что в этом мире накаленном

Я чувствовал себя к большой судьбе
Самою правдой жизни приобщенным.

Владимиры, мы — будто целый класс.
Нам славить землю и дела на ней.
Сегодня в мире миллионы нас —
И нету братства этого сильней.

Ирина Панова

* * *

Было жарко. Воды бы напиться...
Попросила и помню ответ:
«А какой ты желаешь водицы? —
улыбаясь, спросил меня дед.—
Три воды есть, но с разной повадкой,
как моя говорила кума.
Может быть она горькой и сладкой,
а про третью — узнаешь сама».
Без разгадки ушла неохотно,
а теперь наконец поняла,
что бывает вода — приворотной.
Я ее не однажды пила.
Где же диво такое хранится?
Но источник — у каждого свой.
Он в ручье, в роднике и в кринице,
что у пыльной дороги степной,
где мы жажду свою утолили
и набрали во фляги запас.
Ну, а если о нем вы забыли,
значит, эта вода не про вас.

Анатолий Парнара

КАКОЙ У МАМЫ ГОЛОС МОЛОДОЙ

Домой иду с работы утомленный,
Гляжу на мир, вечерний и зеленый,
И различаю зреньем долгий ряд:
Как шутят, как грустят, как говорят.
А в сердце с удивленной простотой:
— Какой у мамы голос молодой!

Иду из школы с маленькой дочуркой,
Отшучиваюсь от вопросов шуткой.
Она смеется, звонко и легко,
Как будто льется струйкой молоко.
А в душу бьет пронзительный прибор:
— Какой у мамы голос молодой!

Ах, сколько лет он в пониманье нашем
Был добрым или резким, но погасшим.
Замученный то давнею войной,
То братом, то отцом моим, то мной,
То горькою сердечною бедой:
— Какой у мамы голос? Молодой?

А вот сегодня с дальнего балкона
Раздался голос, звонкий и влюбленный.
Не сразу понял, что принадлежит
Он матери моей. Взглянул в зенит,
И вдруг вошло с пронзительностью той:
— Какой у мамы голос молодой!

Вадим Перельмутер

ТРОПА

Тот каменный дом под горой,
Лишь в полдень исполненный света,
Минуемый здешней жарой
На всем протяжении лета...

Под утро, почти в темноте,
Хозяев не беспокою.
Ступени сбегают к воде,
А далее путь — над водою,

Как часто бывает во сне
И вовсе не часто — на деле.

Еще не осела во мне
Усталость движения к цели,

Еще не свершилась строка,
Живущая только изустно,
Еще по недавнему руслу
Взбирается в небо тропа.

Дыханье трудней и короче...
И мне среди этой поры
С горы говорить с тобой... Впрочем —
Твой дом у подножья горы.

Геннадий Петров

ЛИЦО

Изваяли статуи,
Чтобы навсегда
Помнились двадцатые
Славные года.

Сделан вечный слепок
Для грядущих лет.
Наших пятилеток
Вырублен портрет.

В бронзе и граните
Запечатлены
Люди и события
Мира и войны.

И под гром и грохот
Вновь своим резцом
Трудится эпоха
Над твоим лицом.

Ольга Постникова

ВО ДВОРЕ, У КРОПОТКИНСКОЙ...

Эти вещи простые
в начале земного покоя.
Этот нарост древесный,
ствола благородный изъян,
Этот льнувший к ноздрям,
опьяняющий запах левкоя
И особая легкость
похожих на весла семян.

И в потемках подъезда
летающей лепной колесницы
Бесконечный разбег
над спокойствием пыльных часов,

И в промерзшую рань
это теньканье желтой синицы,
Колокольчик наивный,
нездешний, чуть слышимый зов.

Это теплого шепота придых
над пальцами зяблыми,
А чугунные листья
раскрылись к далекой весне.
И растет во дворе,
у Кропоткинской тайная яблоня,
В самом центре Москвы
остается нетронутый снег.

Алексей Прийма

СТОП-КАДР: ВУЛКАНОЛОГ КОЛЕНЬКА

Около полуночи проснусь — что за бр-р-р?
Пулей вылетаю из палатки. А там
рубят подземельные пары — топоры! —
моего приятеля Кольку по ногам.

И на склоне кратера — разор и погром.
И свистят булыжники прямо у плеча.
Накрывает Кольку бомбовым ковром,
а Коленька на пяточках по-ка-чи-ва-ет-ся...

А Земля, как в зоопарке, тихо рычит,
и плюет со злости она до небес.
И стоит он около — прозрачный почти! —
весь паранормальный, мистический весь.

Я роняю компас и теодолит,
и ору я в рупор: «Смываться пора!»
А он мне говорит: «Прекрати,— говорит.—
Все в порядке, парень. Работать пора».

Алексей Пьянов

* * *

Политрук Пьянов под Сталинградом
В штыковой атаке был убит.
Скромные отцовские награды
Мать в комодке бережно хранит.

И когда по случаю Победы
Надевает ордена страна,

Вспомнив наши горести и беды,
Достает награды и она.

И глядят глаза ее незряче
На медали и на ордена.
И негромким материнским плачем
Снова в дом врывается война.

Геннадий Русаков

* * *

Плененье пчел на привязи стеблей.

Пчела от зимней спячки воскресает,
и пьет в горсти младенческий елей,
и над гремучей бездной повисает.

А там, внизу, — кузнечик-полотер,
паук, перебегающий по стропам,
никчемный мусор и бессмертный сор,
забытый при мелении потопом.

Вся эта мелочь — птицы и жуки,
точильщики, бронзовки, плодоярки,—
мосластые трудяги мужики,
за нами подбирающие корки!

Как мне у них упорство перенять,
осилить лёта детскую науку
и слюдяное перышко принять,
оборотясь, в подставленную руку?

Мы называем птиц по именам,
уходим, чтобы снова возвращаться.
Повремени — еще не нам, не нам
со всею этой малостью простаться!

Еще земля в строительных лесах.
Ну, так гляди в нее, запоминая:
дрожанье стропов, пчелы в волосах
и сотворенья стружка ледяная.

Борис Рахманин

МУЗЫКА

Бархатный полет полночных птиц...
Вьются, крик тоскующий роняя.
В лунном свете, падающем ниц,
— ребра

обгоревшего рояля.

И застыл прохожий на момент,
от волнения не находит места...
«Сжечь одушевленный инструмент?!
Значит, сирота он...»

Без маэстро...»

Ах, прохожий...

Сказка или сон?

Не унять тебе внезапной дрожи.
Ты виденьем странным потрясен,
даже чуть испуган...

Ах, прохожий...

Но к чему оно — стоять вот так
и без слез оплакивать потерю?

Соберись-ка, напрягись, чудак,
ты умен и всемогущ,
я верю!

Замершие звуки оживи!

Это будет, вот увидишь, кстати.

Ты

по именам их

назови,

крикни повелительно:

«Восстаньте!»

Чудо сотвори, коль так их жаль,
из любви, а вовсе не из блажи.
И возникнет, загудев, рояль,
с черным

поднятым крылом

лебяжьим.

И возникнет, заслоня свет,
чей-то острый и косматый профиль,
отнятый у ночи силуэт,
музыку творящий Мефистофель...

...Сон, сутулясь, кашляет в усы,
сказка белозубо веселится...

В хрупких углях, влажных от росы,
в светлом пепле

музыка таится.

Музыка, яви лицо свое,

Музыка, яви свой голос вещей!

Ах, прохожий,

слышишь ли ее?

В и д и ш ь л и е е ты,

человече?

Михаил Савельев

ГОРОДСКАЯ ОКОЛИЦА

Живу я у околицы столицы —
Как будто бы живу в краю чудес.
В окно моей распахнутой светлицы
Стучит лохматой лапой темный лес.

Серебряную мелочь гром чеканит,
Пригоршнями бросает на луга.
На гулких стропях башенного крана
Качается железная серьга.

В низине по утрам туман клубится,
Где речка, не одетая в бетон,
Живет как встарь, смеется и струится,
Кладет пески под пескариный гон.

И любо обонять, как в детстве раннем,
Осенний аромат сырой листвы.
Из перестарки деревушки тянет
Кострищами картофельной ботвы.

Услышу, как раскатисто, гортанно
Поет зарю невидимый петух.
Увижу, как идет селом Иваныч —
На всю Москву единственный пастух.

Куда с такой «профессией» податься —
Когда вокруг да около коров?
Придется, видно, брат, перековаться
На четкий цокот городских подков.

Давай с тобой, приятель, перекурим
И восклубим воспоминаний дым.
И о превратностях судьбы побалагурим,
Анафеме кручину предадим.

В названье улицы вошла твоя деревня.
Поверь: я много повидать успел...
Терять родное сердцу — самый древний,
Обычный человеческий удел.

Иван Савельев

* * *

Все, что открыто, принимаю.
Над тайной разум вознесло.
Себе и вам напоминаю,
Что время звездное пришло.

Себе и вам твержу упорно,
Как первоклассник, по слогам:
На нас глядит
Из бездны черной
Еще
Неведомое.
Нам.

Невидимое на орбите
Средь не проложенных орбит...
В нем с нами сходство не ищите —
Не сходство нас объединит,

А то, что в даях мирозданья
И на Земле у нас — одно:
Первоначальный дар познания.
Другого просто не дано.

Владимир Семенов

КОНТУЗИЯ

Я ранен и контужен на войне.
Пусть мирный день восходит, голубея, —
Война,
ты продолжаешься во мне,
Как продолжаю жить и сам в тебе я.

Война!
Все о тебе — из первых уст —
Не потому ли речь веду всегда я,
Что он —
Разрыва огненного куст —
В моем мозгу стоит,
не опадая.

С тех пор молчать я больше не могу:
Рождаются слова в его горниле —
В том пламени войны, —
В моем мозгу —
Родятся, чтоб уста их повторили.

Мои слова, что вовсе не красны, —
Тогда бы и заметить их не диво! —
Нет, добела они раскалены
В гремучем пламени того разрыва.

Давным-давно окончилась война,
Но чье-то сердце вспыхнет вдруг ответно,
Хоть яростная эта белизна
При мирном свете дня и неприметна.

Война!
Все о тебе —
Из первых уст —
Во мне горит, во мне слова итожит
Того разрыва огненного куст:
Он и теперь
других
контузить может.

Владимир Сергеев

РАССВЕТ

Каких не знали мы с тобою
Рассветов над своей землей?

Рассвет, трубой зовущий к бою,
Рассвет побудки трудовой,
Рассвет приветный и прощальный,
Надежды трепетный рассвет,
Рассвет на койке госпитальной,
Когда уже рассвета нет,
Рассвет в росе земли окопной,
Рассвет бессонного поста...

Рассвет победный или скорбный —
Судьба рассвета не проста.

И я,
живя в рассветной власти,
В делах, где каждый день велик,
И жизнь
и смерть,
и плач,
и счастье
С рассветом связывать привык.

Светлана Соложенкина

* * *

На белом пустыре — молчанье,
и детских валенок следы,
и чуть заметное качанье
сухой, узорной лебеды.

Кто здесь блуждал в лесу бурьяна
и видел солнца красный круг?
Душа проснулась слишком рано,
и вот — уж сумерки вокруг.

В житейской снежной круговерти
поймешь однажды в январе:
все люди — только чьи-то дети
на бесконечном пустыре.

Внезапной темноты пугаясь,
бегу... зачем, куда бегу?
Я в детский след ступать стараюсь,
но след теряется в снегу...

Лариса Сушкова

* * *

Неведомой умелицей, как бусины, нанизаны —
подвешены троллейбусы на лески проводов.
И светятся, и движутся, слепой дремоте вызовы —
живые ожерелья полных городов.
По замкнутым и ломаным — к неведомому лучшему.
И все — с полета птичьего, взлети и разглядишь —
огни раскрыв доверчиво случайному попутчику,
пронзив лучом осеннюю оттаявшую тишь.

Никита Сулович

22 ИЮНЯ

Мальчишки сорок первого, подъем!
Чужие сапоги грохочут в мире.
Зовет горнист, — он был убит в четыре.
Труба поет, и мы с тобой встаем.

Ночь самая короткая в году.
Рассвет над Бугом безмятежно ласков.
Роса июня на тяжелых касках,
И первый луч позолотил звезду.

Серп месяца растаял, невесом,
Его не сплющил орудийный молот.
Нас память обжигает, а не холод.
А на рассвете сладок детский сон.

Пусть дочка спит на первом этаже,
Пусть днем смеется, ищет землянику.

Рассветный час вторых ее каникул,
Но мне сегодня не заснуть уже.

Ровесники, вы слышите шаги,
Суровые, как траурные вести?
Вдоль всей границы в Лиепе, в Бресте
Сейчас солдаты встали из могил.

Нам не увидеть ни отцовских лип,
Ни гимнастерок, ни бинтов кровавых.
Но слышен шелест их знамен и славы
В недремлющем безмолвии границ.

Мальчишки сорок первого, во всем
Для нас то утро как завет осталось.
И нам судьба солдатская досталась.
И этот мир мы все-таки спасем.

Михаил Ганич

* * *

И были бессчетные бани,
С прожаркой и пеклом в парной,
И было купанье на грани
Наивного детства с войной.

В предбаннике,
Гулком от пара,
Стригут кучерявые лбы,
И жалостно чья-то гитара
В углу отпевает чубы.

А в моечной —
Гвалт здоровенный!
И в этот бесстыжий проем
Вхожу я,
Такой невоенный,
Как будто бы с мамой вдвоем.

И все, что за дверью,
За гранью,

Потом назовется судьбой,
А сзади — окошки с геранью
И наш патефон голубой.

Какая подробная мойка!
Но выдана пара белья —
И в зеркало смотрит небойко
Серийная внешность моя.

Зачислена писарем ротным
Сия гимнастерка за мной,
Спаленная солнцем пехотным
На ком-то отпетом войной.

Гляжу на себя — привыкаю,
Готов хоть в какие бои!
А сам рукавом промокаю
Последние слезы свои.

* * *

Погода ломалась. Безветрие с влажной жарой.
И хищная зелень. Похоже на крышу теплицы
Немытое, близкое небо. Гремело порой.
Но даже дождю в этот день не хотелось пролиться.

И ливень ленился. И лень было ветру вздохнуть.
Ленивые листья за окнами не шелестели.
И жажда дождя — вот, казалось, единая суть
Всего, что душой было в каждом предмете и теле!

Предгрозило шло — бесконечное, как товарняк.
Напрасно дорогу грозе освещали зарницы,
И кроны томилась, и сохла земля при корнях —
Беременны тучи, и все же предгрозило длится.

Огни зажигаются, вечер от дня отделив.
Громов громыханье уже заглушают оркестры.
Вечерний Тбилиси намеренно нетороплив,
Зато никогда не скупится на тосты и жесты.

И — ждать он не любит. Рукою махнув на грозу,
В обычный маршрут поливальные вышли машины...
Но, словно обидясь на то, что творится внизу,
Обрушило небо на город — потоки, лавины!

Да! Хляби разверзлись — и ливень отвесной стеной
Весь город накрыл, и казалось — уже без возврата:
Библейский потоп, от которого праведник Ной
И тот не уйдет, и останется без Арарата.

И не было времени, света, тепла, бытия,
И не было сил, и почти не осталось пространства —
Была только боль. Да, быть может, надежда, что я
Еще не достигну столпов своих жизненных странствий.

Завидная участь: едва лишь достигнув седин,
Изведать т а к у ю страну, умереть вместе с нею!
Но если возможно, то пусть я погибну — один:
Без Грузии наша вселенная станет беднее...

...Я долго всплывал из беспамятства.
В черной ночи
Последние капли по окнам больничным звенели.
И ангелы в ризах своих белоснежных — врачи
Бессонно дежурили у изголовья постели,

И хворь — никакая! — меня одолеть не могла,
И фотопластинкой оконный квадратик казался,
Где под проявителем-утром все таяла мгла,
А день, проявляясь, во всей красоте появлялся.

Лариса Тараканова

* * *

Черный лес в лицо дохнул
И отпрянул осторожно.
Самолета дальний гул
Взмыл высоко и тревожно.

Это грозный гул грозы
Тряс полдневную обитель,
И цветка, и стрекозы
Безграничный повелитель.

Все живое напряглось,
Побледнев, насторожилось.
Что-то в воздухе стряслось,
Опрокинулось, свершилось,

Хлынуло как из ведра,
Все растения поникли.
Это старая игра.
К ней давно уже привыкли.

Это старая игра...
Но с веками неразлучна
Молния из серебра,
Просиявшая беззвучно,

Словно кто-то с вышины
Очарованной, печальной
Сделал снимок моментальный
Среднерусской тишины.

Дмитрий Ушаков

* * *

Как всегда, таинственно и сонно
В белых скверах дышат тополя.
Кружится, как диск магнитофонный,
К ночи поседевшая земля.

Вместе с нею — улицы и парки,
И громады темных корпусов,
И созвездья новостроек ярких,
И на Спасской — циферблат часов.

Завтра снег в иную вступит пору,
Года грань легко перешагнет.
Завтра встретит мой любимый город
Новый год. Который Новый год!

Я Москве завидую: в столетья
У нее дороги пролегли...
Мы ж приходим и уходим, дети
Нашей вечной матери — Земли.

Виктор Федотов

МОЯ УЛИЦА

Василию Федорову

Мне Марьевка судьбою не дана,
в асфальте моя улица родная,
булыжной сотни лет была она —
гремела окаянно мостовая.

Ее люблю и в мыслях к ней тянусь,
хоть ни родных и ни знакомых
давно там нету; ну и пусть!
Есть клочок земли на месте дома

И тополь. Уцелел же до сих пор!
Могучий. Веткою стучал в окошко.
Я помню — был с калиткою забор,
звонок для дворника в сторожку...

Нет и домов товарищей моих.
Немногих нас война вернула —
из сотни лишь всего троих! —
аборигенов городского гула.

Вот наша школа. Дальше — стадион,
Москвы-реки в бетон одетый берег.
Отсюда шли в стрелковый батальон,
хоть увлекали Лобачевский, Беринг...

Мне Марьевка судьбою не дана,
во мне другое плачет и ликует.
В асфальте улица моя. А и она
манит к себе. Стихи диктует.

Герман Флоров

СНЕГИРИ

Отпылали закаты в багряной пыли,
В снежной закипи,
В мартовском свете...
У кого — соловьи,
У кого — журавли,
У меня — снегири на примете.
Снегири!
Вы — земная моя красота.
Разве любим

с годами мы глуше?..

Как в седины кудрей
Голова завита,
Так в петельки из лески ловушка.
Вижу —
Снопик овсяный
Привязан к шесту
За продымленной банькой у пруда...
...Я по детству иду,
Как по тонкому льду,
Снегирей вызываю оттуда,
Где лапта на полянке
И бабки на ней,
Где гадаёт цыганка
На всех королей,
И задумчиво смотрит
На санки мои,
И уходит, глазами меня поманив
И снега подметая цветным подолом...
Снегирей вызываю
С копны за селом.
Из пришкольного сада
Зову снегирей.
Из-за огненных гор,

Из-за синих морей.
Из моих пионерских
Семи лагерей
Красногрудых и дерзких
Зову снегирей.
Чтоб они прилетели,
Слова им коплю.
И летят. И с ладони
Клюют коноплю.
И звенят,
и пылают —
всю душу отдашь! —

Там, где в гости
Я езжу к отцовской родне,
Или там, где в бору
Отогрел «Уралмаш»
Первозданную песнь
О рабочей весне.
В этой песне —

алмазные угли в снегу,

Запах вара и прелой онучи...
Снегири!

Я у вас в неоплатном долгу.
Но не стану вас более мучить.

Вечер
Снопик овсяный
Уже погасил.
Отпускаю.

За ближние дали —

В золотую пургу
Неистраченных сил,
В световое
Зари изначалье.

Михаил Фильштейн

* * *

В окне, как будто жгли костер,
Метался отблеск рыжий.
Сестра кричала через двор:
— Отец приехал! Слышишь?!

...Я ждал его с войны вчера,
Два дня назад, неделю.
Когда глухие вечера
Над городом летели.

Когда усталый снегопад
Белил неслышно землю.
И в звездопад, и в листопад,
Литому звону внемля.

Под солнцем, заслонясь рукой,
В степи, где травы висли,
За косогором, за рекой,
Во сне, на грани мысли...

Ложился сумеречный свет
На талый снег, на крыши.
Трясло, будило целый свет:
— Отец приехал! Слышишь?!

А я стоял как бы во сне,
Где ожиданье длилось,
Не осознав еще вполне
Всего, что приключилось...

Михаил Чердынцев

* * *

Мальчик и девочка
В дальнем июльском лесу.
Память
Меж тесных своих «никогда» сохранила
Горький привкус венка,
Опыленную солнцем росу
И усталую легкость.
Да было ли это все?
Было!

Мальчик и девочка
Выйдут к оврагу,
А там
Пан играл на своей свиристелке
И плакался миру.

Синее фаянса
Падали слезы к ногам,
И звенела,
Пронзая спрессованный воздух,
Комариная лира.

Мальчик и девочка —
Вся еще жизнь впереди:
Мальчик будет убит на границе,
А девочка сгинет в болоте
В такое же лето.
Так давайте оставим их
На этой бессмертной поляне среди лебеды.
Им повезло — они не узнают об этом.

Феликс Чуев

* * *

Мама, ты город, эпоха, и песня,
и фотоснимка печаль, ты — мама.
Ты — из последнего вздоха и дальше — из горя, если,
как себя ни приучай, памяти мало.

Хочется больше мая и вишен
в белых цветах над печальным твоим гамаком.
Дай же мне, боже, зеркальное небо поближе,
детство приблизь, повторенное в нем, голубом.

В перелицованном демисезонном, без валенок,
ты положила здоровье Родине на алтарь.
Не зарубцованы легкие, и, словно город в развалинах,
ночь в изголовье душит луной календарь.

Мама, как мало нам ласковых дней остается,
я побегу за водой, а ее будет некому пить,
и, словно солнце, кусочками, в звонком ведре из колодца,
воспоминая толпой будут долго в грядущем рьябить.

Мама, я старше тебя, и не стал я усталым
на многомерном, цветном и каком, ты не знаешь, пути,
думаю: сможет ли сын мой по отстроенным, людным кварталам,
не опустив, головушку свою пронести?

Вот я о сыне, а снова губами и грудью
падаю к пахнущим стиркой небесным ладоням твоим.
Май не остынет, позвать меня не позабудет
в белый, подвешенный, облачный, с алой каемкою дым.

Нимбом в проеме той первой,
фанерной, некрашеной двери
светится твой довоенный берет.
Мама, ты вера, когда подступает безверье,
мама, ты бог, если в сердце религии нет.

Александр Челноков

* * *

То ли вклинилась в сердце метель,
То ли страшно в ночной тишине...
Вспомнил детство, отца, карусель,
Я мальчонкой лечу на коне.

Полонил мое сердце испуг:
— Где отец? — Запестрела толпа.
Разорвать бы властительный круг,
Чтоб скорей появилась тропа
В даль полей, к полустанку тому,
Где вздыхает, устав, паровоз.
Очень трудно скакать одному,
Очень трудно и страшно до слез.

Где отец мой? Где мать моя, брат?
Как живется им там, без меня?

По-иному гляжу на закат,
Погоняя лихого коня.

Конь буланный, а грива, как стяг —
пламенея, трещит на ветру.
Вся опора моя в стремях,
Я спешу на враждебный реду.
Конь над бруствером... Видно, домой
Не вернуться... Под шквалом огня
Конь над пропастью смерти самой,
Конь летящий выносит меня.

Жив ли я? Хорошо на земле:
Где-то песню заводит мой друг...
Я навечно останусь в седле —
Круг за кругом и заново — круг.

Екатерина Шевелева

БУКЕТ СИРЕНИ В МЕТРО

Женщина сунула в сетку покупки,
Очередей маету,
И аромат торжествующий, хрупкий
Держит почти на лету, —

Будто забылась лихая зарница
Или больничный покой;

Будто бы больше уже не случится
В жизни беды никакой.

Так, вопреки увяданью, старенью,
Женской судьбе вопреки,
На эскалаторе пахнет сиренью.
Живы ее огоньки.

Владимир Шленский

СОРОК СЧАСТЛИВЫЙ ГОД

Проходят года. И проносятся вешние воды...
Мое поколение, рожденное после войны,
отсчет начинает свой
с сорок счастливого года.
Осколки минувшего
в наши врываются сны.

Войну мы узнали
не только по фильмам и книжкам —
по нашим дворам костылями скрипела она...

И взгляд восхищенный
не спрятать окрестным мальчишкам,
когда фронтовик достает ордена.

Когда вспоминает за праздничной чаркой
кого-то.

Когда седина, словно бинт,
промелькнет в волосах...
Войну мы узнали по старым и выцветшим фото,
по долгой тоске,
затаенной во вдовьих глазах...

И в каждой семье
наступает такая минута,
когда вспоминают о тех,
кто полег вдалеке...
И вешними ветками
кажутся людям салюты.
То — майские слезы
текут по небесной щеке...

Виктор Широков

* * *

В преддверии морозов,
в предчувствии ветров
давно уже не розов
цвет ягод, а багров.

Смотри: уже немало
посъежилась листва,

как будто закатала
рябина рукава.

Навстречу вьюге чистой
(пусть разорвет в клочки)
отважно сжала кисти
в тугие кулачки.

Николай Шумаков

ПЕСЧАНЫЙ БЕРЕГ

Год сорок первый...
Ветер напевный.
Кровь — у воды.
У переправы —
Слева и справа
Чьи-то следы.

Раненой птицей
Солнце садится
В дальний затон.
В струях протоки,
В шуме осоки
Слышится стон.

Лодкой неловкой
Тонет пилотка
В просинь слюды...

Волны смывают
И забывают
Крови следы.

Над голубою
Моею судьбою
Зреет беда.
А над водою
Алой слезою
Встала звезда.

Не суесловлю —
Все это помню
Ночью и днем.
Берег песчаный,
Берег печальный —
В сердце моем...

Нина Эскович

ЭТО ДУБ ЦВЕТЕТ

Ты о чем шумел, мой Апрель-поток,
что за песни вьешь, чудо майское,
и откуда мне ты звонишь, милоч?

— Я звоню тебе с Ярославского.

— Первомайский день как подарок был,
почему — спрошу — стало холодно?

— К автомату здесь я и то пристыл,
не скажу с утра, может, с полудня.

Электричка в ночь для меня пойдет,
я один, со мной небо вечера.
Холодок идет, это дуб цветет.
Холодок идет, делать нечего.

Как мой первый дуб, белой тучи брат,
речки Клязьмы он вечный ставленник.
Как под дубом тем мать с отцом сидят,
пацана меня учат плаванью.

А второй мой дуб — бирюзовый верх,
сквозь туманы он солнце выведаль.
Я под дубом тем для людей, для всех,
первый стих сложил, сказку выдумал.

А на третий кряж по длине ствола,
в глубину его пала молния,
сердце вынула, со двора свела,
со двора свела и не вспомнила.

Что еще спрошу, если дуб цветет,
поит веточки пересохшие!
Кто-то, надо быть, телефона ждет,
а любовь любить — дело прошлое.

Но пройти прошло по моей судьбе,
с ветерком прошло, скоро-наскоро:
— Я звоню тебе... Я звоню тебе!
Я звоню тебе с Ярославского.

4



* * *

Наш городок метели заметут.
Мы купим валенки, наденем полушубки,
Научимся сводить обиды к шутке,
Чтоб в комнате затеплился уют.

А иногда к нам постучат с письмом.
В нем будут нас жалеть и удивляться.
Ты станешь на работу собираться.
И то письмо оставишь «на потом».

Ну, а затем привыкнем к тишине,
Когда-нибудь полюбим эту землю,
Где не в хрусталь, в бутылки ставят
зелень
На общежитском, ситцевом окне.

* * *

Все то же. Русь... Иные времена.
И заново отстроено селенье,
Где от хворобы — водка на кореньях,
Где слышатся простые имена.

И где мальчонка взглянет мужичком
И скажет: «Здравствуйте. Mam, дяденька
приезжий...»
И будет рад светло и безмятежно,
Что новый человек пришел к ним в дом.

А вечером накроют стол в саду
И желтый свет потянется от лампы,
Как будто елям обрубая лапы,
Сближая нас, сгущая темноту.

* * *

А все гадалки врут. В эпоху потрясений
Что может значить линия руки?!
Когда весь мир, как шахматы с доски,
Смахнуть способен даже и не гений!

Смотри! Сдвигаются материки!
И звенья гор меняются в пространстве!
И все же люди ищут постоянства
И рубят избы прямо у реки.

Ольга Ермолаева

* * *

Как больно появляться мне
Перед родным лицом несмелым,
В дому, где листик на окне
Накрыт стаканом запотелым.

Где, оскудевшие к весне,
В подполье овощи хранятся,
Где с неживыми на стене
Мы продолжаем обниматься.

И всем-то, мертвым и живым,
Я попадаю в поле зренья,
Не знающая, чей за чьим
У родственников день рожденья.

А умывальник в этот дом
Так странно время отпускает,
И я не помню, что почем
Тут в магазинах покупают.

Я знаю, взыщется с меня
За черную неблагодарность,
И буду подыхать, кляня
Свою болтливость и бездарность.

Но пусть любимая моя,
Чьи очи старостью залиты,
Решит, что наконец-то я
И счастлива и знаменита.

* * *

В двухъярусных лесах, возвращенных человеком,
В скрипучем корабле дано мне нынче плыть.
На местных поездах летать по лесосекам
И, словно под столом, в глуби лесов ходить.

А по ночам глядеть на небо, как на диво,
И наблюдать в печи движение огня.
Так странно я живу и так неторопливо,
Как будто вечность есть в запасе у меня!

Я вижу вольных псов внимательные взоры
И страждущих старух покорные глаза.

Я замечаю, что тесовые заборы
Изъедены дождем, горючим как слеза.

И, видимо к письму, в окно стучится птица,
За рамою цветы стоят, едва дыша...
И если даже то не сбудется, что мнится,
Я знаю, будет жизнь все так же хороша.

Читательница книг, взгляни, моя утеха,
Как в этой стороне в кострах дымит ботва...
Когда-то там жила собака-пустобреха,
И лаяла она на звезды и дрова.

* * *

Светло от снега в комнате моей,
Светло от дум, суровых и печальных...
Так расстели холсты бумаг крахмальных
И дальних призови к себе гостей.

Ты помнишь пар, валивший из избы?
Там прежний мох меж бревнами остался...
Там труд электриков, влезавших на столбы,
Геройским и таинственным казался.

Был госпиталь за дамбой, и в пыли
Ветеринарный пункт лежал в истоме.
Фигуры марсианские вдали
Воздвиглись — вышки на запретной зоне.

Куда ты дела все, что мир давал?
Платков старушких вечную немаркость,
Мазут на плахах раскаленных шпал
И похорон чудовищную яркость?

Неужто позабыть посмеешь их,
Стоящих на перронах в непогоду
С толченою картошкой с огорода
Да с ландышем с разъездов дождевых?..

От ландышей, от капель их, сейчас
Вкус на губах, на сердце вкус горчайший...
Гляди, гляди — уж целых тридцать раз
Ты обошла вокруг звезды ближайшей!..

Валерий Капралов

* * *

Закутаны от головы до пят
в огромные овчинные тулупы,
мы едем — двое маленьких ребят —
и мир рассматриваем, словно в лупу.
И след саней становится длинней,
чем наша жизнь. И оттого нам жутко.

Куда мы едем столько долгих дней,
мы — беженцы в военном промежутке?
Измученные люди крепко спят
На полустанке в тесном закулке.
И — кашель мамы, нездоровый, гулкий.
И лошади испуганно храпят.

ЮЖНЫЙ БАЗАР

Лиловым тюльпаном качался рассвет,
заглядывал в окна лицом незнакомым.
На сотни вопросов один был ответ:
«Живи, отдыхай, ты — в гостях, а не дома».

И если у персика алы бока
и яростью солнца инжир не иссушен,

то в этом одном виновата пока
экзотика юга, я к ней равнодушен.

А к нам равнодушен глухой аксакал.
От зноя прикрыв тубетейкою темя,
он палкою тычет в арбузный развал,
туда, где сочится медовое время.

В СОРОК ШЕСТОМ

Я помню: война окончилась,
а мы хоронили мать.
Мы были очень маленькими,
и если бы только знать...

Мы были очень голодными
и думали лишь о том,

что на поминках будет
на скатерти жареный сом.

И эта жирная рыба,
нарезанная кусками,
почти до самого кладбища
стояла перед глазами.

* * *

Когда крикнул с испугу птенец
и свой голос впервые услышал,
дождь ударил по шиферной крыше —
ты вернулся к себе наконец.
Вот твой дом в металлическом небе,

ты забыл в нем заботы о хлебе,
он качается легче гнезда.
Есть ли смысл укреплять его веткой,
если тяжестью плотной и светлой
над тобою нависла звезда?

* * *

О чем безумолчно бормочут стрекозы,
бесшумно касаясь воды?
И тени их легкие медленно ползают,
и воздух струится, как дым.

Прохладная тень под защитой обрыва
чуть ждет. Хоронясь под мостом,

стоит серебристыми стаями рыба.
Ни звука — на небе пустом.

Но медленно клонится день к перемене,
стояньем своим утомлен.
И легкие мысли предшествуют смене
как будто застывших времен.

Виктор Коркия

Кто знает, может быть, эти строки выражают опыт не одного только Виктора Коркия:

Почернело в памяти детство,
как столовое серебро.
Жил товарищ со мной по соседству,
мне он делал только добро.
Мы о многом с ним толковали
вечерами, на гараже.
То, что знал он, живя в подвале,
я не знал на втором этаже.
И, в военные игры играя,
он отцу подражал во всем:
и презрительно губы сжимая,
и болтая пустым рукавом.

Но, читая их, все же узнаешь «особую мету» В. Коркия.

Уже в первой своей подборке молодой поэт заявил о серьезности собственных намерений. Во всяком случае уже тогда он писал: «Друг к другу подгонять слова — совсем не дело для поэта», показывая, что видит разницу между поэзией и игрой в нее.

И вот — стихотворение о товарище его детства.

Наверное, я многих разочарую, объяснив, что вижу здесь «особую мету» Коркия в максимальной приближенности прошлого к настоящему, в преодолении поэтом временного пространства. Разочарую, ибо разве это не общее правило для всякого поэта, взявшегося писать о прошлом?

Общее, конечно. Но Коркия не случайно заметил в другом стихотворении, что «наезжает день вчерашний на стертый завтрашний рассвет». Он ощущает время, отпущенное, скажем, лично ему, как кратчайшее расстояние между двумя абсолютно зримыми точками: «Вот мой кулак. Вот так и время сжато. Вот день рожденья. Вот мой смертный день!..» И потому я, видимо, не совсем точно выразился, сказав о преодолении временного пространства. Коркия его преодолевать не приходится. В его стихах время «сжато», спрессовано настолько, что с той же силой, как если бы это происходило сегодня, ты соперничаешь тому, что произошло в «дне вчерашнем».

И не только — во вчерашнем. Ведь за товарищем детских игр поэта, мотающим пустым рукавом и этим подражающим своему отцу, встает еще более отдаленное время: война, к трагической сущности которой прикоснулся поэт, прикоснулись мы с вами.

Не скрою, мне по душе такое художническое видение: «Вот день рожденья. Вот мой смертный день!..» Оно выражает не только необходимую для художника внутреннюю сосредоточенность, не только его стремление разглядеть самую суть явления, не отвлекаясь на мелочи и пустяки. Оно выражает еще и доверие к жизни. Ибо, как сказал Андрей Платонов, «краткая, обычная человеческая жизнь вполне достаточна для свершения всех мысленных дел и для полного наслаждения всеми страстями». «А кто не успевает,— заключил Платонов,— тот не успеет никогда, если даже станет бессмертным».

Геннадий Красухин

РОДИНА

Нет имени у этого пригорка.
Без имени кто наспех здесь зарыл.
Трава пожухла, и земля прогоркла,
и безымянный ветер шелестит.

Неряшливая сельская погода.
Большак, изрытый оспинами луж.
А с большака, где маялась пехота,
два километра в сторону — и глушь.

Такая глушь, какая не приснится
и существует только наяву.
Лесок осенний, и большак, и птица...
Вот эту землю я своей зову.

И я люблю любовью безымянной
чертополох, взошедший на крови,
и тот большак, и взгорок над поляной —
и я не знаю истинней любви!..

ПЕРЕУЛОК

Мне дорог этот переулок,
я вышел из его дворов.
Не знаю, где еще так гулок
звук выбиваемых ковров.
...В парадном не совсем парадно,
сквозь непроветренную мглу
едва белеет лист тетрадный
на грязном кафельном полу.
Чьим новым детством он потерян?
Я знать не знаю ничего.
И почему я был растерян,
когда увидел вдруг его?
Неужто корни так глубоки,
что от безделки тяжело?
И сколько можно? — вышли сроки,
прошло — так до конца прошло!
И кто из нас в пустых парадных
не видел, всматриваясь в мглу,

как детство в клеточках тетрадных
белеет слабо на полу?..
Мы прошлому не доверяем.
Всегда стыдясь его стыда,
себя мы многим проверяем
и только детством — никогда!
Когда-нибудь за все ответим,
о невозвратном не скорбя,
и нас поймут уже не дети —
поймут, когда поймут себя.
И выйдут в этот переулок,
и, юркнув в первый из дворов,
узнают и они, как гулок
звук выбиваемых ковров.
Но жизнь, что скрыта в этом звуке,
не остановит их, как нас,
и чувство скрытое разлуки
к ним не придет — и в добрый час!..

Петр Кошель

Нельзя не приветствовать решение редколлегии «Дня поэзии 1978» посвятить один из разделов сборника творчеству молодых поэтов. И все же, получив предложение выступить с небольшой статьей о ком-либо из них, я впал, как говорится, в долгое раздумье.

Мне нетрудно назвать ряд уже весомых имен молодых (ну, скажем, моложе 33-х лет) прозаиков. Однако с поэтами дело обстоит значительно сложнее.

Начну с того, что теперешние молодые поэты какие-то не очень... молодые. Это вовсе не только мое личное впечатление. Сошлюсь хотя бы на недавнее рассуждение Вл. Гусева в «Литературной газете»: «В поэзии как-то мало молодежи как именно молодежи. Молодежь должна делать глупости, проваливаться... но быть яркой. У нас же молодежь аккуратна, добропорядочна и всеведуща и если и позволяет себе глупости, то лишь как бы втихомолку и «на своем месте» и «в свое время», а это уже не глупости. Отсюда стиливая вторичность, вялость, отсутствие темперамента».

В этом справедливом приговоре я бы только заменил «глупость» на «самозабвенность» и подчеркнул бы, что «всеведение» молодых — это только имитация (подчас, кстати, превосходная) всеведения.

В критике утвердилось мнение, что лет двадцать назад молодая поэзия была громкой, а лет десять назад — тихой (причем «тихость» эта была по-своему очень звучной и на слух многих заглушала предшествующую громкость). Многие молодые сегодня эклектически сочетают черты громкой и тихой поэзии. И с этой точки зрения их поэзия — какая-то принципиально средняя, что, по-моему, самое нежелательное для поэзии состояние.

На этом фоне, на мой взгляд, выделяются стихи Петра Кошеля. О Кошеле уже не раз говорилось в критике, и никто, кажется, не выражал сомнений в его поэтической одаренности. Одно из его стихотворений —

Дверь отворяется, входит отец:
— Дзе маці?.. —

приобрело довольно широкое признание. Но в результате родилась оригинальная версия, что Кошель «автор одного стихотворения», которое, надо думать, появилось как-то случайно, вроде лотерейного выигрыша.

Ибо Петр Кошель, по мнению многих, при всей его одаренности, очень слабо владеет поэтической формой или даже самим русским словом...

Мнение это по меньшей мере странно, ибо культура стиха ныне настолько разработана (притом — и это особенно важно — в самых разных направлениях), что мало-мальски способный человек овладевает ею в кратчайшие сроки.

Все дело в том, по моему убеждению, что Петр Кошель ищет свой путь не только внутри поэзии. Он отнюдь не отрицает поэтические ценности, созданные его предшественниками (так, в публикуемых далее стихах со своего рода благоговением про-

риса Миллер

Когда-то мне довелось быть одним из руководителей поэтического семинара при Московском отделении Союза писателей. Говорят, что если бы консерватория подарила миру тысячу бездарностей и только одного Рихтера, то в ее стенах время не было бы потеряно понапрасну. Из моих «семинаристов» настоящими поэтами стали трое. Я не думаю, что поэзии можно кого-нибудь научить; вероятно, и без моего участия эти трое занятий поэзией не оставили бы. Но — как знать! Может быть, одной из этих трое — Ларисе Миллер — семинар помог преодолеть раннюю застенчивость? Еще тогда ее товарищам по семинару и мне казалось, что будущее Ларисы Миллер оправдает затею Союза писателей и наш семинар и впрямь нужен начинающим поэтам. Было это больше десяти лет тому назад.

Уже десять лет имя Ларисы Миллер знакомо читателям по публикации в периодической печати, в альманахе «День поэзии». В 1977 году издательство «Советский писатель» выпустило в свет сборник ее стихотворений «Безымянный день». Попытаемся объяснить самим себе, почему «день» у Л. Миллер «безымянный»? Не потому ли, что печали и радости понедельника и воскресенья, как бы мимолетны они ни были, претворены в (талантливые) стихи, закреплены (подлинным) поэтом на долгие грядущие годы, что судьба их в любой день недели, и в будни и в праздники, распространяет благотворное влияние душевной чистоты и духовного благородства среди людей, пристрастных к поэзии, которых так много сегодня, а завтра будет еще больше.

Мы знаем, что чудо в поэзии — это воплощение замысла в стихии обогащенного слова, прежде — привычного, разговорного, бытового, а теперь ставшего как бы в новинку для нас, исполненного новых значений, новых глубин; слова, свободно и широко охватывающего жизненные явления. Поэзии порой достаточно двенадцати строк там, где прозе потребно столько-то и столько-то страниц. Подлинное стихотворение — сгусток воли, разума и чувства, натуго заведенная пружина живого организма человеческой души, воздействующего на всю сферу своего языка. Понятие поэзия не так уж легко определимо, потому что она жива, как сама жизнь. Поэзия больше, шире, выше, глубже и нужнее людям, чем то значение, какое этому слову придает толковый или энциклопедический словарь. Недаром Пушкин утвердил равенство «Поэт — Пророк».

Быть может, Л. Миллер и не пророк, но поэт она несомненный, не только «поэтесса». Нам, читателям, и этого достаточно, чтобы навстречу стихотворениям двинулось наше сочувственное и благодарное признание.

Среди ее замыслов: семья, дети, жизнь сердца, дом, природа родной земли и этот внешний мир, слившийся воедино со словом, со светящейся отвагой женственной души автора, создает ту гармонию, которая дарит нам возможность радостного восприятия истинной художественности.

Л. Миллер поэт гармонического стихотворения, а это было и будет драгоценностью во все времена. Язык ее поэзии — чистый и ясный до прозрачности литературный русский язык, которому для выразительности не нужно ни неологизмов, ни словечек из областных словарей; у нее нет ничего общего ни с футуризмом, ни с вычурностью какой-нибудь другой поэтической школы минувших лет. Это вполне современная нам реалистическая поэзия, а именно такая поэзия — на мой (читателя) взгляд наиболее калорийна. Стихотворение Л. Миллер не хочет стать ни песней, ни живописью, ни ораторской речью повышенного тона. Л. Миллер говорит с читателем доверительно и доверчиво, как добрый и верный друг, ожидающий взаимного доверия в ответ на свои признания, на свою искренность и убежденность.

Стихотворения «Безымянного дня» таковы, что читателю кажется: это не Л. Миллер тревожится о своих близких и дальних (а «дальние» для каждого подлинного поэта тоже «близкие»), не Л. Миллер встречает каждый новый день заботой о своем и не своим счастье, не Л. Миллер делится с читателем своими печалью и радостями, а это он, читатель, говорит ее словами, живет ее мыслями, ее радостями и печалью. Подлинный поэт — тот тот, кто говорит за многих и многих, не причастных его искусству.

Слово поэта — его дело (Блок), а дело поэзии — излучение одной живой души, возбуждающее излучение другой, третьей, тысячной души, излучение, распространяющееся на всю сферу человечности. Этому высокому делу всечеловеческого сочувствия служит и скромная, застенчивая и благородная поэзия Ларисы Миллер.

Мы верим в ее будущее. Мы верим в будущее поэзии. Мы еще прочтем вторую — третью — седьмую книги автора «Безымянного дня».

Смотрите: зеленеет трава, листва колеблется, после дождя просыхают лужи, приходит осень, листопад, идет снег, молодая женщина ведет за руку детей, вот она глядит в окно своего дома на улицу, в углу передней стоят маленькие калоши на красной подкладке, день сменяется другим, за чудом совершается чудо: на белый свет на смену уходящим рождаются новые люди, и осуществляется бессмертное дело искусства — осмысление жизненного подвига человечества.

Арсений Тарковский

* * *

Куда ни глянь — полно улик.
И соглядатай — каждый блик
И каждый лютик золотой,
Который гнется под пятой,
И все дожди и все ветра,
Что возле губ снуют с утра.
О мир окрестный, уличи,
И осветите нас, лучи,

* * *

А я живу отсель досель.
Шажок — забор, полшага — ель,
Полшага — дом, полшага — клен.
Лишь до него мой путь продлен.
А дальше — глухо. В той глуши,

* * *

Все лето шел зеленый ливень.
И был он тих и непрерывен.
Густые ветви до земли
Как струи долгие текли.
И дули ветры, их колебля.
Текла трава, стекали стебли,
Текли и не могли утечь,

И много лет шепчи, трава,
Все наши тихие слова.
И ты, тропа, храни наш след.
Когда судьба сведет на нет
Все то, что дорого сейчас,
Пойдем в края, где помнят нас,
И лютик, памятливы и тих,
Расскажет нам о нас самих.

Быть может, реки хороши.
Но что мне дивная река,
Коль мне нужна твоя рука.
А до нее — века, года, —
Не дотянуться никогда.

Текли, касаясь наших плеч,
И щиколоток, и коленей.
...Миллион таких прикосновений
Переживешь за жизнь свою,
Не ведая, что ты в раю,
И ожидая, ожидая
Других чудес, другого рая.

Татьяна Митрофанова

ОТЧИЗНЕ

Мне лишь осени песня понятна,
Я живу, как редкий лес.
Но отчизна моя необъятна
И исполнена многих чудес.

И я знаю: в сомненьях и в муке:
За бесхитростный подвиг любви
Мне протянуты русские руки,
Незабвенные руки твои.

* * *

А я просто схожу на Палихе
И пешком возвращаюсь назад.
Как в России томительно-тихо,
Когда поздние листья летят.

Как томительно-тихо и грустно,
И в глазах золотистая рябь.
Как поток, выбирающий русло,
Между нами проходит октябрь.

И я знаю: в морозы и в слякоть,
В годы бедности, в годы невзгод
Будешь ты, как блаженная, плакать
Возле каждого забытого ворот
За ошибки мои человечьи
И за нечеловечьи мечты.
Я ж тебе обещаю навечно
Жить и верить, как веруешь ты.

Хорошо, ничего не имея,
Пока поздние листья летят,
Выходить по холодным аллеям
Из бульвара на старый Арбат.

Хорошо с головою бедовой,
Пока осень на ветках дрожит,
Тихо жить где-нибудь на Садовой
Или попросту где-нибудь жить.

Татьяна Михайловская

Тот, кто начинает слагать стихи, непременно проходит трудный и необходимый искус. На его пути встают две могучие силы — предельно взыскательные и вместе с тем дружественные: жизнь, требующая выражения в страстном, верном, точном слове, и поэзия, открывающая свои тайны лишь достойным. Новобранцу литературы предстоит постичь безмерные открытия, сделанные великими предшественниками, не став их простым подражателем, более или менее добросовестным копиистом, а обогатить, обновить традицию, пришедшую по сердцу, по перу.

Опыт показывает: почти любой выбор стихового строя обязывает к освоению ценностей, в нем сокрытых, и к преодолению сопутствующих слабостей, недостатков, пороков. Поэту, отдающему свое дарование высокой одической лирике, надобно помнить об опасности риторической распыленности и резонерства. Поэту, склонному к доверительным излияниям, приходится страшиться «альбомной», сентиментальной скованности и тесноты. Поэту, предпочитающему разговорные, «бытовые» интонации, грозит приниженность, бесцветность стиховой речи. Поэт, насыщающий свою строфу пламенными красками, пышными тропами, рискует потерять себя, свою тему в разливанном море метафор и эпитетов. И так далее и так далее. Даже поэт, следующий самым прекрасным образцам, обращающийся к прозрачной ясности и стройности словесных характеристик, созданных классической поэзией, должен остерегаться гладкости, докучной ровности, взвешенности речений.

А вместе с тем, — и это особенно существенно! — памятуя обо всех названных и неназванных соблазнах, избегая каких-либо крайностей, все же мало чего добьется тот, кто не знает, о чем он хочет поведать миру и какие слова ему нужны, кто не способен к своему пониманию, видению жизни, свое восприятие времени выразить движением строки. Дорого стоит, конечно, естественность, прочность образных связей, ее отсутствие не возместить никакими обещаниями и заявлениями в рифмах или в верлибрах!

Именно душевной содержательностью и напряженной пластичностью словесного ряда примечательны стихи Татьяны Михайловской. Они отчетливо обрисовывают чувства, мысли, переживания, складывающиеся в характер целостный и привлекательный. Сосредоточенность нравственного поиска позволяет ей не впадать в разбросанность и суетливую беглость, а вместе с тем в свойственной ей последовательности, взаимосвязи нравственных движений нет отнюдь ограниченности и узости. Она пишет о своих волнениях и заботах, а волнует ее окружающий мир и заботят отношения с миром. Это и город — «словно сердце на ладони», и природа, что всю зиму устойчивостью туч, полетом снега ее «учила, будто заново творила, лепила точно снежный ком». Это и беседы с ветрами, морскими волнами, пробуждающимися почками — общение деятельное и, что самое важное, — сердечное, подлинно человеческое. Ведь и в самом деле, она счастлива «воде быть дочерью, сестрой — траве» и видеть в камне старшего брата, ибо «он помнит жизнь еще до ледников».

Должно быть, оттого и на трудной горной тропе она думает о том, «кто же те, что здесь дорогу проложили». Оттого и мечтает о чередо превращений: «полночной бездны — в искру дня, земли — в цветущее растение, волны изменчивой — в меня».

В подобных метаморфозах — ощущение великой, чудодейственной силы поэтического творчества. Это чувство сказывается в шутовском намерении «завернуть в платочек» домики маленького городка и разложить по карманам «кипарисы строгие... Шутка смелая и вместе с тем добрая.

А приходит срок — и возникает потребность сказать о серьезном, о заветном, о том, что при встрече с реальными судьбами читателей «нищим кажется... воображенье, а вдохновенье детскою игрой». Что ж, только сам поэт и способен насытить смыслом и значением свой труд. Решающая величина в этих усилиях — умение слушать время, различать его глубинный ход в бесчисленных проявлениях. И радуется, что, глядя на «дом, где мама девочкой жила», лирическая героиня охватывает сердцем и смену лет, и постоянство живых человеческих стремлений.

Есть постоянство и убежденность в стихах Татьяны Михайловской. Обещающие черты формирующейся личности поэта!

Иосиф Гринберг

* * *

Все сказано давно. Не стойте у окна.
Там город словно сердце на ладони,
в мерцающих дрожащих жилках сна,
и я боюсь, что вдруг его уронят.

И брызнут на меня со всех сторон
осколки крыш, дверей, ступеней,
и разлетится этот хрупкий сон
на тыщу мелких сновидений...

Не вами и не мной — все сказано за нас
лиловой тишиной и тучей низкой,
и сказано до боли без прикрас...
Не стойте у окна так близко!

Два дыма из трубы, как две змеи
завороженные, колеблются и вьются,
и кажется, что миг — и музыка земли
и музыка небесная сольются.

* * *

На тыщу строк найдется ли строка,
чтоб вспыхнул ум и сердце вдруг зануло,
и вскрикнули: «Со мною так же было!»,
и над страницей замерла рука.

Читатель мой, ты старше и умней,
ты столько жизней прожил, мой читатель...
Не поразит тебя простой стихослагатель
сегодняшних и прошлых дней.

Когда случается услышать мне порой
твоей истории простое изложение,
мне нищим кажется мое воображение,
а вдохновение — детскою игрой.

И я молчу тогда, смилив уста,
не веря, что строка еще найдется
и ей душа чужая отзовется,
преодолев безмолвие листа.

Вера Никитина

Быть может, самое редкое, самое радостное, что мы ищем в стихах, а, найди, не всегда верим себе или даже: глядя — не видим, сетуя при этом, однако, на автора, а не на себя,— это естественность речи.

Какая горькая отрада —
Густую, ледяную воду
Из вогнутой ладони пить.
И белый воздух выдыхать.
Тугие, треснувшие губы
Знобить на солнечном ветру.
Какое сладкое мученье —
Вернуться в дом. Платок отбросить.
У печки белой и румяной
Большие руки отогреть.
И бесконечно, бездыханно
Смотреть в замерзшее окно.

Ощущение естественности речи, присутствующее у меня, читателя стихов Веры Никитиной, опережает все прочие впечатленья от этих стихов, потому что вопрос содержания, например,— это все-таки вопрос поэтической непосредственности и правды, правды как соотносительности объекта изображения с лирическим голосом — «рифмуемости» этого объекта с ритмом и смыслом дыхания внутренней жизни поэта...

О самых разных авторах стихов нередко читаешь: мол, перед нами — дарование лирическое. Так что недолго бывает и заключить: для того чтобы заслужить эту характеристику, достаточно просто не писать поэм, не иметь дарования эпического. Между тем лиризм в поэзии обеспечивается, конечно, не самим по себе внешне — заявленным жанром, но складом мышления, типом музыкальности, присущей поэту, строем души, при котором ощущение единичности данного бытия, малости, мучительной

скромности «я» сочетается с нечаянной гордостью от предчувствия, знания неповторимости, непохожести этого «я» на все прочие... Я думаю, лиризм — а в случае В. Никитиной я сказала бы о целомудренности и принципиальной безусловности его — это как раз наименее нарочитое, бессознательно последовательное и прямое стремление к с л и т н о с т и затаенного, хрупкого и мужественного «я» со всеобщим, всеобшесущим, всеобщезначимым... В этом смысле сказать можно бы, что лирический поэт — вопреки расхожему мнению — ведет не сольную партию, но есть голос из х о р а, дальнего и могучего, хора, из которого слышен нам в эту минуту лишь один, одиночный голос — поэта. Дыханье п о э з и и — души всеобщей — сметает, в случае неподдельно лирического дарования, все картонные ярлычки «камерности» и подтверждает: лирика — жанр дальновзорких, чистота голосового тембра — дар не вокальный, а — слуховой...

Красные, белые кони
Мечутся где-то вдали.
А для меня подоконник —
Край бесконечной земли...

В. Никитина часто пишет о лошадях. Но ее кони — не декоративно-романтический или формально-фольклорный атрибут стихов: ей в самом деле приходилось работать с лошадьми — на ипподроме (как и вообще с животными — в зоопарке), и она рассказывает о них просто, отнюдь не ради «поэтичности», и это сама поэзия не расстается с автором в этой теме.

...И близко
Я увидала, как несло
Табун литой в родное поле.
Я медленно пошла за ним.
И давненько, забытой болью
Подполз костров вечерний дым.

Чувство природы у В. Никитиной — редкостное, особенно для поэта молодого. Тут она — мастерица особенной точности, яркости и свежести наблюдения.

...От сводов корневых — бьет соловей,—

замечает она в одном из стихотворений, и такого рода строки, вызывающие в памяти добросовестную и крылатую точность русской классической поэзии, характерны для ее талантливого слуха и зренья. Веющий пространством нашей лесостепи, пейзаж В. Никитиной нов, ибо действительно одухотворен; осмысленность дыхания, психологическая изобразительность и незаойливість в ней — вот черты лучших стихотворений автора.

На первый взгляд, в стихах В. Никитиной господствует, «царит» тишина. Но это — звенящая, звонкая, пронизанная музыкой тишина. Ритмический рисунок, хотя и далек от резкости, грубой экспрессивности, оказывается способным передать жест, позу человека, топографию местности, движение в пространстве и даже словно бы само «течение» времени сквозь молчаливые души людей... Исповедальности здесь куда больше, чем бывает это порою в «оголенных», нецеломудренных, ибо преждевременных, признаниях авторов, не отличающих еще биографии от судьбы, пустого задора — от смелости и любви.

...Весь в брызгах золотой, дрожащей крови
Лазурный мотылек у самых глаз заплещет
И бросится в истоме на цветок.
Чертополох качнется, затрепещет.
Отброшенный случайно лепесток
Летит, не зная, где тоски исход,
Что вслед кричит семья его родная.
Вот так и я, пока еще не знаю,
Что горький, нежный ветер постигаю,
Который, может быть, меня убьет.

«Горький, нежный ветер» внешне беззащитной, как и все подлинное, чистой и органичной лирики, которым стремится дышать Вера Никитина, — драгоценнейшая «материя» поэзии, самого трудного ее рода или жанра...

Татьяна Глушкова

* * *

Забывшее чувство свободы
Коленам коснулось моих.
Как будто подземные воды —
Заснувших корней молодых.

И снова и слышу и вижу,
Что где-то в далекой дали
Родимые кони заржали,
Во ржи васильки расцвели.

Там крупные градины тают
На ветке тяжелой, тугой.
И быстрая птица летает,
Крыло изогнувши дугой.

* * *

Меня не люди воспитали.
На плотной, бережной спине
Качали кони.

Теперь вокруг меня изба
Из камня прочного,
Комоды, полные добра,
Кровати тучные.

Свекровь не зла и не бранит.
А что я делаю!

* * *

И лишь бы пить полдненное сиянье.
И слушать птиц невыносимый крик.
И думать о лице далеком — лик.
И утолять тревоги и желанья.

И мне теперь всего милей незнанье.
И хорошо забыть в блаженный миг
О том, кто весел, славен и велик,
Что все ж огромное его страданье.

До одури пряное лето
К июлю густеет. И мед
Ярчайший, полярный и плавный
По горлу донны течет.

И я навсегда затвердила:
И выживет, и не умрет,
Что в поле вечернем светило,
Что ласточка в небе чертила —
Все, что мне судьба посулила,
А жизнь ни за что не дает!

Качаю люльку, а сама —
Как стенка белая.

То тянет в окна глубиной
Голодной, дикой,
Что лишь взбесившиеся кони
Своими красными ноздрями
Ощупывают.

Я изгнала печальные слова.
Их смысл, как снег, вдали еще кружится.
Звенит неудержимо голова.

И стала я светла, легка сама.
Вот так, должно быть, застывает птица,
Когда в кулак сгребет ее зима.

Юрий Поляков

ЛЮДИ

По духу, по плоти, по сути —
Во всем, что природой дано,
Они очень добрые — люди,
И очень сердечные, но
Их много, их много на свете,
Их море — людей! Оттого
Им трудно бывает заметить,
Заметить тебя, одного...

* * *

Сердце мое, мужайся!
Где-то у Можайска
Есть пруд с березовой рощей,
Парк из старинных лип,
Месяц седой и тощий
И журавлиный всхлип.

Отец — он умер
Несколько лет назад —
Очень любил меня, кроме
Того, посадил сад
Где-то у Можайска.
Сердце мое, мужайся.

С мужем своим кареглазым
Приду как-нибудь сюда,
Где я теряла разум
От юности у пруда
Где-то возле Можайска.
Сердце мое, мужайся.

Сердце мое, мужайся!
Где-то у Можайска,
Где цветы луговые,
Сад, луна, сеновал,
Мальчик мой впервые
В губы меня целовал.

Марк Рихтерман

Я не знаком с Марком Рихтерманом. Его стихи попали мне в руки случайно. Но мне сразу показалось, что наше человеческое знакомство состоялось, а это — лучшее, что можно сказать о стихах. В них предстает человек, тонко чувствующий природу, ее слышимое и неслышимое, ее видимое и невидимое, человек, очевидно, давно и тяжело болеющий, но не ставящий свою боль выше красоты и боли окружающего мира. Бывают люди, которых собственная боль приводит к раздраженности и отчужденности, к мнительной надломленности. Марк Рихтерман принадлежит к тем людям, для которых боль является тоненькой, но неразрываемой нитью связи с миром. Его стихи непроизвольно переполнены поэтическими ассоциациями, иногда доходящими почти до цитирования, но непрерывно ощущаемая живая, добрая авторская личность спасает их от книжности, придает реминисценциям перевоплощенность. Человек, который осязаемо угадывается в этих стихах, беззащитен и в то же время защищен своим застенчивым доверием к жизни.

Евг. Ештушенко

ПРОГУЛКА

Печален и лилов
За окнами рассвет,
Смотреть поверх голов
Ему резона нет.

Он смотрит в глубину,
В души прозрачный круг,
И новую страну
Он открывает вдруг.

Там зреет терпкий плод
Осенних непогод
И робкий небосвод
Зовет, зовет вперед

По снежным площадям,
По улочкам в золе,

По выжженной земле,
По доскам и гвоздям.

По стылым временам
Под облаком седым,
Где выест очи нам
Сухой и горький дым.

Сжигается листва,
Иль что еще горит?
Как серая сова
Осенний день царит,

И как совиный глаз
Желтеет огонек
В том доме, что без нас
Ужасно одинок.

* * *

Хороши мои дела —
По ночам все та же мгла,
По утрам все та же, та же
Голубая белизна,
И пустынные пейзажи
Наблюдаю из окна.

В неизменности такой
Есть отрада и покой,
Есть надежда, есть привычка,
И судьбы слабеет гнет,
Жизни серенькая птичка
Тонким голосом поет:

«Чик-чирик — святое дело
Жить на свете — чик-чирик,
Чик-чирик — душа и тело,
Чик-чирик — к чему привык».

Чиви-тав — легко и просто
Дни проходят — чиви-тав,
Ты глядишь на них с помоста
Чиви-тав — не сосчитав.

* * *

Прозрачное утро прекрасно,
И жизнь начинается снова,
И легкие светлые звезды
Просвечивают сквозь мглу,
Я думал, что все напрасно,
Что с круга сойду земного,
Что черный тяглый воздух
Недаром стоит в углу.

Но солнце своими лучами
Сожгло этот черный воздух,
И тихий дымок надежды
Колеблется ветерком,

И ночь стоит за плечами,
И жить на земле не поздно,
Сомкните ж усталые вежды
Все те, кто с болью знаком.

Усните под синим зноем,
Под бледно-зеленым светом,
Под плавным неслышным бегом
Невидимых днем светил,
Ах, как-нибудь всё устроим,
Еще поживем на этом
И белым гибельным снегом
Надышимся как хотим.

Андрей Чернов

* * *

Из дворов как будто из одежды
Выросли. Ушли в конце концов.
Здесь уже не хвастают, как прежде,
Мальчики медалями отцов.
И уже родился тот, кто сладит
Классе в пятом — может быть, — в шестом
С темой сочинения
«Мой прадед
Был фронтовиком».

КАРТОТЕКА ПУШКИНСКОГО ДОМА

Пристрастие к собственным корням.
А в картотеке — свет нерезкий,
И строго на ученых дам
Из рамы смотрит Модзалевский.

Расслаиваю букву «Ч»
При электрической свече.

Здесь век прошедший погребен —
В галантном шкапчике спрессован,
По именам перетасован —
Железный, стал бумажным он.

В благоговейной тишине
Идут... Чины, мундиры, лица,
Тмутаракани, две столицы,
И вдруг —
«Зачем все это мне?»

Зачем мне знать, что там, в начале,
Когда не знаю — что в конце?
Не знаю толком об отце,
О маме
И о той печали,
Проплывшей на твоём лице.

* * *

Долгий дождичек осенний,
Пожиратель воскресений,
Желтых крон печальный жнец,
Да закончись наконец!
Мокрым рукавом помашешь,
Наши улицы распашешь.
Сеешь сам себя. И что ж?
Ты уже снега пожнешь.

Ольга Чугай

Пребывание автора в виде героя своих же стихов, понятно, не снимает с него авторскую миссию. Ясно и то, что авторство никогда еще не мешало ему быть и оставаться героем. Всякий вообще поэт (каждый в своих границах) просто даже обязан сам быть тем человеком, которого изображает. Если исключить отсюда все, относящееся к художественной условности и чистому реквизиту, — останется лишь еще раз засвидетельствовать, что иначе не бывает да и не может быть. Все это, впрочем, аксиома и сказано только для «памяти».

Ольга Чугай — на мой взгляд — никого, кроме себя, не «играет». Не оттого ли дистанция между автором и героем в ее стихах — почти отсутствует? Разумеется, автор и герой не всегда должны совершенно совпадать и шагать в ногу. Но я говорю об особом свойстве именно поэзии О. Чугай. Трудно, почти невозможно было бы отделить, кто — автор или героиня — вырисовывается резко в следующем стихотворении:

На красный свет, на соловьиный свист
Разбойничий в лесу оконечном
Летит моя душа, расставшись с телом,
На зов последний, как последний лист.
А может быть, и бабочки на свет,
А может быть, и дети на опасность
Летят вот так же, чувствуя неясно
Последний миг. Но видят только свет.

У Ольги Чугай свой, особенный мир. Он ярок и свеж и сам за себя во многом может ручаться. Мальчик-с-пальчик из знаменитой сказки, чтобы найти из лесу обратный путь, бросал, как мы помним, на лесную тропинку хлебные крошки. Когда же эти крошки склевали птицы, он догадался накидать на тропу камешков. Уж их-то птицы склевать не могли... Если бы какие-то выводы собственные, но сделанные поспешно, и могли обмануть временно Ольгу Чугай, — то сами образы ее не обманут и всегда, как мне кажется, вновь выведут ее на твердый путь. И просто — образы, и образы-детали:

Возьму листок. Легко запечатлею
Дом двадцать три. Корявую аллею.
Двух мальчиков. Зеленый самолет.
Трубу. Колонку. Лестницу. Закат.

Случайные, но важные детали,
Которые глядят из давней дали.
Они друг другу руки подают...
Все узнаю... Меня не узнают.

(«Озябшее предзимнее затишье...»)

«Случайные, но важные детали...» В том-то и дело, что не случайные, — потому и важные. Да разве чем заменимы эти — труба, колонка, лестница, закат? И разве возможно их теперь смешать или переставить? Этим «крошек» уже не склюют птицы.

Мне кажется, что подробность, и сама ее роль в поэзии Ольги Чугай, заслуживает особенного внимания. Ведь точное, так сказать, под деталь место — есть порука, что и сама поэзия тут налицо.

В поэзии Ольги Чугай деталь является вехой, и отправным пунктом целого, и порукой прочности художнического взгляда. Внимательность поэта к ней позволяет и подходить и отходить от детали по-разному. Вот случай, когда из-за простоты названия вещей не замечаешь, что это уже и есть образы, а продолжаешь принимать их за те же детали:

Закрутилась
Мельница солнца,
Повелела
Сыпаться листьям,
И пошло:
По кругу! По кругу!
Что ни день —
Быстрее, быстрее!

Впечатление такое, будто «мельница солнца» — не образ, но обычное выражение. Так убежден поэт в правильности примененного слова и так естественно для него, что иначе не может быть, — что здесь происходит обратное предыдущим примерам: образ возвращается в деталь. Солнце выглядит и как чудесный снаряд, и как обиходная в хозяйстве мира вещь — которую мимоходом называли по имени. А в том, что явление зовут именно так, — никаких сомнений быть не может.

О хороших стихах говорят, что они «всегда были». Не оттого ли, что «всегда был» — сам поэт? Поэт потому и называет вещи их именами, что он-то эти имена — всегда знал. Да и н а з ы в а е т ли он их — тоже вопрос. Часто нам кажется, что образ это умение назвать вещь, а он — всего лишь — умение в с п о м н и т ь имя вещи, а вспомнив — о к л и к н у т ь.

Новелла Матвеева

ПЕТРОВСК 1947

Казалось — кануло совсем,
И ни о чем не вспомнить,
Какие черные сомы
Под берегом живут,
И где совиное гнездо,
И сколько в доме комнат,
И почему из года в год
Мелеет старый ируд.
Сутулый доктор на крыльце —
Он кашляет и курит,
Он видит всех людей насквозь,
И это знаю я,
Но тайну тайную храню,
Ведь стоит глаз прищурить,
Как дива дивные плывут
Из мглы небытия.

И я уже четвертый год
Живу на белом свете.
Зеленый маленький Петровск
Мой временный приют.
Идут шеренги облаков,
В войну играют дети.
Их лечат старые врачи
И плакать не дают.
Мир без войны.
Больничный сад.
Роса на паутине.
Уснуть — вернуться в этот год,
По дому пробежать.
За сказки доктора сказать
Спасибо — скарлатине
И в этот город никогда
Не приезжать...

СТЕПЬ

1

Ты только этого хотел? —
На память?
Налегке,
Удрав от бед, удрав от дел,
На допотопном языке
Ладоней, губ и тел
Всю жизнь без страха объяснить,
Доверья тоненькую нить
До боли натянуть —
И в путь!
На край земли!
Зачем?
Куда?
Но вот мохнатая звезда,
Звезда Печаль, Звезда Полынь,
Звезда Июльская Теплынь
Висит над головой.
Крадется зверь — Степная Ширь,
Горит звезда — Мухоршибирь.
Я слышу голос твой:
«Сначала шли по колено в теплой воде,
Потом брели по пояс в ночной траве,
Потом по плечи, по горло — уже среди звезд.
Так и ушли из этого царства
Неизвестно куда!»

2

Степь. Сопки. Небеса пустые.
Разрушенный курган времен Батыя.
Поджарый пес и мальчик на коне...
Наверное, судьба добра ко мне!
Разматывая высохший пергамент,

Степной большак дымится под ногами,
И повести давно минувших лет
Проглядывает полустертый след.

И мы с тобой из этого сказанья,
Где ни души — лишь древние названья
С бессмертием своим наедине.
Где только степь и мальчик на коне.

3

Дымится жаровня. Трещит голова.
По комнате реют чужие слова.
Последние сутки бушует зима —
Пирует на крыше и сходит с ума.
На тысячу звеньев разорвана цепь:
Хвала нетерпенью! Да здравствует степь!
По острому насту поземкой шурша,
Не ветер гуляет — родная душа.
Да, здесь, только здесь и не сдавлена грудь,
И здесь — только здесь начинается путь
Копыта, и полоза, и колеса,
И вечность распахивает чудеса.
Летим по дороге и ночью и днем
На споры с бураном, на дружбу с конем.
Пегашка, крылатый, по крышам ночным
Поскачем, проскачем и в степь улетим.
Там бесы метели, там влажная мгла —
Отчизна бурана, становье орла
И вьюга хохочет и сводит с ума
Словами Елабуга и Бугульма!
Скорей! К своеволью, к началу начал...
А ветер в проулке свое открывал.
Он даже не знает, что выиграл бой,
Что в небе открылся просвет голубой.

БАЛЛАДА О ТАНКЕ

Он здесь закончил битву мировую.
Разбиты траки, башня снесена.
Как лоб, броню наморщив лобовую,
глядел туда, куда ушла война.

Седой солдат,
простясь навек с оружием,
пустой рукав запрятав за ремень,
пришел к нему
и оглядел снаружи,
потом внутри ключами загремел...

И по весне все видели воочью,
как двинул танк на кочки и кусты,
тяжелым плугом медленно ворочая
с отливом синим жирные пласты.

А вечером,
залюбовавшись видом
уже на треть поднятой целины,
глядели молча вдаль
два инвалида,
два пахаря, пришедшие с войны.

И одного, наверное, хотели:
чтоб никогда
в просторном их краю
не надевали пахаря шинели,
не одевались тракторы в броню.

ОРЕЛ

Планета неостывшая чадила,
скрывая солнце в облака и дым.
Он побывал у самого светила
и возвратился

пепельно-седым.

Потом он пел замороженным птицам
о том, как мир прекрасен и велик.
Ему отцы пернатых инквизиций
за эту ересь

вырвали язык!

С тех пор в горах,
от солнца недалеко,
от наших хижин в синем далеке
не слышно песен,

5



К другу стихотворцу

Ташкент, Наталье Буровой

Дорогая Наташа!

Все не выходит у меня из памяти наш разговор, а вернее — твои слова о том, что — когда тебе не работается, не пишется, ты чувствуешь себя глубоко несчастным человеком.

Был холодный вечер, поздняя осень со снегом. Плохо приедем в это неопределенное время года, когда не знаешь, как одеться в дальнюю дорогу. Ты же приехала из Ташкента, где еще цвели кусты роз у тебя под окном, в Чиланзаре.

Укутанная во множество одежек, ты изнемогала от жары в метро и замерзала на уличном ветру. И мы прежде всего стали поить тебя горячим чаем.

Длинный путь от Москвы до Ташкента лежит между нами, и долгие годы отделяют нас от дней нашей студенческой молодости.

Но отделяют, не разъединяя, а, напротив, связывая нас все тесней год от года.

Потому что остается общим главное — наша работа.

Я помню, как ты появилась у нас в общежитии Литературного института на Тверском бульваре. Ты немного опоздала. Занятия уже начались. Была такая же холодная осень. Общежитие помещалось в подвале, и все мы мерзли, а ты больше всех. Спала, укрывшись пальто поверх одеяла, а на перемене в аудитории жалась к теплу батареи. Но твои карие глаза источали постоянный золотистый свет, впитав лучи неведомого нам азиатского солнца. И твой негромкий, чуть хриловатый голос, твое «паньмашь, Гофа», твои неторопливые плавные движения источали покой азиатского полдня. Так что не скоро мы узнали о том, какие нервные бури склонна ты переживать внутри себя. Они, подобные магнитным бурям, не видны извне. Но одно мы сразу почувствовали, — ты поэт, яркий и вполне сложившийся, в отличие от многих из нас, еще искавших себя.

Была ты несколько старше нас, и был у тебя горький жизненный опыт, и маленький Дима писал тебе письма из Ташкента большими печатными буквами.

Но, как ты знаешь сама, жизненный опыт заменить таланта не может, он лишь помогает таланту полнее раскрыться. Как верно заметил один из наших остряков той поры «в семнадцать лет таланта нет — и в семьдесят не будет».

Ты же была щедро одарена. Мы повторяли наизусть твои стихи, радуясь им, как если бы они были наши собственные.

Когда-то пил мой дедушка кумыс
От черной крутобедрой кобылицы,
И тень большой раскрывшейся птицы
Броском к земле проваливалась вниз,
Чтобы опять, высматривая, взвиться.

Мне не надо листать твои сборники, вышедшие в последние годы в Москве и в Ташкенте, для того чтобы привести в письме эти строки.

А дедушка казался мне сильней
Привидевшихся в снах богатырей.
Он клал в карманы сладости для внуков
И бил кнутом плечистых сыновей.

Ты принесла нам свой мир, с запахом нагретой солнцем земли, дрожанием воздуха и миражами, с дымом костра, шумом бешеных горных рек. С гордыми, сильными духом людьми.

Прекрасный мир, еще более прекрасный от сознания быстротекущего земного времени.

И даже дед, большой, широкоплечий,
Лежит в могиле долгие года.
И даже стих, наверное, не вечен...

Так заканчивалось «Семиречье», одно из лучших твоих стихотворений. Не зря так назвала ты и свой первый сборник, выпущенный в Москве в 1965 году. Но строк этих я в нем не нашла, — может быть, кому-то они показались слишком мрачными? А жаль!..

Щемящая грусть то и дело сменяется у тебя радостью бытия, острым ощущением жизни. Твой стих многокрасочен, он позволяет увидеть цвет воды и неба, ощутить запах дыни и вкус персика.

Мы твердили твои стихи наизусть, наслаждаясь звучанием незнакомых доселе названий — Талас, Тиктурмас, Каракол...

Ты рассказала нам, что твоя ранняя молодость прошла в геологических экспедициях. Так вот откуда в твоих стихах эти костры под звездным небом, дальние огни селений, одинокие бродячие псы, приходившие посидеть с людьми у огня.

Я знаю, чтоб песня на свет появилась,
Ей нужен едва уловимый толчок:
Чтоб ветка без ветра зашевелилась,
Чтоб где-то в полночи пискнул сверчок.
.....
Чтоб лопнула плотная шкурка граната
И брызнул струею рубиновый сок.

Мы знали, что твои стихи высоко оценил Луговской и это ему ты обязана своим появлением в Литинституте. Знали, что тебе довелось читать стихи самой Анне Ахматовой.

Но подробности почему-то забылись. И теперь, в эту нашу осеннюю встречу, я спросила тебя, как это было. Ты сказала, что к Ахматовой тебя привела Светлана Сомова. Ты читала свои стихи, Ахматова внимательно слушала, и вид ее выражал одобрение.

— Нет, она держалась просто, — сказала ты, отвечая на мой вопрос. — На ней было ситцевое синее платье. Понимаешь, по молодости лет я даже была разочарована ее видом. Я ждала, что она царств е н н а я, как о ней привыкли говорить...

Мы были очень огорчены, когда после болезни ты

бросила институт и вернулась в Ташкент. И не просто вернулась, а как-то скрылась от всех. Исчезла.

Много лет мы не знали, где ты и что с тобой стало. А ты работала чертежницей и писала, писала стихи. Писать и жить для тебя слова равнозначные.

Жила ты и в нашей памяти. Ты и твои стихи.

...Сегодня мне кажется легким пальто,
А ветер настойчиво дышит,
И все, что ты скажешь сегодня, не то,
Что мне бы хотелось услышать.
Но ты никогда не узнаешь по взгляду:
Чего же мне мало? Чего же мне надо?

Но вот пронеслась добрая весть,— Наташа Бурова, как прежде, в Ташкенте! И пишет стихи!..

Мы перезванивались — Ольга Кожухова, я, Татьяна Сырьцева... Потом в Москве, на страницах журналов, появились твои стихотворения, вышел твой первый сборник. Случилось как бы второе твое рождение. За «Семиречьем» появились «Теплые камни», «Год аиста», «Зеленые шары»... Чудесным образом тебе удалось сохранить в зрелые годы молодость и свежесть восприятия жизни, столь необходимую для поэта.

Не потому ли перестают писать стихи, что перестают воспринимать жизнь как праздник? Пусть на этом празднике порой и взгрустнется.

Слишком много солнечного света
В том краю, где хлопок и айва.
Мокрый камень светит, как монета,
Кажется, что светится трава.
Солнышко затягивает кокон,
Влезть во все старается углы,
В градусниках Цельсия у окон
Не хватает к полднику шкалы.

Воронеж, Владимиру Гордейчеву

Дорогой дружище!

Ты заметил, что наш век не любит писем? Если ты заглянешь в сумку почтальона, то в ней окажется больше телеграмм и бандеролей, чем писем.

Мы привыкли говорить, но отвыкли изъясняться. Письма и дневники отошли в прошлое. Они — достояние старомодного и чуть-чуть неуклюжего XIX века. Мы стремительны — и в дороге, и в оценках, и даже в воспоминаниях. Мы отвыкли останавливать время сердцем. Мы не оглядываемся. Мы несемся вперед ото дня ко дню, от стихотворения к стихотворению. Вспоминаем детство, любовь, обиды, но только не себя. Ты это понимаешь отчетливо. Иначе откуда в твоей книге «Соизмеренья» эти простые и внятные строки:

Мало прослыть человеком,
попросту знающим стих,
главное веянье века
надобно в сердце вместить.

Что ж, можно вспоминать всем сердцем, а можно ему учительски напоминать о чем-то. Не кажется ли тебе, что ты порой напоминаешь своему сердцу, как учитель ученику, о его обязанностях. Я знаю поэтов

.....
Тяга к солнцу в каждом организме,
В каждом побуждения свои.
Потому-то возвращают к жизни
Только силы солнца и любви.

Этой осенью я была, как всегда, очень рада встрече с тобой. Рада, что в Москве у тебя выходит новая книжка. И просто рада видеть тебя.

Мы переговорили обо всем, и тогда ты произнесла те запомнившиеся мне слова. О том, что, когда тебе не работается, ты чувствуешь себя глубоко несчастной. Потому что приходит страх — а вдруг это всё? Конiec стихам?

Когда ты ушла, я много думала о тебе. О твоих словах. И вообще о нашей работе. О том, что нашему делу нельзя научиться. Им нельзя овладеть до конца. Потому что, как только мы научимся писать, успокоимся в своем умении, мы утратим самое драгоценное — возможность искать и находить. Мы остановимся. А останавливаться мы не должны. Наверное, потому и существует выражение — литературный п у т ь...

И еще. Замечала ли ты когда-нибудь, что цветы, наделенные способностью благоухать, распространяют свой запах не непрерывно, а с интервалами. У нас в Подмоскovie, возле моего крыльца, каждый год расцветают ночные фиалки. Я очень люблю эти мелкие, бледно-сиреневые, невзрачные в дневном свете цветы. В темноте, под высоким небом, далеко разносится в прохладном воздухе их изысканно-пряный запах. И вдруг — пауза. А за ней новая волна, словно все эти маленькие, сиреневые цветы выдохнули одновременно.

Я желаю тебе, дорогая, здоровья, счастья, а значит, прежде всего, новых стихов и веры в себя в те дни, за которыми следует новый выдох.

Твоя Инна Гофф

умных и внушительных, которые ходят в вечных учениках у самих себя. Но это учительствование, а не возрастание личности на опыте своей души.

Вот и пишу тебе об этом, потому что многие мысли и настроения твоих книг сродственны мне, и я в твоих стихах ищу не завершенности, не мастерства, а п у т е й прорыва к реальности, к сердцу сегодняшнего дня... Можно это делать «издалека», как это в стихотворении «Воронежские кручи»:

Мысль блеснет тебе лучом,
что для живописи этой
взят тобою, толмачом,
миг один из тьмы столетий.

В поэзии, как в теории относительности, миг уравнен с вечностью, более того, миг — это сжатое в одну точку время. Вот почему он становится болевой точкой сердца. Нет, это ты не о Кольцове и Никитине писал, ты писал о себе, о своих взаимоотношениях с прошлым. И ты в него прорвался на миг, прорвался световым пятном — высветил две-три подробности, и... луч погас. Погасло и стихотворение. Ты сам это понял и попробовал самоутешиться:

Тьмой событий и имен
дрязнят слух и полнят зренье,
с бесконечностью времени,
жизнь, твой соизмеренья!..

Дело в том, что в прошлое мы прорываемся не со стерильным «я», а с тем, чем живем сегодня. «Машина времени» — лирика дает нам возможности соизмерения. Сегодняшний день ты излишне деловито распределяешь и на «вчера» и на «завтра».

Мне было интересно попасть в психологическое состояние твоего стихотворения, потому что «реален мир. Но он и фантастичен в немислимой реальности своей».

Я понимаю, что, когда поэт обращается к своей памяти, он, говоря словами М. Цветаевой, становится «пророком — назад». С этой точки зрения я и рассматриваю твою автобиографическую поэму «Колыбель». Мне интересно, сколько своего «я» ты захватил в ней из своего прошлого, сколько его «спас» для поэзии, что унес из него навсегда с собой:

А что унес — такая малость:
бесхитростно-неумудрена,
всего-то в сердце и вмещалась
звучащей капелькой она.

Ты с годами стал легче, податливей, что ли, на раздумья, ты стремишься соизмерить жизнь и опыт своего сердца, время и переживание. Я бы хотел, чтобы ты, оглядываясь назад, продолжал, как в прежних книгах, вглядываться вперед. У тебя всегда была своя позиция. Она выделяла тебя среди других поэтов. И отделяла. Зачем тебе сливаться с общим лирическим потоком? Усердненна поэзия — удел поднаторевших в ремесле. У тебя всегда было — служение словесности. Лишь бы ты всегда его чувствовал. Лишь бы в душе твоей не кончался твой «семнадцатилетний звездный пад».

Я не могу поучать тебя ни в чем. Особенно в стихах. Ведь они — опыт души. Пусть и не всегда горделивый. Но я хочу от тебя правды. Сущей. Вещей. Правды, как права судить себя беспощадным судом, свои уступки, свою нравственную усталость. Вот я читаю множество стихов — в журналах, газетах, книгах. Некоторые стихи удешевлены до расхожести. И о чем они — убей бог! — не понимаю. Есть рифмы. Есть даже некая женственность или мужественность. Но нет жертвенности. Нет служения. Есть просто служба по ведомству поэзии. Такая поэзия пуста, ибо не обеспечена запасом личности.

Вот почему я возвращаюсь к твоим «Соизмереньям», ища в них упорной и непримиримой, гордейчевой позиции. Я ищу в тебе хранителя поэзии, как в древности были хранители огня. Вспомни, как в конце 50-х годов в Литинституте ты читал на многочисленных поэтических диспутах свои стихи о «станции Касторной однолюбах». Эти стихи и сейчас нужны. И может быть, больше всего именно сейчас.

И нет на свете отреченья
от самых главных наших мет,
как нет и третьего значенья
между словами «да» и «нет».

Нет, ты не отступил — ты уступил новым для себя темам, уступил воле прошлого. И эти стихи-воспоминания порой мне кажутся «идущими от усталости» возраста.

Хотелось сказать о многом, но что делать — чувство дружбы живет рядом с чувством ответственности за нее.

Прежним курсом, капитан!
Прежним прямым курсом, поэт!
Все маяки в море — твои.
Жду оклика песней.

Владимир Цыбин

Ленинград, Сергею Давыдову

Друг мой Сергей!

Начинаю так торжественно, потому что — день-то какой... Праздничный день, радостный, а все же немного не по себе — как-то не верится, что ленинградскому поэту Сергею Давыдову сегодня исполнилось пятьдесят...

Когда отмечались не столь давно полувековые юбилеи Николая Старшинова, Константина Ваншенкина, Егора Исаева и других известных наших поэтов, это воспринималось как нечто само собой разумеющееся нами — литераторами, рожденными в тридцатые годы, знающими о войне не из истории. Давно отгремела война, и вот пришла пора бывшим солдатам, сложившим первые свои стихи в землянках и медсанбатах, выйти на рубеж жизненной зрелости. Мы всегда смотрели на них как на старших и, перейдя порог сорокалетия или вплотную подойдя к нему, понимали, что их удел — разменивать шестой десяток.

Но семьдесят восьмой год преподнес такой сюрприз: пятидесятилетие начинают отмечать люди моего литературного поколения, выпустившие первые книги в конце 50-х — начале 60-х годов! Вы, ленинградцы, — Владимир Торопыгин и Сергей Давыдов — в марте от-

крыли этот счет. А у нас в Москве готовятся встретить пятидесятилетие Владимир Соколов, Валентин Берестов, Андрей Дементьев, Лев Смирнов! Подумать только — пятидесятилетие!

Вот и думаю над этим в такси, везущем меня через ночной Ленинград с твоего юбилея на «Красную стрелу».

Как хорошо ты придумал, выбрав для торжества ресторанчик на Васильевском острове, у самой гавани! Разгоряченные, мы вышли с тобой на угол Большого проспекта, не обращая внимания на еще приличную мартовскую стынью, и ты стал показывать мне в сумерках свою малую родину: кабельный завод, где работал в юные годы, дом, где прошло детство... На твой праздник пришли постаревшие ребята с твоего двора, заводские парни — громадные, как ты. Настоящие гаванцы, как говорят в Ленинграде. В гавани — «Петровский бочаг», берега которого обшиты дубовыми бревнами в годы рождения Северной Пальмиры. Есть легенда, что вода в бочаге особенная: сказочные деревья подарили ей свою жизненную силу — и все гаванские мальчишки, крещенные в этой купели, стойкими выросли, могучими.

А сколько вынесли они на своих плечах! И ты в трагических стихах достойно сказал о беспримерном мужестве ленинградцев:

Ленинградец душой и родом,
болен я Сорок первым годом.
Пискаревка во мне живет.
Здесь лежит половина города
и не знает, что дождь идет.

Память к ним пролегла сквозная,
словно просека
через жизнь.
Больше всех на свете,
я знаю,
город мой ненавидел фашизм.

Наци матери,
наши дети
превратились в эти холмы.
Больше всех,
больше всех на свете
мы фашизм ненавидим,
мы!

Ленинградец душой и родом,
болен я Сорок первым годом.
Пискаревка во мне живет.
Здесь лежит половина города
и не знает, что дождь идет...

Я всегда повторяю эти строки, думая о блокадных днях Ленинграда. Хорошая у нас привычка: я таскаю тебя по заповедным уголкам Москвы, ты меня по любимому городу. Вот и теперь: показал мне улицы Воинова — был ли я на ней? Не раз, ибо в начале ее — дом писателей. Но, однако, она тянется до стен Смольного монастыря, и сколько открывает сердцу наше пешее следование от его гармонической красоты: мы полюбовались отреставрированными «Кикиными палатами», заглянули в Таврический дворец, постояли у дома, где жил Леонид Сергеевич Соболев, которому обязаны нашей многолетней дружбой, — не кто иной, как он, когда-то взял нас с собой на Дни русской литературы в Азербайджан.

Я помню, как слушали твой глубинный бас бакинцы в летнем театре городского парка, как живо реагировали они на притчу «Зачем волшебнику штаны», какая тишина стояла, когда в зал с эстрады падали тяжелые, как камни, слова одного из самых сильных твоих стихотворений:

Не спасайте детей от памяти, —
дети правду узнать должны.
Их спасайте
от новых заводов,
берегите их от войны.

«Девкина заводь»... Рассказ о страшном эпизоде войны. Я видел в прошлом году, как плакали пожилые учительницы, когда ты читал ее перед старшеклассниками прикарпатского города Кромь, — мне кажется, что в последнее время ты как бы стесняешься читать эти стихи перед аудиторией, может быть, со зрелым пониманием думая о том, что поэт должен нести людям радость. Ты чаще читаешь стихотворение «Ильин» — простоватым каким-то казалось оно мне поначалу:

Пролетала мимо окон
бездна красок и картин.
По дороге
вненакоком
я узнал про вас, Ильин.

И с тех пор живу, поверьте,
то в надежде,
то в тоске:
неужели вы от смерти
все еще на волоске?..

Елки лапами качали,
речка Луга проплыла.
Две прекрасные печали
ничего не замечали
и который час
молчали
у летящего стекла.

Были женщины похожи
на усталых балерин.
Вдруг одна сказала:
— Боже!
Только б выжил
мой Ильин...

Но вторая, вслед за нею,
бледных рук ломая лед:
— Даже солнце почернеет,
если мой Ильин
умрет!..

Тих был голос заклинанья,
сердца выстрадавший крик.
Но в заоблачном тумане
солнце вздрогнуло в тот миг!
Вышли женщины за Псковом,
и остался я один,
не гадая, кто вы,
что вы,
что у вас стряслось, Ильин.

О своем я думал, каюсь,
в жизни был такой момент:
мне приснилось,
показалось,
что любви на свете нет.
Мне еще глядели в душу,
над судьбой моей скользя,
дефицитной
польской тушью
удлиненные глаза...

Но твоей платформой, Остров,
меж вещами и людьми
шли две женщины,
как сестры,
не соперницы, а сестры,
как явление боли острой,
словно знаменье
любви...

...Даже в день
дождя и снега,
на заре окно открыв,
я гляжу с тревогой в небо:
вижу солнце —
верю: жив!

Теперь все больше и больше волнует меня оно ненавязчивым проникновением в чужие судьбы, подлинным оптимизмом.

После «Ильина» я заново открыл многие твои стихи. И сегодня, когда я увидел, что поздравить тебя пришли все мои любимые ленинградские поэты (а двое не пришедших имели самые уважительные причины),

вдвойне порадовался: ценят твои земляки «давыдовскую» неспешность в творчестве и надежность характера!

Я очень много еще хочу сказать тебе, но это при встрече. Ты любишь ездить по стране (и легко отзываясь на приглашения Бюро пропаганды, сотрудники которого любят тебя за некапризный нрав, за умение говорить с людьми). Так расположен Ленинград, что все любимые твои маршруты — на Сахалин, в Тюмень,

в Среднюю Азию — проходят непременно через матушку Москву.

Ты знаешь, куда тебе идти с Ленинградского вокзала, — думаю я, идя сейчас по перрону Московского...

Будь всегда таким, как сегодня!

Твой Олег Дмитриев

22 марта 1978 г.

Минск, Радиславу Лапушину

Дорогой друг!

Прочел в «Юности» № 1 твои стихи. Радует меня, что твои думы и чувства значительнее твоих 16 лет.

Когда мы бродили по Минску, мне понравилось твое отношение к своим стихам: не самовлюбленное, мужественное. Твои мысли о братстве людей, о значительности каждой отдельно взятой жизни звучат в слове искренне, потому что они волнуют тебя прежде всего как человека, а потом уже как поэта. Бойся книжности, ищи радость! Как бы страсть писать не стала сильнее страсти обнять, утешить, поверить...

У тебя есть душевная интонация, держись за нее:

Я уеду из этого дома.
Станет пусто в холодном окне.
Здесь поселят кого-то другого,
Навсегда неизвестного мне.

Он, как я, загрустив у окошка,
Будет долгу ночь коротать.

Будет печь золотую картошку.
Будет грустные книги читать.

Он увидит, что дождь закапал,
И отыщет пластинок ряд.
Может, те, от которых я плакал,
Его только лишь рассмешат.

В твоем возрасте никто еще не удостаивался чести напечататься в альманахе поэтического года.

У Заболоцкого есть такие строчки: «Кто весною бывает горласт, тот без голоса к лету останется». Не думаю, что это общее правило. А может, еще звонче запоет?

Хорошо, что в стихотворении о службе в костеле нет игры в литературную веру в бога и нет кичливости, примитивных античувств. Как сын своего века, ты ищешь святость на земле.

Станешь ли ты поэтом? Хочется верить. Есть обещание — серьезное. Об этом говорят стихи.

Игорь Шкляревский

Радислав Лапушин

ПРИХОД ЗИМЫ

И, повинувшись чьей-то силе,
На небе звезды погасили,
И ночь была темным-темна.
Фундамент бросили дома,
Асфальт и почваплыли,плыли.

Деревья мне чужими стали.
На них все белое надели.
Чужие думы нашептали.
Я стал другим. Я стал оленем.
Меня все время настигали.

Куда бежать?
Кругом ночная тьма.
И ноги быстрые застыли.
Я был оленем,
Но его убили.
Теперь без страха захожу в дома.

* * *

Самая лучшая в мире собака
Голову гостю в колени положит.
Будто бы это кому-то поможет...

Самая лучшая в мире собака
Голову ласково клонит и верит,
Что не напрасно распахнуты двери.

Самая лучшая в мире собака...
Ветер придет, и январь постучится.
Больше уже ничего не случится.

Двери закроют, и вечер наступит.
Кто-то на лапу случайно наступит.

* * *

К собору Павла и Петра
Народ стекается с утра.

Там ксендз торжественно ступает.
Там свечи длинные горят.
Там люди тихо говорят
И бог их голосу внимают.

И я стою, никем не ведом,
Среди людей, среди икон.
А я с другого края света
Сюда снегами занесен.

Чужих молитв слова чужие
Я никогда не разберу.
Но слава Павлу и Петру
За то, что столько пережили.

Поет костел с открытой дверью.
Но что мне делать — я не верю.
И просят милость за спиной.

Земное небо надо мной.

Южно-Курильск, Евгению Лебкову

Здравствуй, хозяин Охотского моря!

Что-то ни слуху о тебе ни духу. Писем от тебя не получаю и новых стихов твоих не вижу. Не пишется, что ли? Я знаю, ты привык леса растить, привык к тому, что все на земле делается надежно и медленно: пока взойдут твои саженьцы, пока окрепнут, пока накрелятся их кроны и скрутятся в тугие узлы ветвей под постоянным напором ветра с Тихого океана — проходят десятилетия. Такая неторопливость, конечно, сродни мудрости. Но ведь есть и другая мудрость: под лежащий камень и вода не течет...

Вспоминается мне, Женя, осень тысяча девятьсот шестьдесят третьего года. Добрался я до Сахалина и попал тебе в лапы. Поэтом ты был тогда еще начинающим, а лесником уже вполне известным. Запрягли мы в твоём лесхозе кобылу, сели в телегу и поехали на лесной кордон. По дороге ты читал мне стихи.

Убегу в тайгу нехоженую,
заберусь километров за сто,
облбую поляну пригожую,
не похожую ни на что.
Смастерю себе крышу из лапника,
из елово-пихтовых лап.
Светлячка, словно тихую лампочку,
задучу я к себе в шалаш.

Я слушал и улыбался: тайга кругом была нехоженная и убежать за сто километров не было никакой нужды. Однако надо отдать тебе должное — не было еще в те времена широкоизвестных ныне слов «экология», «природное равновесие», «защита окружающей среды», а ты об этом обо всем уже знал больше других.

...Телега поскрипывала, колеса то и дело проваливались в размокшую после дождей колею, лошадь тяжело дышала — от ее потемневшего крупа шел пар. Дорога подымалась на перевал, за которым гремело холодное Охотское море. Тяжелые темные тучи шли с перевала навстречу нам, едва не задевая рыжую от осенних берез сопку.

— Хочешь, назначу тебя Хозяином этой сопки? — ты показал на нее кнутовищем, и я согласился, но в ответ предложил тебе должность Хозяина Охотского моря, которую ты благосклонно принял.

Перед самым перевалом телега увязла в глине по самую ось, мы навалились на нее каждый со своей стороны, помогая лошади: «Но-о! Давай, родная!» — и я не заметил, как то ли ободом колеса, то ли еще как, с руки моей сорвало старенькие часы марки «Победа» и они утонули в коричневом месиве. Искать их было бесполезно, мы выбрались на сухую часть дороги, распрягли кобылу, достали хлеб, домашнюю колбасу, лук, бутылку спирта для поддержания гаснущих сил и присели у обо-

чины в заросли густой сахалинской осоки. Облака шли над нашими головами с востока на запад, морской ветер пошевеливал в траве.

Сморенные дорогой, запахами моря и спиртом, мы задремали, не думая о том, что засыпаем на голой земле. Впрочем, в те годы все шло на пользу.

Нам не страшны ни хмель, ни хворь,
когда над головою
гуляет ветер, как живой,
и шепчется с травойю.

Через несколько лет ты прислал мне письмо, в котором сообщал, что когда дорогу через перевал отсыпали гравием, бульдозер, подымая грунт, вывернул на поверхность мои часы. Бульдозерист случайно заметил их, взял в руки, встряхнул — и часы пошли. Часы эти привезли тебе. Ты вспомнил, где и как мы их потеряли, и

после этого безымянный перевал был назван перевалом Потерянного Времени...

А сколь же мы его и вправду потеряли, развеяли по ветру, разбросали по бесчисленным путям-дорогам судьбы и родины! Одно только может быть смягчающее обстоятельство нашему мотовству — стихи, которые мы пишем. Потерянное время, превратившееся в слова и рифмы, в мысли и чувства — будь даже это чувства раскаяния и сожаления о нашем собственном разгильдяйстве, — не безнадежно потеряно для нас. А ты ведь еще не все рассказал, что знаешь, о том, как живут и дышат деревья, как под их кронами рождаются звери и птицы, как одни люди разрушают этот прекрасный мир, а другие спасают его... Так что, друг мой, жду твоих новых книг.

Твой Станислав Куняев

Тульская обл., Богородицкий р-н, поселок Бегичево, Виктору Шахову

Дорогой Виктор!

Ваша книжка «Весеннее пламя» меня по-настоящему порадовала. В ней Вам многое удалось — от пейзажа до стихов-портретов, от бытовых зарисовок до стихов, в которых затрагиваются самые чуткие струны души.

В стихотворении «Июль» — точные наблюдения человека, тонко чувствующего и знающего родную природу:

Густой, настоянный на росах,
Рассветный воздух терпко прян.
Стеной поднялся на покосах
Молочно-розовый туман.

Но солнце в мареве дрожащем
Уже с утра раскалено,
И духота проникла в чащи,
Где вечно сыро и темно.

Из леса еле тянем ноги.
Жарища — белый свет не мил.
Звенит овес обочь дороги,
И тоже из последних сил.

Но не только четким рисунком отличается это стихотворение. Хорошо, что это не «чистый» пейзаж, ведь по всему — по его словарю, по частностям — я вижу, что написано оно человеком сельским, а не случайным в деревне, человеком, для которого природа не только красавица, но и — кормилица.

По стихам, опубликованным в книге, я вижу и большее — Вы умеете, как это сделали в «Председателе», показать человека в самый драматический момент его жизни, раскрыть его характер, судьбу, подлинность переживаний, выявить Вашу гражданскую позицию. Ведь председатель колхоза, на которого обрушились сразу все беды — неудачи в делах колхоза, за которые ему не поздоровилось, смерть жены, оставившей на него малолетних детей, — не отделяет одну беду от другой, свое личное от общественного, он просто не в силах это сделать:

Он трудно нити мыслей связывал,
Стыдась невыплаканных слез.
Все про покойницу рассказывал...
А выходило — про колхоз.

Здесь Вы с помощью бытовых деталей поднялись над бытом, и в этом сила стихотворения.

Между тем, читая Ваши стихи в периодике, я нередко испытывал тревогу — мне казалось, что Вы можете впасть в бытописание (такая тенденция, по моему, наблюдалась). А это сковывало Ваши возможности.

Большинство стихов книги «Весеннее пламя» говорит о том, что бытовые подробности уже не являются для Вас самоцелью, они несут более высокую службу. Это Вы доказали, к примеру, стихотворением «Сон»:

Дымятся трубы. Крематорий.
Освенцим. Я уже развеян,
Лечу на Родину, которой
Я и такой, сожженный, верен.

Граница. Родина. Смоленщина.
Ветряк. Речушка. Перевоз.
Седая сгорбленная женщина,
Полуослепшая от слез.

Ее морщины словно шрамы.
Глаза с извечно мольбой.
Кричу, кричу ей: «Здравствуй, мама!»
Я снова дома, я с тобой.

Вновь буду жить под отчей крышей
И никуда не пропадать...»
А мать меня совсем не слышит,
Совсем не замечает мать.

Стоит, качается былинкой,
Концы платка прижав к плечу.
А я над нею пепелинкой
Летаю и кричу, кричу...

Здесь каждая бытовая подробность лишь подчеркивает главное — трагичность происходящего во сне и неистребимую преданность лирического героя Родине.

И в стихах «В лесу» Вы сумели подняться над, казалось бы, чисто внешними подробностями быта, взглянуть в душу человека:

Освобождаясь от всякой ноши,
Иду, своей свободой пьян.
Как будто кто-то бьет в ладоши,
Взлетают горлинки с полян.
Не помня про ночные страхи,
Многоголоса надо мной
Поют, звенят, ликуют пахи
Во славу радости земной.
И в этом щебете и свисте
Такой неукротимый зуд,
Что, кажется мне, даже листья —
И те от птиц не отстают.
— Ах, что же деется на свете! —
Из-за кустов несется всхлип —
Старушка в плюшевом жакете
Ручонки вскинула меж лип.
Изумлена весенним дивом,
Поражена в который раз.
И удивлением счастливым
Полны болотца блеклых глаз.

Именно бытовые подробности («плюшевый жакет», «болотца блеклых глаз»), соединенные с «удивлением счастливым», и являют читателю душу старого человека, так чувствительно воспринимающего пробуждение природы.

А вот в стихотворении «Спутница» у Вас произошел «сбой», Вы добавили в новом варианте единственную подробность — имя мужчины, но это как раз и погубило стихи. Я даже не хочу цитировать их по этому изданию, — привожу прежний вариант:

Плачущую женщину в дороге
Я догнал под вечер за селом.
— Что случилось? — я спросил в тревоге.
— Проходи! — ответила со злом.

Одесса, Ивану Рядченко

Дорогой Иван Иванович!

Для меня открытое письмо — наиболее демократическая форма писательского общения, ибо дает широкое поле для обсуждения любых проблем. Я вспоминаю Одессу шестьдесят второго года, наши долгие споры о поэзии: я — старшему товарищу, ты — младшему, мы говорили тогда друг другу и добрые, и нелицеприятные слова.

Я был в Одессе впервые, но книги, кинофильмы, песни давно сделали твой город хорошим знакомым для многих советских людей. Я знал, что в Одессе живет поэт Иван Рядченко, но для меня твое имя было не просто одним из многих писательских имен, чередующихся на страницах журналов и газет, — за ним стояли любимые строчки и стихотворения.

Мы встретились, читали друг другу стихи, и, повторяю, разговоры наши о них были далеко не комплиментарными. Я с прямотой юности сказал однажды о новом твоём цикле, что много в нем торопливых строк, что отдельные стихотворения банальны, поверхностны,

Чтобы не травить чужую душу,
Я ее оставил позади.
Но она мне крикнула: — Послушай!
Я одна боюсь, не уходи.

Шел я рядом, был я нем как рыба.
Но почти у станции самой
Мне она промолвила: — Спасибо!
Если бы таким был м и л ы й мой...

И с годами звонче, а не глуше
Слышится, живет в моей груди
То необъяснимое: — Послушай!
Я одна боюсь, не уходи.

Болью незажившего ушиба
Летом ли, весною ли, зимой
Обжигает сердце мне: — Спасибо!
Если бы таким был м и л ы й мой...

И вдруг в книге слово «милый» Вы заменили именем «Ваня»: «Если бы таким был В а н я мой». Эта бытовая деталь убила стихотворение, обломала ему крылья...

Я знаю, что у Вас есть дополнительные трудности, которые мешают заговорить «во весь голос». В частности, оторванность от литературной среды, занятость в поселковой школе, где Вы учительствуете. Хотя эта занятость и дает Вам с другой стороны то, чего иногда не хватает кое-кому из нас — близость к самой жизни.

Вероятно, Вам некому подсказать, что в книжке Вашей есть, например, заметное ритмическое однообразие — треть ее стихов написана четырехстопным ямбом. Это многовато...

Но в целом «Весеннее пламя» — книга, заслуживающая внимания самого широкого круга читателей.

С уважением Николай Старшинов

просто недостойны твоего таланта. Я видел, как ты огорчился. Но я заметил, что ты и обрадовался, стоило мне в подтверждение своих мыслей прочитать наизусть твое старое стихотворение:

Когда ты лгал в бою под Сталинградом
бессмертному сержанту своему,
что не задет взорвавшимся снарядом,
и стон скрывал улыбкою в дыму;
когда ты знал: припасов больше нету,
твердил, что сыт, и, сделавши привал,
как целый мир, последнюю галету
товарищу больному отдавал;
когда в глазах у женщины заветной
ты замечал вдруг жалость, а не пыл
и лихо врал в печали безответной,
что встретил и другую полюбил, —
тогда, сойдя на землю с пьедестала,
швырнув, как тряпку, мантию судьи,
перед тобою правда преклоняла
колени неистертые свои!

И вот через много лет снова восхищаюсь твоими прекрасными стихами, читая книгу «Суровая вахта», вышедшую недавно в издательстве «Радянський письменник». Трогательно, честно стихотворение «Посреди неистойвой войны». Ненавязчивая аллитерация делает его полновзвучным, а точные детали придают сказанному убедительность и силу:

Гром ползет на дымные пригорки,
Там березы горестно черны.
Там стоит девчонка в гимнастерке
посреди неистойвой войны.

Вуют мины, лают самоходки.
А девчонка замерла, светла.
Возле набекременной пилотки
вьется оглушенная пчела.

И далее:

Свистнет пуля над травой белой,
рухнет с неба солнца желтый плод,
и под сердцем вишней переспелой
ягода молчанья расцветет.

И застынут дымные пригорки,
где березы горестно черны,
где лежит девчонка в гимнастерке
посреди неистойвой войны.

Продолжая трудное сраженье,
не услышат пушки и войска,
как жужжит пчела недоуменья
у пушисто-нежного виска.

И тогда поднимется пехота
и с пехотой я, ее солдат,
чтоб пройти сквозь два победных года,
через сотни тягостных утрат.

Петрозаводск, Валентину Устинову

...Много, очень много лет тому назад, впервые говоря со мной о моих стихах, Михаил Аркадьевич Светлов, положив свою почти невесомую руку на мое плечо, сказал — с какой-то удивительной, нежной и непререкаемо серьезной, доверчивой и неуловимо про-нической интонацией — «Мальчик мой...»

Я только что прочел (единым духом, имея в виду!) твою новую книгу стихов и поэм «Братчина»; сразу же стал необходим разговор с тобой и — для зачина — позволю мне украсть у Светлова первую фразу.

Мальчик мой!

Я тебя поздравляю: настоящая книга поэта!

Чуть попозже поговорим конкретно о ней. А пока — я немного о себе, ладно? Понимаешь, я, в общем-то, — не только по отношению к стихам — способен либо восторгаться, либо никак не принимать, либо оставаться безучастным. К сожалению, в поступках я не был столь категоричен. В шестьдесят лет мне нелегко признаться, что, скажем, равнодушие свое я слишком часто облекал в дипломатические упаковки, отыгрывался улыбками, похваливал не похвальное...

...Посвист пуль, атаки и раненья — все ушло с полей сражений в сны.
Лишь порой пчела недоуменья
залетает в комнату с войны.

Многие стихи из книги порадовали и тронули меня. Размеры письма не позволяют все их процитировать, и я вынужден их просто перечислить. Это — «Оловянные солдатки», «Притча о птичке», «Полный профиль», «Закон снабженческий свиреп», «Не мог я знать», «Мой вещмешок...» и т. д. Хочу сказать, однако, что при чтении книги и ко мне порой залетала «пчела недоуменья».

По поэтическому характеру, по творческим установкам твоя поэзия близка к творчеству любимого мною Ярослава Васильевича Смелякова.

Факт, обобщенный и приподнятый фантазией и музыкой, — так я определяю твою поэтическую суть. Однако в стихотворении «Последняя пуля» оживает образ во многом схожий с «пареньком красноармейским» Ярослава Васильевича.

Стихотворение вторично и, хотя оно отлично написано, не обязательно для тебя.

Невысокомерная критика, даже такая, с которой ты не согласен, все-таки позитивна, ибо она будоражит твое самолюбие, возбуждает ум, желание утвердить и отстаивать свою творческую правоту.

Да не покроет нас тлетворный жирок благодущия! Независимо от возраста работы впереди непочтатый край.

Некоторые литературные орлы, витающие в облаках классической поэзии и спускающиеся на землю только для того, чтобы испить живой крови современного поэта, пытаются уверить нас и читателя, будто в поэзии пора упадка. Но вот и твой пример убеждает, что это совсем, совсем не так. Дух поэзии бродит, бродил и будет бродить по городам и весям великой нашей Родины.

Обнимаю тебя,

твой Владимир Костров

ве спросить: а при чем тут поэзия? Все вышесказанное — приметы скорее прозы.

А поэзия тут при том, что ты владеешь секретом (завидным для меня) через факт, оперируя действием, сюжетом, раскрыть и столкнуть события нравственные, движение и проблемы духовной жизни человека. У твоих солдат «пыль судьбы ложится на погоны». Не удивляйся, что я вторично ссылаюсь на стихи «военного» порядка, единственные в книге, — у меня-то вся молодость армейская. В твоём, как я выше сказал, «экзотическом» мире, знакомом мне по коротким гостеваниям, ты не только исконный житель, ты — добытчик. Не зря тебе дорого это слово: в «Братчине» оно повторено трижды, не говоря уже о том, что «Добытчики» — одно из лучших стихотворений твоей первой книги «Талан». Пусть, скажем, в поэме «Путина» ты непосредственный участник событий, вместе с другими рыбаками едва не погибший на заполярном островке, а в «Якове Окладникове» строчишь в качестве репортера «о Печоре и путине что-то срочное в блокнот». Для меня, читателя, главное в том, что и там и тут ты добываешь глубинную суть поступков и движения человеческих душ, ищешь и находишь поэтическое слово для выражения ее.

Не всегда у тебя безошибочно это слово, не каждая строка безукоризненно точна, а рифмы порой просто неряшливы. Но, я думаю, о твоих «огрехах» мы побеседуем при встрече. Для меня самое дорогое в твоих стихах сформулировал ты сам. Помнишь, в стихотворении «Пир» ты признаешься, что лучше одной нечаянной репортерской заметки «Ничего я столь искусно, столь полезно не писал»?

А всего-то в кои веки,
опасенья подавив,
о хорошем человеке:
он хороший! — заявил.
Уж какая там заслуга,
если сами так живем,
что за друга —
аж за друга! —
если вдруг случится туго,
заступаться не пойдем...

Тебя, кстати, очень трудно цитировать, потому что сила твоя не в отдельных строчках — в целом стихотворении, цикле, книге. Я уже говорил о драматургии твоих работ — она наличествует даже в более или менее коротких стихах, а ты к тому же предпочитаешь длинные; может быть, почти все написанное — небольшие поэмы. «Я ведь бахарь» — говоришь ты. А «бахарь», как объясняет «Литературная энциклопедия», это «профессиональный сказочник».

Немалое место в книге занимают стихи о любви; раньше тема «про это» шла у тебя как бы по касатель-

ной. Заметил ли ты, что любовь у многих сегодняшних поэтов происходит в некой заоблачной невесомости? Просто ангелы, а не живые люди. Это Пушкин мог, как говорила Анна Андреевна Ахматова, «ногу — ножкой называть», а нынче звучат то молебствия, то стенания. У тебя любовь — земная, плотская, — порой боишься, что вот сейчас тебе на секунду изменят такт и вкус. К счастью, этого не происходит. Счастливая и горестная, смятенная и возвышенная любовь у тебя. Я все-таки доставляю себе удовольствие и процитирую тебе твои же строки.

Словно после молотьбы
простыни спиной коснулся
и уснул.

И вдруг проснулся
совершенно молодым.

В окнах высилась луна,
пол расплавив на квадраты.
И — лицом в подушке смятой —
молча плакала она.

В травах плавился родник.
— Я от счастья — не от горя... —
Но дрожал пичугой в горле
болевым зажатый крик.

Ах, по девственной воде
струйка ветра пробежала!..
Повзрослев — она лежала.
Он лежал — помолодев.

Стихи о поэзии, о самих стихах (их, правда, немного) нравятся мне как-то меньше. И уж совсем не по душе «Созвездие лиры». Неужто это ты, Валентин Устинов, произносишь такие строки: «Всю ночь я слушал, замерев, глухие вздохи мирозданья» или «Я стал желать, а не молить. Я рвал гармонию печали»? Иные, давно отзвучавшие голоса слышатся мне. Дело не в том, что это плохо, а в том, что не однажды и с незапамятных времен произнесено до тебя.

А в основном вся книга — жестокая и добрая правда.

Вот тебе с пылу с жару мои первые, коротко и сумбурно высказанные впечатления о «Братчине». Отнюдь не уверен, что все сказанное мной бесспорно. Может быть (даже наверняка), многие читатели воспримут твои стихи по-иному.

Ты мне доставил много радости своей книгой. В последнее время такое случается не часто; возможно, что к старости я стал придирой и скептиком. Тебя же прочел, как говорится, взахлеб. Спасибо!

Марк Соболев

Ленинград, Вадиму Шефнеру

Дорогой Вадим Сергеевич!

Давний и постоянный Ваш читатель, на этот раз я рискнул «обнародовать» кое-какие впечатления о Ваших стихах. А поводом послужила подборка в присланном Вами ленинградском «Дне поэзии 1977».

Чего греха таить, получая книги знакомых и не-

знакомых поэтов, мы не всегда прочитываем их с тем тщанием, к которому обязывает искренний и компетентный разговор о прочитанном. Дело, конечно, не только в нашей нерадивости и лени или в постоянной «замотанности», но, случается, — и в самих книгах, не возбуждающих активного читательского чувства.

Ваши я прочитываю всегда. Многому в них сопереживаю, многое вызывает восхищение тонкостью наблюдений, пластикой, особой, ленинградской ажурностью письма. Вот этот мираж — он привиделся Вам на литовском хуторе:

Там конструкции странной
Кто-то строит мосты
Из теней, из тумана,
Из цветной темноты;
Там не здешние зданья
Кем-то возведены
Из росы и молчанья,
Из осколков луны.

А ведь тут не только игра воображения (фантастика Вам не чужда, это хорошо известно), но и трансформированные им до неузнаваемости и все же интуитивно угадываемые ленинградские впечатления и, простите за столь условную, не литературоведческую терминологию, ленинградский графический артистизм. Впрочем, я пустился в рискованное предприятие — рассуждать о петербургско-ленинградской поэтической традиции, — все-таки она настолько трудно уловима, настолько условна, что, видимо, надо быть, помимо всего прочего, истинным ленинградцем, чтобы ощутить и выявить ее более внятно...

Ваше умение живописать словом, Ваше пластическое искусство наглядно сказалось в стихотворении «Милость художника». Прочтение «старинной остзейской гравюры» так славно удалось, что она будто бы ожила под Вашим пером, пришла в движение. Читая стихотворение, забываешь, что это описание графического произведения, — такая широкая и многоплановая панорама жизни возникает из отдельных деталей. Главная живописная подробность в этой панораме раскрывает и ее философскую сущность.

...А Мальчишка глядит на подснежник,
Позабыв про пустую суму, —
И с лицом исхудалым и нежным
Поселянка склонилась к нему.

На фоне дьявольского хоровода скелетов, чертей, королей, пивоваров, ландскнехтов — они вечны, бессмертны, в них — жизнь, истина, ибо они «не втиснутся в дьявольский круг».

В Вашем «Сальери» использован кочующий сюжет, каких немало в мировой литературе. Достаточно вспомнить легенды о Дон Жуане, Тристане и Изольде, Тангейзере, Фаусте. И кстати сказать, рискованное это дело — обращаться к сюжетам, имеющим классические художественные воплощения. Но успех или неуспех здесь целиком зависит от личности и таланта художника, от самостоятельности мотивов обращения и современности интерпретации известного сюжета.

Ваше, Вадим Сергеевич, двухчастное стихотворение «Сальери» — это сегодняшнее обращение к вечной теме добра и зла. Легенда о Моцарте и Сальери — повод, дающий возможность в определенном аспекте выразить свою нравственную позицию.

Не сразу, не с первых строк выявляется Ваш взгляд на вещи, хотя характерные своею жесткостью поэтические формулы и могут поначалу создать впечатление концептуальности. Особенно формула времени, для которого «костлявая, бледная правда милей, чем раскормленный миф!». Главный поэтический тезис в первой части стихотворения, тезис, который затем раскрывается и в тексте и в подтексте, — этот:

Об истине голой радея,
Мы видим из нынешних дней

Под маской Сальери-злодея
Попроще лицо, поскромней.

В дальнейшем развитии сюжета, когда говорится о том, что «в прошлом с его осуждением не следовало спешить», что он «был в своей Вене оболган», «но все-таки не навсегда», — я начинаю угадывать подспудное назревание антитезы, несогласие. Но — какое, с чем? На этот вопрос и отвечает вторая часть стихотворения.

Еще раз воздав должное времени, эпохе, срывающей с мифов личины, Вы говорите о нравственной сути легенды:

Но венская выдумка эта
Вела к обличению зла, —
Она мудрецам и поэтам
Тревожным сигналом была.

Образ Сальери в Вашем представлении становится символом Зависти, Зла. В такой интерпретации нет ничего нового, если трактовать его по легенде, но не по исторически установленным фактам. Им, фактам, их достоверности Вы отдаете должное, хотя я не совсем понимаю, почему надо было правду называть «костлявой, бледной» — лишь для того, чтобы противопоставить «раскормленному мифу»?

Ваше внимание привлек «развенчанный, но не сраженный» облик Зависти. В конце концов Вы, подчиняясь исторической справедливости, реабилитируете мертвого Сальери, но вместе с тем напоминаете: «Живут еще в мире сальери, живых мы, живых узнаем!» Сальери с маленькой буквы — обобщение, символ, Вы отделяете его от исторического Сальери, обращая взгляд на современность, как бы говоря этим, что историческая правда — важна, но еще важнее — забота о нравственном здоровье современника.

Я не преувеличиваю достоинств стихотворения «Сальери», мне кажется, оно несколько залогизировано, заформулировано, но оно не вторично по мысли.

В «Размышлении о стихах» у Вас есть строки о том, что стихи — «не учебное пособие» и что «милее им в простом быту, почти неслышно и невидимо, жить, подтверждая красоту всего, что вроде бы обыденно». Я вступил бы с Вами в спор по поводу неполноты этой формулы, если бы тут же не прочел ее продолжение, то самое «но», которое открывает поэзии возможность и выходить на трибуну и сражаться на баррикадах.

Да и стихи такого плана, как «Открытая ночь», цитировавшаяся мною в самом начале, или «Три странника», не отнесешь к поискам красоты в обыденности. Это все есть в других Ваших стихах, в других книгах. «Открытую ночь» я бы отнес к жанру философской лирики, ведь суть стихотворения — в отгадывании непознанного, в ожидании открытий вселенского масштаба, открытый в самих себе и на грешной нашей земле...

Особое слово мне хочется сказать о стихотворении «Случайность».

Сколько уж лет прошло после окончания войны, а мы с Вами, дорогой Вадим Сергеевич, как и другие ее участники, до сих пор несем в себе ощущение то ли вины, то ли какой-то непосильной ответственности перед павшими товарищами и ищем объяснения, оправдания своего «избранничества».

Тревожащая душу совесть задает вопрос: «Тебе идет седьмой десяток лет, а чем ты тех, кто раньше умер, лучше?» Из него еще неясно, что речь-то идет о павших на поле брани, но, зная поэта, его судьбу, об этом можно догадаться. И когда в строках стихотворения возникает ссылка на «ничтожный случай», то догадка уже почти подтверждается.

Из общих рассуждений об «иерархии причин» смертей и спасений Вы извлекаете «не очень-то большие величины», которые, однако, оказываются порою главнейшими. В образном воплощении этих малых «величин», в нахождении их и сказывается Ваше искусство многоговорящей детали.

Гляди, гляди в минувшее, старик!
Твое везенье, может быть, таится
В пушинке тополиной, что на миг
У снайпера повисла на реснице.

И может быть, давно б тебя земля
Взяла, избавив от соблазнов поздних, —
Но старшина, блокадный хлеб деля,
На целый грамм в твою ошибся пользу.

В том, что лирический герой выступает здесь под местоимением «ты», есть особая деликатность. Это местоимение легче распространяется на других, нежели местоимение первого лица. И в то же время назидание в конце: «Живи — и помни среди земных забот, что для других все кончилось иначе, — и их невольно оскорбляет тот, кто видит перст судьбы в слепой удаче», — все-таки не звучит дидактично, ибо мы понимаем, что «ты» — это «я», что назидание обращено прежде всего к самому себе.

Вот что хотелось сказать Вам, Вадим Сергеевич, о Ваших стихах.

С дружеским приветом и добрыми пожеланиями —

Ал. Михайлов

6



«ГОМЕР ГВАРДЕЙСКОГО ПОЛКА...»

О Сергее Орлове

Просматриваю свежий номер «Комсомольской правды». Прошло тридцать пять лет со дня победы под Сталинградом. В одном из писем, полученных редакцией в связи с этой датой, читаю: «Его зарыли в шар земной...» Эти стихи, написанные поэтом-фронтовиком Сергеем Орловым еще в дни войны, — послание потомкам. В трагическом раздумье поэта есть и пафос надежды: подвиг солдат, погибших за Родину, никогда не будет забыт...»

Упомяните в разговоре имя Сергея Орлова. Вы тотчас услышите:

— Это тот, который написал «Его зарыли в шар земной...»?

Так с именем Н. Тихонова неразрывно связана «Баллада о гвоздях», с именем М. Светлова — «Гренада», с именем В. Луговского — «Песня о ветре», с именем А. Суркова — «Землянка», с именем К. Симонова — «Жди меня», с именем О. Берггольц — знаменитые строки «Сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам».

Счастлив поэт, создавший хотя бы одно стихотворение, которое — подобно стихам, только что названным мной, — поистине стало достоянием народа.

Но не приобретает ли порой это счастье оттенка горечи?

Не случается ли иногда так, что признанное народом, широко известное, прославленное стихотворение как бы заслоняет собой все то, что поэт пишет впоследствии?

Сколько раз при жизни М. Светлова, когда появлялись его новые стихи, приходилось слышать (а нередко — что греха таить! — думать и самому):

— Неплохо, конечно. Но ни в какое сравнение с «Гренадой» не идет...

Только после смерти Светлова, когда все написанное им было бережно собрано воедино, мы поняли, какое это богатство.

Нечто в этом роде происходит сейчас с поэтическим наследием Сергея Орлова.

Мы заново воспринимаем и по-новому оцениваем многие уже известные нам стихи (помните, у Ахматовой: «Когда человек умирает, изменяются его портреты...»); может быть, то же самое происходит и со стихами?). С особенным же интересом вчитываемся мы в то, что поэт не печатал при жизни — не успел или не захотел — и что теперь публикуется впервые.

А публикуется впервые множество стихов, написанных в самые разные годы. Требовательный автор, видимо, считал их недостойными печати. Виолетта Орлова обнаружила их после смерти мужа. Благодаря ей они стали появляться крупными циклами в газетах и журналах. Благодаря ей стала возможна и наша публикация.

Орлов не любил, когда говорили, что поэтом сделала его война.

— Война не может сделать человека ни поэтом, ни педагогом, ни инженером, — возражал он. — Война может сделать его только покойником.

Это, конечно, не значит, что Орлов страдал недооценкой того огромного жизненного, душевного, человеческого опыта, которым обогатила его война. Просто-напросто ему важно было подчеркнуть, что и на войну он шел поэтом — пусть и совсем юным, только-только начавшим печататься.

При нашем первом знакомстве — в марте 1943 года на Волховском фронте — он прочитал мне свою прелестную «Тыкву». Вышедший в 1971 году — к его пятидесятилетию — стихотворный двухтомник открывается разделом «1938—1940», куда кроме «Тыквы» входит единственное стихотворение — «Всплошную голубым мороз разрисовал окно». Я нашел его в журнале «Ленинград», в одном из апрельских номеров 1941 года. Девятнадцатилетний поэт жил тогда в Белозерске и ничего не знал о том, что ждет его в столь близком будущем.

Вернувшись через тридцать лет к своему юношескому стихотворению, Орлов исправил в нем всего несколько строк. Теперь к этому стихотворению и «Тыкве» присоединяется написанная в 1940 году и впервые публикуемая нами такая же наивно-прелестная, простодушная «Туча»: «Шла по тропке туча босиком...»

Прочтите хотя бы одно из трех известных нам коротеньких стихотворений довоенного юного Орлова, и вы убедитесь, что на войну действительно шел поэт. Впрочем, может быть, следовало бы сказать иначе: на войну шел юноша с задатками поэта. Пришел же с войны зрелый муж, бывалый солдат, настоящий поэт. Ему суждено было запечатлеть то, что он видел и пережил, на страницах своих поистине пропахших порохом книг.

Однако мы непростительно ошиблись бы, если бы свели все богатство поэзии Сергея Орлова к военной теме.

Осенью 1976 года мы несколько дней провели с ним в Коктебеле. Разговаривали на самые разные темы. Меня поразила убежденность, с которой он развивал свои «марсианские» теории. Он твердо верил, что жизнь существует не только на Земле...

Уже после его смерти был опубликован отрывок из большой поэмы о космосе, над которой он, оказывается, работал. «...Улетали с Марса марсиане в мир иной, куда глаза глядят».

После войны Орлов много ездил по нашей стране и вообще по свету. Он писал обо всем, что так или иначе западало ему в душу: и о Петре Великом в Вологде, и о черемухе на Петроградской стороне, и о Волго-Доне, и о голубых мечетях Стамбула, и о гибели Че Гевары, и о земле Эллады, и о старой Праге, и о своем старинном — озерном и лесном — белозерском крае. Много стихов он — однолюб! — посвятил верной любви, проходящей через всю человеческую жизнь. Я думаю, что Орлова-лирика мы и сейчас еще не оценили по-настоящему.

Сергей Орлов

1921—1977

ТУЧА

Шла по тропке туча босиком
Ясным летом, синим вечером
Полям в перелесок через рожь...
Говорили люди: дождь хорош,
Выносили пыльные цветы,
Глаз не опускали с высоты,
Там, за тучей, радуга плыла,

* * *

Сраженья да походы.
В дыму моя края.
И молодость проходит,
Бездомная моя.

Пройдет — и не заметишь,
Что жизнь твоя как дым,
И никогда на свете
Не будешь молодым,

Но сколь широк ни был бы диапазон его поэзии, главной темой — что там говорить! — конечно, оставалась для него война, память о ней, не ослабевающая ни на минуту даже во сне («Человека осаждают сны, смутные видения войны!»).

За несколько лет до смерти Орлов опубликовал стихотворение «Когда это будет, не знаю...»:

Когда это будет, не знаю,
В краю белоногих берез
Наш праздник Девятое мая
Отпразднуют люди без слез.

Поднимут старинные марши
Армейские трубы страны,
И выедет к армии маршал,
Не видевший этой войны...

Это стихотворение цитируется теперь почти так же часто, как «Его зарыли в шар земной...». Оно — возвращаюсь к письму в редакцию «Комсомольской правды» — тоже «послание потомкам».

Впрочем, таково решительно все, что написал об Отечественной войне Сергей Орлов, «Гомер гвардейского полка», как он сам себя однажды назвал.

Словно два цветастые крыла,
Словно в лентах девичья коса...
Ой ты, туча, туча, свет-краса,
Босиком да с этакой косой,
С несказанною почти красой!

1940

Девчонку молодую
Рукой не обймешь
И песенку простую
О счастье не споешь.

В земле истлеет тело,
Упавшее в кусты.
Кому какое дело,
Что жил на свете ты!

* * *

Вокруг весна беспутная летела,
От нетерпенья жгучего дрожа,
И даже медь на гильзах зеленела
И прорастали бревна в блиндажах.

А мы стояли над могилой кругом.
Она, как двери рубленой проем,

В тот мир, откуда нет возврата другу,
Где и весна и зелень — ни при чем.

Ему теперь ни осени, ни лета
Не увидеть над буйной головой.
Навек в шинель сосновую одетый,
Он навсегда остался с той весной.

* * *

А было над Волховом синим —
В крови поднимался рассвет,
Завязшие танки в трясине
И черные ленты ракет.
Болота, болота, болота.
За каждую кочку бои,
И молча в отчаянных ротах
Друзья умирают мои.
Ползут по кровавому следу,
По черному следу полки,
Лишь веруя сердцем в победу,
Рассудку уже вопреки...

ОТКРЫТКА

Недели две разыскивала почта
Четырехзначный номер ППС.
И почтальон доставил темной ночью
Открытку в роту, в обожженный лес.

Но адресат погиб на переправе,
И ротный писарь написал в углу:
«Вернуть за невозможностью доставить», —
И почтальон ушел в ночную мглу.

Она вернулась, наконец, обратно;
Такой же писарь в блиндаже лесном
«Доставить невозможно адресату», —
Отметил молча на углу другом.

Потом подумал: «Час лишь, как убит он»,
Глазами строки пробежал и встал —
Все было как положено в открытке:
О жизни мертвый мертвому писал...

* * *

В детстве в речке меня ловили,
Откачали, остался жить.
Парнем стал, в поход снарядили,
Шлем танкистский дали носить.

Дважды пламенем опаленный
(На газойле горит броня,

Ключья кожи летят с ладоней),
Я выскакивал из огня...

Все прошедший — огонь и воду,
Не в пословице, наяву,
Сколько лет, до какого года
Проживу?..

Публикация В. С. Орловой

Маргарита Алигер

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ПОДВИГ?

Помню, как однажды, в обществе, где присутствовала Анна Ахматова, было помянуто кем-то имя Матери Марии. «Лиза?» — каким-то очень будничным голосом переспросила Анна Андреевна. Для нее Мать Мария, личность, ставшая уже легендарной, все еще оставалась даже не Елизаветой Юрьевной, а попросту Лизой, одной из многих петербургских поэтесс великолепного начала нашего века. Была такая, одна из многих, урожденная Лиза Пиленко, в замужестве Кузьмина-Караваева. Выросшая на юге, она не любила Петербург и тяготилась его сумеречными зимами, сыростью, стужами. Скучала о море и солнце. Писала стихи и любила стихи и однажды на литературном вечере в каком-то реальном училище, где-то в Измайловских Ротах, услышала неведомого ей ранее поэта Александра Блока. И задохнулась от восторженного изумления, и поняла всем своим юным существом: «передо мной что-то небывалое, головой выше всего, что я знаю, что-то отмеченное». Так написала она сама спустя много лет после той первой встречи, в тридцать шестом году, к пятнадцатилетию смерти поэта. В своих «Встречах с Блоком» Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, будущая Мать Мария, достаточно полно рассказывает и себя, достаточно подробно рассказывает и о своем становлении, о себе в юности и молодости:

«За плечами было только 14 лет, но жизнь того времени быстро выросла нас. Мы пережили японскую войну и революцию, мы были поставлены перед необходимостью спешно разобратся в наших детских представлениях о мире и дать себе ответ, где мы и с кем мы. Впервые в сознание входило понятие о новом герое, имя которому — Народ».

В той России, в том Петербурге росла девушка, думающая и ищущая своей правды, своего пути в жизни:

«Я мечтала встретить настоящих революционеров, которые готовы каждый день пожертвовать своей жизнью за народ. Мне случалось встречаться с какими-то маленькими партийными студентами, но они не жертвовали жизнью, а рассуждали о прибавочной стоимости, о капитале, об аграрном вопросе. Это сильно разочаровывало».

А жизнь шла своим чередом. Девушка вышла замуж, попала в круги самой рафинированной петербургской интеллигенции, стала бывать на башне у Вячеслава Иванова. Чутким

своим сознанием она старалась осмыслить, что происходит с ней и с ее близкими, куда их несет и относит и что представляет из себя их странное, почти призрачное существование:

«Непередаваем этот воздух 1910 года. Думаю, не ошибусь, если скажу, что культурная, литературная, мыслящая Россия была совершенно готова к войне и революции. В этот период смешалось все. Апатия, уныние, упадничество, — чаяние новых катастроф и сдвигов. Мы жили среди огромной страны словно на необитаемом острове. Россия не знала грамоты, — в нашей среде сосредоточилась вся мировая культура — цитировали наизусть греков, увлекались французскими символистами, считали скандинавскую литературу своею, знали философию и богословие, поэзию и историю всего мира, в этом смысле были гражданами вселенной, хранителями великого культурного музея человечества. Это был Рим времен упадка. Мы не жили, мы созерцали все самое утонченное, что было в жизни, мы не боялись никаких слов, мы были в области духа утонченноциничны и нецеломудренны, в жизни вялы и бездейственны... Мы были последним актом трагедии — разрыва народа и интеллигенции. За нами простиралась всероссийская снежная пустыня, скованная страна, не знающая ни наших восторгов, ни наших мук, не заражающая нас своими восторгами и муками».

Человек, столь трезво и беспощадно определивший характер своего существования в обществе, столь беспощадно оценивший его, — впрочем, возможно, что это оценка значительно более поздняя, — неизбежно должен встать перед глубокими решениями, перед выбором своего дальнейшего пути. Понять и решить, как жить дальше, куда податься, в какую сторону шагнуть. Но, как правило, решает все это не только человек, но и время его судьбы, история, жизнь, окружающая его. Молодая женщина не пишет о них, а свои воспоминания о Блоке она обрывает шестнадцатым годом, в самый канун роковых поворотов истории. Мы знаем только, что в 1919 году Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева очутилась в эмиграции. Вероятно, на том и оборвалось бы все, что нам известно об этой скромной поэтессе и, очевидно, глубоко думающем и чувствующем человеке, но жизнь решила иначе. Есть судьбы, подобные пружине, имеющей закон обратного действия. Они развертываются в обратном на-

правлении, начав действовать в тот момент, когда обрывается жизнь человека. Такова судьба Матери Марии.

Она погибла трагически в печах лагеря Равенсбрюк. Бытует легенда, что она спасла осужденную на казнь молодую русскую женщину. Проникла к ней в камеру как монахиня — для последнего причастия, — и, увидев, как молода осужденная и как трудно ей расставаться с жизнью, обменялась с ней одеждой. Молодая женщина в платье монахини вышла на волю, а немцы казнили Мать Марию. Теперь вся ее жизнь наполнена для людей новым смыслом, новым значением. И нам хочется узнать как можно больше об этом удивительном человеке, оказавшемся столь сильным, полным отваги. Какой она была? Какая ей выпала судьба? Как сложилась ее жизнь? Мы жаждем узнать об этом как можно больше, но свидетельств сохранилось мало, и все они весьма скупы и однозначны. Все говорят о ее доброте, о ее благородстве и отзывчивости, которые в условиях фашистской оккупации удесятерились и приняли характер весьма активный и наступательный. Ее широкая благотворительная деятельность среди эмигрантов дополнилась многообразной заботой о тех, кто действовал в Сопротивлении, о тех, кто очутился в фашистских концлагерях, о их осиротевших семьях. В доме при церкви на улице Лурмель Мать Мария еще в предвоенные годы организовала дешевую столовую и общежитие для нуждающихся русских, и в годы оккупации этот дом стал одним из центров антифашистской пропаганды и деятельности. В столовой общежития висела во всю стену огромная карта Советского Союза, на которой Мать Мария собственноручно каждое утро передвигала флажки в соответствии с московскими сводками. Сводки принимала она сама — в ее келье стоял мощный по тем временам радиоприемник. Вероятно, деятельность этой странной монахини была весьма разнообразна, и действовать приходилось самыми разными путями. Приходилось укрывать преследуемых, помогать им бежать в неоккупированную зону, добывать для них фальшивые документы, да мало ли чего... Все это огромно и поразительно, но мы знаем об этом весьма непорочно, в общих словах немногих ее сотрудников и соратников. Но может быть, больше и подробнее расскажут нам о Матери Марии ее стихи? Ведь она продолжала писать, это было потребностью ее души. Что же может быть более значительно и достоверно, что может с большей глубиной раскрыть мир чувств, в котором существовала эта удивительная женщина? Вот ее стихи, уцелевшие и дошедшие до нас. Среди них много стихов дати-

рованы концом двадцатых и началом тридцатых годов, а ведь Елизавета Юрьевна только в тридцать третьем году стала Матерью Марией. И самые поздние стихи помечены тридцать пятым, тридцать шестым годами, то есть написаны они за несколько лет до войны. И что же в них, в этих стихах? Что они, эти сгустки чувств и мыслей человека, добавляют к его облику, к тому, что мы узнали о нем позже?

Из них прежде всего становится ясно, что писавшая их не обрела на чужбине счастья или хотя бы душевного покоя. Они пронизаны мучительным ощущением неустроенности, одиночества, сиротства, боли за других, очевидно, еще более несчастных и неприкаянных людей:

И нищ, и болен. Был запой.
Прошел. Болит руки обрубок.

Или в другом случае:

Все обычно: кому-то худо,
Кровью харкает кто-то сейчас,
Все обычно, — не будет чуда
В этот тысячу тысячный раз.

Или вот еще:

Под крышею чужих домов,
В своей бессрочно-долгой ссылке...
Пустые на столе бутылки
И о пустом немного слов...

Цитировать, собственно, можно едва ли не каждое стихотворение, они все бесконечно горьки и продиктованы острой душевной болью за людей, которым худо на этом свете. Жалость к ним, вечное желание как-то им помочь, наверно, и побудили Лизу Пиленко, Елизавету Юрьевну Кузьмину-Караваяеву, ставшую Матерью Марией, заступиться за сирых и обездоленных в страшную пору фашизма. Чаще всего она беседует в стихах с высшими силами, с богом, и беседа эта все о том же и все о тех же. И нет в них ни благостности, ни умиротворения, так же все они и горят и болят.

Парадоксально, что в одном стихотворении, с первой строчки обращаемся к Господу, последняя строфа звучит так:

Что ж? Суди. Я призывом закатным,
Этим плеском немеркнувших крыл,
Оправдаюсь в пути безвозвратном,
В том, что день мой не подвигом был.

Вот уж поистине неисповедимы пути твои, судьба человеческая!

Часто звучит в стихах жгучая тоска по России. Они такие русские, что странно даже видеть под этими стихами названия мест, где они были написаны: Гренобль, Марсель, Лион,

Страсбург, Клермон-Ферран, Тулуза, Ницца. Так дают ли эти стихи все-таки возможность глубже понять образ их автора? Добавляют ли они что-то такое, что объясняет нам, откуда почерпнула она силы для свершения подвига? И делают ли они доступнее нашему пониманию самую природу подвига, — что это значит, подвиг? Не могу с уверенностью сказать, помогают ли мне это постичь стихи или я и без них обрела бы тут полную и неоспоримую ясность, но мне кажется, что я твердо и уверенно могу ответить на этот вопрос.

Человека делает способным на свершение подвига любовь к людям, глубокое проникновение в их судьбы, в их несчастья и беды, острое стремление помочь им. Оно не знает предела, это стремление, и ни перед чем не

останавливается, и чем грознее обстоятельства, тем оно сильнее. И тем сильнее человек, охваченный этим стремлением.

Мать Мария была безоговорочно человечна и добра к людям повседневно, в их будничном существовании, в горьких условиях их эмигрантской жизни. В условиях фашистской оккупации она делала то же самое, что делала и раньше, но делать это стало стократ опаснее. Ее это не остановило и не изменило. Когда же все сложилось так, что она смогла ценой своей, как ей казалось, уже прожитой жизни спасти чужую молодую жизнь, она не остановилась и перед этим. До каких высот поднялся тогда ее дух и что она испытывала, можно только предполагать. Увы, она не успела написать об этом стихи.

Елизавета Кузьмина-Каравеева

1891—1945

* * *

А медный и стертый мой грошик
Нищему только в суму.
Не то, что поступок хороший,—
Так — душу отдам ему.
А если душа не монета,
А золотая звезда,—
Швырну я осколок света
Туда же, где в свете нужда.

Нанси, весна 31

* * *

Стоит ли быть Бонапартом?
Кромсать и коробить границы?
Скитаться по вражеским картам?
За эти поля и границы
С полками несметными биться?
Какою покажется горстью
Средь моря затерянный остров.
Вот храм — пожелтевший пергамент,
И черных узоров подтеки.
Готический каменный пламень
Взмощен не моими руками,
Я здесь чужестранец далекий.

Какою отнимется тяжбой
У сердца камней этих тяжесть.
Замолкните все Чингисханы,—
Вот конница радостных мыслей
Уже покорила все страны.
Завоеватель, исчисли,
Где пули, где трупы, где раны.
Сдаются без боя. Мгновенье,—
И мир весь навеки мой пленник.

Мец, лето 31

* * *

Устало дышит паровоз,
Под крышей белый пар клубится.
И в легкий утренний мороз
Торопятся людские лица.

От города, где тихо спят
Соборы, площади и люди.
Где темный каменный наряд
Веками был, веками будет,
Где зелена струя реки,
Где все в зеленоватом свете,
Где забрались на чердаки
Моей России дикой дети.

Опять я отрываюсь в даль,
Моя душа опять нищает,
И только одного мне жаль —
Что сердце мира не вмещает.

Безансон, осень 31

* * *

Все пересмотрено. Готов мой инвентарь.
О колокол, в последний раз ударь.
В последний раз звучи последнему уходу.
Все пересмотрено, ничто не держит тут,
И из туманов голоса зовут.
О, голоса зовут в надежду и свободу...

Все пересмотрено. Былому мой поклон...
О колокол, какой тревожный звон,
Какой тревожный звон ты плешь неумоимо...
Вот скоро будет горный перевал,
Которого мой дух с таким восторгом ждал,
А настоящее идет угрюмо мимо.

* * *

Средневековых улиц тишь.
Во сне ребристые соборы.
Святые средь высоких ниш.
А далее река и горы.
И над рекой горбатый мост,
Прямоугольник пыльный сквера,
И памятника дикий рост,—
Вот быт чужой, чужая вера.
Иду по этой мостовой,
Ищу затерянное племя,
Гуляки, милые, домой,
Вы слышите,— настало время.
О, несколько привычных слов,
Лишь слов простых, не заклинаний,
И нет ни гор, ни городов,
Ни памятников и ни зданий.
Лишь из-за туч колокола
Все льются, воздух разрезая.
Тебе, страна моя, хвала,
Страна всех стран, земля святая.

Невер, 31

* * *

Не попутным, видно, ветром
Занесло сюда меня.
Вижу я по всем приметам,—
Что ни встреча,— не родня.
 Не родня река Гаронна
 И дома из кирпича,
 Черной Матери корона,
 Храма белая свеча.
Не родня мне и родные:
Что-то уж с восторгом гнут
Многомученные выи
Под тяжелый, нудный труд.
 Побеждающие узы
 Где им вольно превозмочь?
 Нет, пора мне из Тулузы
 В дали, в ветер, к людям, прочь.

* * *

Наконец-то. Дверь скорей на ключ.
Как запущено хозяйство в доме.
В пыльных окнах еле бьется луч.
Мыши где-то возятся в соломе.
 Вымету я сор из всех углов.
 Добела отмою стол мочалой.
 Соберу остатки дум и слов
 И сожгу, чтоб пламя затрепало.
Будет дом, а не какой-то склеп,
Будет кров — не душная берлога.
На тарелке я нарежу хлеб,
В чаше растворю вина немного.
Сяду, лоб руками подперев
(Вот заря за окнами погасла),

Вспомню повесть про немудрых дев,
Как не стало в их лампадах масла.
Мутный день, потом закат, закат,
Ночь потом,— и тишина бормочет.
Холодом рассветным воздух сжат,
Тело сну противиться не хочет.
Только б не сковал мне волю сон,
Пахнет пол прохладной тишиною.
Еле видны рамы у окон,
Все налито гулкой чернотой.
Дух, боренье в этот час усилил.
Тихе, стук. Кричит пред утром петел.
Маслом сыт в лампаде мой фитиль.
Гость вошел. За ним широкий ветер.

* * *

Усталость забаякала меня.
Когда меж нищими и богачами,
Как я дождусь сияющего дня,
Последнего пред смертными очами?

Вот лунный столб в воде и тишина.
Фонарь на лодке беспокойно красен.
Неужто же моя вина?
Неужто же мой путь напрасен?

Публикация Е. Н. Микулиной

Антон Пришелец

1893–1972

СТИХИ ПАМЯТИ СЫНА

* * *

В Москве мороз —
Такой жестокий,
Что обжигает как огнем.
От ветра заслоняя щеки,
Мы с матерью —
К тебе идем.

Тебя укутали метели
И холмик замели, —
Прости,
Что только раз один в неделю
Тебя приходим навестить.

Ты знаешь, как мы раньше жили,
И до войны и при войне —

* * *

В горле горя растет клубок,
Стонет сердце мое, скорбя.
Милый мой, как я одинок!
Как мне жить теперь без тебя?

Как я выйду теперь один,
Без тебя, на родной Арбат,
Где в обнимку с тобой ходил,
Как товарищ,
Как старший брат.

Книги, книги твои!
Они

* * *

Россия!
Над твоими нивами
Пусть небо синее
Цветет.

Да будут мирными,
Счастливыми
Твой каждый день
И каждый год!

Все наши дни
Твоими были,
А выходные дни — вдвойне.

Теперь нам хочется сильнее —
С тобою вместе быть, всегда.
Но разбудить тебя не смеем...
И все-таки идем сюда,
Спешим кладбищенской пустыней,
Желаньем движимы одним —
Поцеловать священный иней
Дощечки с именем твоим.

1944

Обступили меня вокруг.
Пирамиды печальных книг
Не дождутся любимых рук.

Все поэты, поднявшись в ряд,
Все предшественники твои,
Как друзья, о тебе скорбят,
Боль жестокою затаив...

Я твоими глазами мог
Видеть жизнь — за любой чертой.
Ах, глубок над тобой песок,
Все задержано чернотой.

Он, как орленок,
Мать любимую,
Тебя прикрыл
Щитком крыла —

И отдал жизнь
Свою орлиную
За то, чтоб только ты —
Жила!

Публикация Л. И. Пришелец

Александр Никифоров

1916–1975

КИТ

...Тревожный сон мне снится постоянно:
Над плавной зыбью разгорелся день.
А кит в прозрачной бездне океана
Несется, словно облачная тень.

Я в глубину смотрю и ясно вижу,
Как под водою движется гора.
Гора все выше, выше, ближе, ближе,—
Всплывает кит. Киту дышать пора.

Пора ему взглянуть на голубое,
Подставить спину доброму лучу...
И замерла команда китобоев.
И я, дыханье затаив, молчу.

Я соляным столбом сейчас застыну:
Он — чудо!.. А не чувствует беды!..

Блестя в лучах и выгибая спину,
Как солнце, он восходит из воды.

Восходит и колыхается громада...
Он грозной мощью легких и кровей
Вздымает в небо шумные каскады,
Он радугой любит себя своей.

А жить ему...
Ну, пять минут, не боле.
Но он воспрянет, гневный великан,
И будет биться от смертельной боли
И рвать, мешая с кровью, океан.

И в сердце у меня стучит тревога:
— Спаси и защити его, Нептун! —
Безбожник, я бы мог восславить бога,
Чтоб только мимо пролетел гарпун.

Александр Кочетков

1900–1953

Сейчас уже не только любители поэзии, но и многочисленные телезрители знают «Балладу о прокуренном вагоне», с концовкой, предостерегающей и тревожной: «С любимыми не расставайтесь!..»

Из богатого литературного наследия автора этого замечательного стихотворения Александра Сергеевича Кочеткова опубликованы драматическая поэма «Коперник», две одноактные пьесы в стихах о Рембрандте и Бетховене, несколько лирических стихотворений...

Известный переводчик, Александр Кочетков только после смерти предстал перед читателем как своеобразный поэт, для которого характерно пристальное внимание к душевной жизни современников. В тех случаях, когда брался материал русской и мировой истории, Александр Кочетков владел им мастерски. У него было чутье поэта-историка, видящего крупным планом прошлое, даже детали этого давно прошедшего. Но он брал ту или иную деталь в меру ее надобности и в свидетели своей историко-художественной концепции. И добивался убедительности в такой же степени, как и в своих лирических стихах.

В нынешнем «Дне поэзии» приводятся не известные читателю лирические строки поэта.

Светлана Магидсон

* * *

И снежинки, взлетевшие
в столб чужого огня,
К человеческой нежности
возвращают меня.

И в ручье, вечно плещущем
непостижно куда,
Человеческой нежности
раскололась звезда.

И в туман убегающим
молодым голосам
С человеческой нежностью
откликаюсь я сам.

Не мечту ль, уходящую
с каждым смеркнувшим днем,
Человеческой нежностью
безрассудно зовем?

* * *

Предметы органической природы
Безмолвствуют. И только человек
Кричит: люблю! любимую лаская
(Как будто потерял ее), и в крике
Такая боль, такая смерть, что звезды
Ссыпаются с иссохшего зенита
И листья — с размагниченных ветвей.

ЕВГЕНИЙ БОРАТЫНСКИЙ

Блажен счастливец, чей досуг
Исполнен радостей нежданных,
На чьем столе забудет друг
Три нежных яблочка шафранных.

Беспечный баловень Харит,
В честь той, кто так его балует,
Плодами жар свой утолит,
Но прежде все перецелует!

ЯБЛОКИ

Храня под пепельным загаром
Укусов лунных тайный след,
Они лелеяли недаром
Свой томный дух и тусклый цвет.

Висят и ждут руки девичьей,
Затем, что бог осенний сам
Судил их сладкою добычей
Голодным розовым губам.

И нежно-горьковатый мускус
Их золотого естества

Размельют весело и хрустко
Зубов прекрасных жернова.

И сгусток солнечного яда,
Ночей тоскующая гроздь
Родной железистой прохладой
Проступят в девственную плоть,—

Чтоб в жизни, губельной и щедрой,
Где свят любовью каждый дом,
Вся терпкость яблочного недра
Была в объятье молодом.

* * *

Ласточки под кровлей черепичной.
Чуть журчат, стрекочут тополя.
Деловито на оси привычной
Поворачивается земля.

И, покорны медленному кругу,
Не спеша, струятся в полусне —
Воды к морю, ласточки друг к другу,
Сердце к смерти, тополя — к луне.

Публикация С. Н. Магидсон

Овсей Дриз
1908–1971

Есть поэты, которым суждена в поэзии вечная молодость. У Овсея Дриза — и молодость, та, первая, изначальная, которая дается нам в семнадцать лет, была мудрой. Он ровно и грустно прошел свой путь. Как пешеход, которому некогда уставать. Устают только слабые.

У него была своя, глубинная, нажитая поколениями бедных предков ирония. Ирония, как чувство дистанции, как способ несамолюбивой гордости за свой талант:

На куст я повесил
Шляпу свою
И рядом с теленком
Из речки пью.

Овсей Овсеевич Дриз родился в 1908 году в местечке Красное Винницкой области. С детства его тянули равновеликие силы — живопись и поэзия. Он поступает в Киевское художественное училище. И все же не живопись, а поэзия звучит все сильнее и сильнее в его сердце. И он тишет стихи на своем родном еврейском языке о детях, любящих игрушки, о своем радостном и чуть-чуть грустном приятии мира. В 1930 году он выпускает книгу «Светлое бытие».

Одна из лучших его книг — это книга раздумий о вершинах возраста и сердца. Она называется «Вершина лета».

Большое, светлое сердце было у Овсея Дриза, это сердце поэта и певца, которое вмещает в себя весь мир, сердце, отграненное по-детски добрым и мудрым талантом.

Владимир Цыбин

ПО ТУ СТОРОНУ СНОВИДЕНЬЯ

(По народным мотивам)

Платить нечем, перевозчик!
Все равно прошу его:
— Переправь же на ту сторону
Сновиденья моего.

От того, что я услышу
И увижу среди теней,
Я, наверное, не стану,
Перевозчик мой, седей.

Соберу там не подарки
Для знакомых, для живых,
А оплывшие огарки
Свеч печальных, восковых.

Это я, Овсей Овсеевич,
Сын местечка,

Веря сну,
Я скатаю все огарочки
В преогромную сосну.

И взвалю ее на плечи
От души, не сгоряча.
И на Эйфелевой башне
Водружу:
Гори, свеча.

Сам без страха, без подсказки
Я зажгу ее в пути.
В память Виленских, Варшавских,
В память Киевских свети!
По подсвечнику пусть слезы
Потекут легко, легко,
Что собрал я по ту сторону
Сновиденья моего.

РОЗОВЫЙ МИР

На Арбате, через площадь
Вел на ниточке послушной
Ярко-красный шар мальчонка —
Мир свой розовый, воздушный.

Отражаясь и качаясь,
Заикаясь и ругаясь,
Заикаясь и волнуясь,
Сквозь него и мы проходим,

Мы все — розово целуясь,
Забывая грусть и зависть,
Заикаясь и ругаясь,
В розах розово встречаюсь
Возле розовых киосков.
Только вдруг — хлоп! — лопнул
шарик.

И не розово проходим,
И не розово целуем,

И не розово смеемся,
И не розово бранимся,
И не розово встречаем
У нерозовых киосков.
Только жаль того мальчонки —
На душе темно и сиротливо:
Нет на ниточке послушной
Больше розового мира.

Перевел с еврейского Владимир Цыбин

Николай Тарасов

1918–1976

Много лет я знал Николая Александровича Тарасова. Как журналист знает журналиста. Автор — редактора. В редакционной толчее он улыбался с тайной нежностью, точно говорил: я никуда не спешу и хотел бы поговорить о литературе, но вот видите, что делается... Он любил пишущих и, где бы ни работал, хотел создавать литературу. Поэты печатались у него в «Советском спорте», драматурги — в шахматной газете «64», публицисты и прозаики — в журнале «Физкультура и спорт», главным редактором которого он был. Он превратил это издание в общекультурное дело, оно приобрело черты изящества, интонация его стала интимней. Культурного местничества не любил. Придя в «Советский экран» ответственным секретарем, тотчас сделался центром притяжения десятков и десятков пишущих. Через кинематограф — о жизни, о человеке, о времени. Но о чем бы ни писали, — прежде всего, чтобы хорошо было написано! Газета, журнал умирают — литература остается.

Живу в пределах языка
И слово трогаю руками.

В этих его строчках и отношение к журналистике, к повседневности. Стертых секунд, уходящих вместе с гранками в редакционное небытие, он не признавал. Оттого редактируемые им издания приобретали черты уникальности. А обнаружение собственной уникальности он все откладывал...

Он жил для поэзии, это была его огромная любовь. Незадолго до смерти он устроил свой вечер в маленьком зале Дома художников. Он задышался стихами. Читал и читал, не в силах остановиться. Поэзией можно захлебнуться, тогда я воочию это увидел. Мне не хотелось бы здесь исследовать его стихи, давать им оценку. Это давно сделали его собратья. «Николай Тарасов — поэт со своим почерком, с точным и острым видением мира», — писал о нем Евгений Винокуров. «Пример Тарасова говорит о том, что можно писать высокопрофессиональные стихи, занимаясь другим делом... если ты по-настоящему предан поэзии, если ты однолюб, ставящий поэзию выше всего». Это Евтушенко. Говоря о свойственной Тарасову способности к мгновенному и точному выявлению наполненности каждого взятого в стих слова, Александр Межиров писал: «Стихи его — и не только лучшие — идут как бы под тугими парусами».

Достаточно! От себя хочу лишь сказать, что Николай Тарасов верно передал душевную конституцию того поколения городской интеллигенции в прекрасном и драматическом значении этой категории, представителям которой теперь, как говорится, за пятьдесят. Эта наша страсть привязываться к кольнувшему сердце мгновению далекой полудетской поры середины тридцатых; эта колеблемая ветром исторических бурь прелюбовная наша юность; это лихолетье, смерть, прежде всего, смерть на войне, геологический сдвиг истории, победа; это открытие мира, культуры, себя — все это есть в стихах Николая Тарасова. Не в трубных звуках, не в жажде деклараций и обобщений, а в тонком и хрупком перечне ощущений и формул, то возникающих неизвестно откуда, то исчезающих неизвестно куда... Это ощущения и прозрения человека на рубеже, когда обнаружена ценность начала и новым светом знания озарена зрелость.

И еще. Его стихи лишены простоватости. Порой они лишены и простоты и требуют от читателя работы. Радость понятого соединяется с радостью пережитого и услышанного.

Пять его маленьких, изящно изданных книжечек закрепляют его место в нашей современной поэзии. Первая из них — «Белые мосты» — издана в 1969-м, последняя — «И не свободен от любви» — в 1976-м, когда поэта уже не было...

Александр Свободин

ЗВУК

А когда Вы проснетесь на Каме,
вставит в новую рамку заря
этот город, потраченный Вами
на холодные дни сентября.

Все останется так же, как было,
в этой комнате встреч и разлук.
Среди прошлого пыли и пыла —
навсегда остановленный звук.

* * *

Под снегом мучится трава.
А воздух, как стакан, расколот.
Так что нам бранные права
на этот изможденный город?

Дорога в даль всегда темна,
всегда приправлена вином.

От поезда
и полотна
не оторвать судьбы весною.

Состав не помнит обо мне.
Летит вдоль мокрого перрона.
И ночь по правой стороне
срезает стенкою вагона.

* * *

Бескрайнее снежное поле,
как жизнь —
от вины до вины,
где все, что я принял, и понял,
и вынес из прошлой войны.

Прекрасно —
и столь же не ново! —
явиться
и кануть во мгле,
изделие из легкого слова
оставив
на шатком столе...

ПОСЛЕ РАБОТЫ

Пускай поработает время.
Ты кончил. Ты сделал, что мог.
Над реями прошлого рея,
рванулся к тебе ветерок.

И море к прощанью готово.
И к берегу гонит валы.
Но легкое небо и слово,
как камень, тебе тяжелы.

Мир наспех сколочен из истин,
из первых попавшихся строк,

из жадности, и из корысти,
и из бескорыстных дорог.

Ты встрял в эту старую драму,
заполнил случайный пробел
и, в улицу втиснут, как в раму,
на мокрой скамейке присел

Весне подыграть на свирели.
И пахарь, и плотник, и бог.
Пускай поработает время.
Ты кончил.

Ты сделал, что мог.

Публикация Е. П. Тарасовой

Георгий Оболдуев

1898—1954

Я знал его строки: «Розе и левкою понять нелегко, что это такое роза да левкой». И еще один неожиданный зачин: «Нелюдимо наше горе» (вместо хрестоматийного языковского — «море»). Это запомнилось с чужого голоса. В Голицыне я познакомился с автором этих строк Георгием Николаевичем Оболдуевым, человеком высококультурным и zelo язвительным.

Он был подвижен, любезен, лис (ловко снимал и сверху набрасывал на голову свою тюбетечку), добр к людям, а того более — к животным. Котóв именовал, как императоров: Буздрик Первый, Буздрик Третий, сын Буздрика Второго.

Он был, что называется, мастер на все руки. Особенно это чувствовалось, когда он садился за пианино. Играл уверенно, словно именно это было его главным призванием. Но так же он играл и в шахматы. Что-то искрометное, пуншеровое, лукавое, заводное, вспылчивое, взыскующее жило в этом человеке. В беседе он был легок и неограничен. Лишь немногие знали о нем как о блестящем поэте.

Однажды Георгий Николаевич Оболдуев, которого люди называли Егором, показал мне отрывок из поэмы «Живописное обозрение», а затем и всю поэму. Каждая строка — этюд, зарисовка, на выставке страницы все эти этюды и зарисовки представлены щедро: читая, смотри, глядя, читай. Эпитет и подлежащее без глагола, после каждой строки — точка с запятой, строки связаны и не связаны:

Поднебесный простор сена;
Меховые сугробы мхов;
Добродушные своры репейников;
Шерстяные веера лопухов;
Вспылчивые стаи крапив;
Пряные горлы дягилей;
Ситцевые куколки мальв;
Угрюмые рюмки повилик;
Китайские зонтики анисов;
Прислушивающиеся головы подсолнечников;
Связное перестукивание камышей;
Стеариновые фарфоры водяных лилий...

Много, множество таких строк-картин. Свежих, острых, изобретательных, зорких. Этакий гербарий поэтических деталей. Этакая панорама растительного мира. Я слушал со все возрастающим вниманием и душевным напряжением, похожим на восторг. Эта живопись словом покорила меня своей остротой и силой, покорила в большей степени, чем иной лихо закрученный сюжет.

Как-то вечером я толкнул калитку с намерением выйти в подлесок и побродить. Егор Николаевич тут как тут.

— «Я пришел к тебе с приветом», — сказал он по-фетовски... — Пришел поблагодарить вас за то, что вы не упрекнули меня, как другие, за отсутствие глаголов, за безглагольность.

— А «Шепот, робкое дыханье...»? — спросил я тоже по-фетовски.

— Это не в счет. Двенадцать строк. А тут целая поэма...

— Глагол, милый Егор Николаевич, может быть передан и энергией определений.

— «Глагол времен, металла звон...» — сказал он по-державински...

Глагол времен! Оглушительно-четки его удары. Георгий Николаевич Оболдуев слышал их на протяжении пятидесяти шести лет своей жизни. Он передал их в своей поэзии. Во время войны он был разведчиком. По свидетельству командиров и однополчан, отличался дружелюбием и бесстрашием. Об этом сам Георгий Николаевич, разумеется, никогда не рассказывал. Тихо сядет в сторонке, наблюдает, думает.

...Тогда, в тот вечер, мы долго-долго бродили по влажному подлеску и говорили на самую увлекательную в мире тему — о русской поэзии, в которой — я думаю теперь — есть место и для Георгия Оболдуева, поэта еще не прочитанного и не оцененного.

Лев Озеров

НАСЕЧКИ

Как ствол до гибели доносит
Болячки заскорузлых букв,
Так и во мне пустоголосит
Насечек чуждых давний звук.

Чье горе бережно хранит он,
Чье счастье нежно бережет,
Притягивая, как магнитом,
Сок сформированных пород?

Когда гармония живая
Встает глубоко, не спеша,
Спокойно преодолевая
Все, чем топорщится душа,

ОСЕННИЙ ЛЕС

Р. И. Т.

Быть может, этот лес обычен,
На заячий иль птичий взгляд:
Они живут с листвою в лад
И капли крупные брусничин
Для них не чудеса таят.

Мне ж сквозь лепечущий осинник —
Глубоководное, как дно, —
Небес окно разведено,
Где облака в объятьях синих
Бегут бесшумно, как в кино.

СОЛДАТ

«На зеленом ковре мы лежали,
Целовала Наташа меня», —
Не забыть мне голубенькой шали,
Не забыть мне далекого дня.

Вспомни, вспомни, моя дорогая,
Как мы шли по дорожке лесной,
Как, от солнышка оберегая,
Ветки ты заплела надо мной.

Я не знаю живее отрады,
Чем в лазоревый полдень, в лесу
Поглядеть на зеленые травы,
Когда ветер качает листву.

Мне видать, как бежит сквозь опушку
Даль за далью, простором маня,

Тот звук свое находит место,
Он вдруг становится моим,
С насечкой своего насеста
Ничем другим незаменим.

И, как серебряные блюда
Под бегом яблок наливных,
Чужие жизни перельются
В мой жадный и горячий стих.

Имей я волю чародея,
Я б на себя весь мир навел:
Пусть насекает, не жалея,
Моей души могучий ствол.

За тишиной древесной клади
Таится земляная тишь:
Ты дышишь ей, в нее глядишь...
И пойман вдруг, в привыкшем взгляде,
Грибной, испуганный малыш.

В ветвях продета шкурка лисья,
И воздух терпкий, как вино,
Висит с закатом заодно...
И аметистовые листья
Летят бесшумно, как в кино.

Мне слышать, словно рядом, кукушку —
Словно бьется внутри у меня.

Целый мир суетливых букашек
Вокруг нас шелестит, колесит...
Запах леса, над запахом кашек,
Будто колокол гулкий висит.

Мы проводим минуты в блаженстве,
Обмирая в лесной тишине:
Вот ты встала и нежно, по-женски,
Улыбнулась, как девочка, мне.

Мне теперь помереть невозможно,
Буйну грудь на траву уроня:
Даже пагуба смерти тревожной
Не отнимет далекого дня.

Публикация Е. А. Благиной

В моем доме на стенке среди книжных полок висит дорогая для меня фотография. Два молодых человека, положив руки на плечи друг другу, едут на лошадях по долине реки Каниз. На горизонте в голубой дымке тают горы — строги Гиссарского хребта. А лошади идут рядом, так что их вытянутые шеи соприкасаются и трутся одна о другую. Долина — цветет. Громадные лисьи хвосты, мощные медвежьи дудки, зеленые ворохи ядовитой, но прекрасной юган-травы тянутся к холодному сверкающему небу справа и слева от тропинки, по которой медленным шагом едут два всадника. Один из них Эрнст Портнягин. Другой — я. Я — на белой лошади. Эрнст — на черной.

Он, нелепо погибший прошлой осенью в своем последнем маршруте, во время своего, как он считал, последнего полевого сезона, был одним из ярчайших людей, с которыми мне посчастливилось пройти бок о бок часть жизни.

Когда-нибудь я напишу о Портнягине многое, а сейчас скажу только то, что он умел блистательно делать все, за что бы ни брался в жизни. Мог объезжать лошадей, читать по-французски лекции в Гренобльском университете; железной рукой диктовать свою волю геологической вольнице в свои двадцать три года в амурской тайге и с пониманием дела рассуждать о живописи Иеронима Босха; выкладываться в многочасовых маршрутах по ледникам и горным тропам Памира на уровне вечного снега, по первому зову прийти на помощь другу, попавшему в беду. Словно бы предчувствуя сроки своей жизни, он торопил время, брал его в шенкеля, словно лошадь, чтобы успеть сделать как можно больше. Будучи уже известным геологом, он разделил свое сердце между двумя стихиями — наукой и поэзией. Но с каждым годом поэзия занимала в этом сердце все большее и большее место. И не только две талантливые книги, выпущенные им, были подтверждением тому. Уважение к его личности и творчеству, которое образовалось в поэтической среде, тоже чего-нибудь да стоит.

Родина и любовь, дружба и работа, «бремя страстей человеческих» и бремя человеческого долга — вот чем жила его поэзия.

Стихи, которые я предваряю этими словами, передали мне друзья Эрнста Портнягина. Он писал их в своей командирской палатке, возвращаясь из маршрутов. Некоторые из них написаны буквально за несколько дней до его гибели. Посмертная книга, третья книга Портнягина, которую я сейчас составляю, надеюсь, скажет нам, какого человека — талантливого, честного, бескорыстно служившего поэзии и дружбе — мы потеряли. Но в моей памяти его образ останется неизменным: на черной лошади, с чуть небрежной молодцеватой посадкой — одно плечо немного вперед, бороздчатый, кареглазый, с широкой улыбкой, в лиялой штормовке — а вокруг снеговые хребты, орлиная пара над ними, да сурки свистят на зеленых склонах, да шумит в мраморном ложе ледяная вода Ягноба... Как сама вечность.

Станислав Куняев

СКВОРЕШНЯ

Сборный мир новостройки панельной
изучает пришельца черты.
Не волнуйтесь, я житель примерный,
не пугайтесь моей бороды!

Склоку с тещей, с женой поединки
не услышите вы никогда.
Только пишущей тихой машинки
будет шепот звучать до утра.

Коллективного чувства избыток
не позволит скучать и болеть:
весь домком образцового быта
будет хором по праздникам петь.

Дно и стены коробки холодной,
как походный шатер, утеплю...

Всех котов и дворняг беспородных
понемножечку я прикормлю.

Воют ополночь кошкины свадьбы,
слышу в двери собачьи скрепки...
В тихом прошлом — сады и усадьбы,
в гулком будущем — башни, кубы...

Дети — тоже друзья, но с опаской,
осторожно вступают в мой дом,
их пугают буддийские маски,
строгий лик над старинным ковром...

Обживаюсь упорно, прилежно,
но не снимешь с пландиды печать:
опустеет и эта скворешня,
снова время придет улетать!

ТАБУН

Табун плывет, как облако по небу,
игривый, саврасый и гнедой.
Второй такой свободы в мире нету
и нету больше скорости такой.

Пускай все холки на работе сбиты,
все жизни нумерованы клеймом,
подрезаны, закованы копыта,
истерта грудь брезентовым ремнем.

Не попадайся на пути, загонщик,
петлей и недоуздом не маши —

* * *

Еще по плечу кутерьма
тропы, каравана и вьюка,
и лошади сходят с ума,
завидев старинного друга.
Еще подниму на скаку,
достану любую потерю.
Ни другу, ни ученику
я трудный маршрут не доверю.
Как прежде, высоты люблю,
в низинах впадаю в отчаянье,
но только все чаще ловлю
себя на внезапном молчанье.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Возвращение блудного сына,
возвращение дальнего внука
в материнский и дедовский свет...
Нету больше гумна и овина,
все тесней от машинного звука,
пешеходного воздуха нет.

Вся родная деревня грохочет.
Пыль столбом. Трактора и комбайны.
Свист уборочной. Сроки горят!
Но приезжий смириться не хочет:
в одиночку, украдкой, тайно
норовит оглянуться назад.

На просторные детские годы,
где природа и предки живые
связь времен открывали ему.
Там бездонны озерные воды,
тропки еле видны луговые
и волшебник в пчелином дыму.

сегодня отдых у коней законный
и праздник их заезженной души.

Свистит трава, летят осколки щебня,
до слез хохочет, скалитесь скакун.
Легко взмывает по уклону гребня
и вниз в долину катится табун.

Про молоко забыли кобылицы,
подталкивают малых жеребят,
нет сил с короткой волей распротиться...
Летят, мои родимые, летят!

Где легкого чувства разброд?
Где радость моя, бездорожье?
Мой каждый скитальческий год
становится сердцу дороже...
Пора их считать и беречь,
часы под распахнутой ночью,
огарки палаточных свеч,
туманов рассветные клочья.
Альпийские травы в горсти,
просветы в брезентовой крыше...
Мне новых друзей не найти,
а старые горше и ближе.

Знает старец какое-то слово,
причитает, гудит тем же тоном,
что певучий клубящийся рой...
Дарит сладкого воска осколок,
раздвигает рукой золоченой
пелену голодухи сплошной...

Все припомнилось первой же ночью,
я по дому брожу и воочью
вижу горницу, сени и клеть,
рядом с русской печью залавок —
неизменен великий порядок
и не с нами ему умереть.

Но со мною уйдет, угасая,
свет озерный, осока сырая,
запах сена в потемках сарая.
Перечеркнута пряслом луна —
на холодном светиле искусства
три черты беззащитного чувства:
мать... разлука... родна сторона...

Публикация Н. Э. Портнягина

Татьяна Макарова

1940—1974

Ни ближние, ни дальние никогда не говорили о Тане Макаровой с равномерной рассудительностью или в размеренно спокойном тоне. Всегда — с восклицательными знаками. Всегда — увлеченно восхищаясь ею или безоговорочно ее осуждая:

- Взгляните, как хороша!
- А какая умница!
- Она же отпетая бездельница!
- Что за молниеносная продуктивность!
- Господи, как талантлива!
- Черт возьми, какое легкомыслие!
- Ты, Моцарт, недостойн сам себя!

И так вот — всю ее короткую жизнь, одновременно счастливую и бедственную, полную то порывистой работы, то напряженной праздности.

Сначала надо бы щедро — о работе, а потом уж несколько слов и о предсудительной праздности. Но живая память о Тане велит изменить этот добродетельный порядок. А сперва — маленькое отступление в большое искусство...

Мы не слишком много знаем о том, как искусство появляется на свет. Приор доминиканского монастыря в Милане жаловался, что создатель «Тайной вечери» по полдню бездельничает: «ему хотелось, чтобы Леонардо не выпускал кисти из рук, наподобие того, как работают в саду». А мастер разъярялся, по словам Вазари, что «возвышенные дарования достигают тем больших результатов, чем меньше работают... руки». И не забываются поразительные строки Ахматовой на другую, но близкую тему — тоже о рождении возвышенного (впрочем, этот термин ныне стал запретным в словаре хорошего вкуса): «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда»...

Однако не смешно ли: в кратенькой заметке о почти безвестной Тане Макаровой, рано ушедшей от нас и успевшей сделать совсем немного, подряд такие имена — Моцарт, Леонардо, Ахматова (а сейчас будет еще Заболоцкий)... Надо ли говорить, что не для сравнений эти имена. Они тут только оттого, что суть искусства — когда оно искусство! — одна и та же в великом и малом, в громадной фреске и музыкальной фразе, в многотомном романе и в лаконичной строфе. Эта суть не выразима однозначно, но как соленость моря убедительно ощутима и в тихой капле и в шумной волне.

Таня Макарова оставила нам череду незамутненных капель поэзии — детские сказки и лирические стихи. С почти неправдоподобной легкостью стремительно возникавшие в часы ее сосредоточенности за крошечным письменным столом, они на самом деле рождались в несравненно более долгие часы и дни ее мнимого ничегонеделанья.

Сегодня в ночь
Меня постигло чудо.
Не объясняя, кто оно, откуда,
Ко мне стихотворение вошло
И на бумагу медленно легло.
Оно давно бродило между нами.
Оно слезой стекало по щеке.
Оно пятью лежало семенами
Меж створками в гороховом стручке.
Об острые предметы ушибалось,
Росло и не жалело ни о чем,
И радугой цветною изгибалось,
И выпрямлялось солнечным лучом.
По бездорожью в сумерках брело,
И сотни превращений претерпело,
И через все прошло, и все стерпело,
И на бумаге отдых обрело.

Легко догадаться: это она сама ушибалась, и ни о чем не жалела, и в редкостном своем воображении претерпевала, ища себя, сотни превращений. Ее душа жила в непрерывном труде разведывания мира — жизни, природы, человеческих чувств, добра, искусства... Совсем по завету Заболоцкого: «душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь». Так она и трудилась, ее детская, чуждая всякого притворства, расточительная душа. Какая уж тут предсудительная праздность!

А что же о работе? Да ведь все сказанное — разве не о работе поэта? Были книжки для маленьких. Была грампластинка с ее музыкально-поэтической пьесой. Была радиопостановка. Был мультфильм по ее сказке. Были стихотворные переводы в толстых журналах для взрослых и в тонких журналах для детей. И во всем — чистота,

высота и ясность... И вот — ее лирические стихи на страницах этого «Дня поэзии». Поздно? Да нет — для достойных стихов никогда не поздно. Конечно, лучше бы и раньше, но она в своей бескорыстной беспечности сама не позаботилась об этом.

Главное же — остался покуда неоцененным ее вклад в нашу детскую литературу. Был он всерьез значителен и отмечен той единственностью, какую приносит людям сумевший найти себя настоящий талант.

...Право на эту короткую заметку с оттенком воспоминаний дал мне счастливый случай: Таню Макарову я знал со дня ее рождения в сентябре 40-го года до дня ее смерти от внезапной болезни в марте 74-го. И я неизменно бывал в числе первых читателей всего, что диктовало ей неиссякающее воображение, иначе говоря — способность видеть и слышать то, чего не видят и не слышат другие.

Передо мной зеленые столы.
Решают люди важные вопросы.
А вижу я
Зеленые стволы,
Песчаные полуденные косы.
.....
Печать поставьте прямо вот сюда,—
Мне говорят.— Печать! Печать поставьте! —
А слышу я:
— Печаль. Печаль оставьте.
Печаль оставьте.
Правда.
Навсегда.

Правда, оставим печаль. И будем благодарны жизни за то, что это удивительное существо бродило между нами.

Даниил Данин

* * *

Мне многого не надо. Я щедра.
Возьмите реки, и поля, и степи.
Отдайте мне один полевой стебель,
Что мне кивнул приветливо вчера.

Возьмите себе рощи и сады.
Вы, право, не останетесь в убытке.
Отдайте мне туманные следы,
Которые оставили улитки

После дождя. Возьмите дождь себе.
А мне оставьте каплю дождевую,
Одну, трепещущую и живую,
В холодноватой радужной резьбе.

О, радуйтесь значительным победам
В высокой и продуманной игре,
А я — я тайно улыбнусь побегам
На жестяном шербатым пустыре.

Проспекты, площади себе возьмите.
Оставьте мне замшелые дворы.
Оставьте мне две солнечные нити.
Возьмите солнце. Будьте так добры.

Я выбрала. Я это все приму.
И будет в доме капля дождевая.
И будет в сердце рана ножевая.
А нож возьмите. Мне он ни к чему.

СКАЗКА О ЛИСТЬЯХ

Когда же листья умирали,
Свершив последний праздник свой,
Их молча в груды собирали
Суровой дворницкой метлой.

Их молча в тачки погружали,
И долго мучило меня,
Куда же листья уезжали
Из этого сырого дня?

И я стволов щекой касалась,
И ветви за руки брала,

Пока всего не поняла
И обо всем не догадалась.

О листьев праздничная груда!
Мне все известно о тебе!
Я плакать никогда не буду
О горестной твоей судьбе.

Покинув парки и бульвары,
Назначив встречу где-нибудь,
Становятся все листья в пары
И в царство листьев держат путь.

Они полны своей корысти.
Представь — пунцовая страна,
Где только листья, только листья,
Их бронзовые племена.

Они печали оставляют,
И злые метлы не корят,
И вновь деревья составляют,
И снова дышат и горят.

БУМАГА, ГЛИНА, ПОЛОТНО

К стене придвинутые плотно,
стояли в тесной мастерской
сухие новые полотна,
ничьей не тронуты рукой.

Стояли в строгом ожиданье,
безукоризненно чисты,
как непостроенные зданья,
как нерасцветшие цветы.

Так непосаженное семя
лежит у пахаря в горсти.
Ему нужны земля и время,
чтоб смысл и сущность обрести.

А там за сто четыре шага
от этой тесной мастерской,
лежала белая бумага,
ничьей не тронута рукой.

И каждый лист, как воин в поле,
молчанье полное хранил,
ждал, замерев от сладкой боли,
прикосновения чернил.

И с давних пор всегда владеет
мною опасение одно:
а вдруг от гнева почернеют
бумага, глина, полотно?

А вдруг не примут извинений,
прогонят кисть, отвергнут стих?

...Но нет. Не видно изменений
в торжественной окраске их.

Но нет. Они ножей не точат.
Они не смеют бунтовать.
И каждый волен что захочет
писать, лепить и рисовать.

А я бы искренне хотела!
Чтобы, почувствовав провал,
сырая глина прочь летела
и холст свое тугое тело
на части с хрустом разрывал.

И я готова, я согласна,
чтобы с сегодняшнего дня
бумаги лист единовластно
казнил и миловал меня.

Давайте нашим матерьялам,
основе нашего труда,
доверимся в большом и малом,
не устрасимся их суда.

Мы тоже были, если надо,
жестоки с ними и сухи.
Так не попросим же пощады
за неудачные стихи.

За нашу стойкость и отвагу
наградой светлой будет час,
когда засветится бумага
от тайной гордости за нас.

Публикация М. И. Алигер

Николай Рерих

1874–1947

В 1974 году наша страна, весь мир торжественно отметили столетие со дня рождения великого русского художника Н. К. Рериха. Публикации его произведений, приуроченные к юбилейной дате, еще раз выявили поразительную разносторонность дарования выдающегося мастера: художника и ученого, писателя и общественного деятеля. В 1974 году в издательстве «Современник» вышла книга стихов Рериха «Письмена». Своеобразие его философской лирики, сочетающей русские и индийские поэтические традиции, привлекла к себе внимание широкого круга читателей, вызвала сочувственные отклики в литературной прессе.

Ныне публикуемая баллада «Люте Великан» в этот сборник не вошла. Написанная

Бросили жить великаны в нашем
Краю.

Живет нырь на озере
Издавна.
Птица глупая. Птица
Вещая.

Перепутал нырь клики
Великановы.

На ведро кричит:
«Тону-у, тону-у!»

Будто тонет, хлопает
Крыльями.

Под ненастье гогочет:

«Го-го, Го-го».

Над водою летит, кричит:

«Вижу-у!»

Знает народ Люто-озеро,
Знает могилы длинные,
Длинные могилы великановы.

А длина могилам — тридцать сажений.

Помнят великанов плесы озерные.

Знают великанов пеня дубовые.

Великаны снесли камни на могилы.

Как ушли великаны, помнит народ.

Повелось исстари так,

Говорю: было так.

Марина Цветаева

1892–1941

ИЗ ЦИКЛА «ДОН-ЖУАН»

1.

После стольких роз, городов и тостов —
Ах, ужель не лень —
Вам любить меня? Вы — почти что осто́в,
Я — почти что тень.

И зачем мне знать, что к небесным силам
Вам взывать пришлось?
И зачем мне знать, что пахнуло Нилом
От моих волос?

Нет, уж лучше расскажу Вам сказку.
Был тогда — январь.
Кто-то сбросил маску. Монах под маской
Проносил фонарь.

Чей-то пьяный голос молил и злился —
У соборных стен.
В этот самый час Дон-Жуан Кастильский
Повстречал Кармен.

2.

Ровно — полночь.
Луна — как ястреб.

КАРМЕН

1.

Божественно, детски-плоско
Короткое, в сборку, платье.
Как стороны пирамиды,
От пояса мчат бока.

— Что — глядишь?
— Так — гляжу!
— Нравлюсь? — Нет.
— Узнаёшь? — Быть может.
— Дон-Жуан я.
— А я — Кармен.

22 февраля 1917 г.

3.

И падает шелковый пояс
К ногам ее — райской змеей...
А мне говорят — успокоюсь
Когда-нибудь, там, под землей.

Я вижу надменный и старый
Свой профиль на белой парче.
А где-то — гитаны — гитары —
И юноши в черном плаще.

И кто-то, под маскою кроясь:
— Узнайте! — Не знаю. — Узнай! —
И падает шелковый пояс
На площади — круглой, как рай.

14 мая 1917 г.

Какие большие кольца
На маленьких темных пальцах!
Какие большие пряжки
На крохотных башмачках!

А люди едят и спорят,
А люди играют в карты.
Не знаете, что на карту
Поставили игроки?

А ей ничего не надо!
А ей ничего не надо!
— Вот грудь моя. Вырви сердце —
И пей мою кровь, Кармен!

13 июня 1917 г.

ЗЕМНОЕ ИМЯ

Стакан воды во время жажды жгучей;
— Дай — или я умру! —
Настойчиво — расслабленно — певуче —
Как жалоба в жару —

Все повторяю я — и все жесточе
Снова — опять —
Как в темноте, когда так страшно хочешь
Спать — и не можешь спать.

Как будто мало по лугам снотворной
Травы от всяческих тревог!

* * *

Не смущаю, не пою
Женскою отравой.
Руку верную даю —
Пишущую, правую.

Той, которую крещу
На ночь — ненаглядную.

* * *

Нет, легче жизнь отдать, чем час
Сего блаженного тумана!
Ты мне велишь — единственный приказ! —
И засыпать и просыпаться — рано.

Пожалуй, что и снов нельзя
Мне видеть, как глаза закрою.
Не проще ли тогда — глаза
Закрывать мне собственной рукою?

2.

Стоит, запрокинув горло,
И рот закусил в кровь.
А руку под грудь уперла —
Под левую — где любовь.

Склоните колена! Что вам,
Аббат, до моих колен?
Так кончилась — этим словом —
Последняя ночь Кармен.

18 июня 1917 г.

Настойчиво — бессмысленно —
повторно —
Как детства первый слог...

Так с каждым мигом все непоправимей
К горлу — ремнем...
И если здесь всего земное имя —
Дело не в нем.

Между 16 и 25 июня 1920 г.

Той, которую пишу
То, что богом задано.

Левая — она дерзка,
Льстивая, лукавая.
Вот тебе моя рука —
Праведная, правая!

10 октября 1918 г.

Но я боюсь, что все ж не будут спать
Глаза в гробу — мертвецким сном законным.
Оставь меня. И отпусти опять:
Совенка — в ночь, бессонную —
к бессонным.

Москва, 1920 г.

Публикация Анны Саакянц

7



Никита Заболоцкий

«ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ, ПОЭТЫ...»

К 75-летию со дня рождения Н. А. Заболоцкого

Николай Алексеевич Заболоцкий любил не живопись вообще, а всегда соотносил ее со своими собственными эстетическими и философскими воззрениями и затем уже, в зависимости от степени соответствия, определял свое отношение к творчеству того или иного художника. Конечно, это свойственно любому мыслящему человеку; но для Заболоцкого такое отношение к живописи, да и к другим видам искусства, было особенно характерным. Уже с молодых лет у него сформировались собственная система взглядов на мир и определенный круг интересов и пристрастий, которые служили для него своего рода эталоном, с которым он сопоставлял все увиденное и услышанное. Художник, творчество которого подтверждало или обогащало главную мысль поэта, делался ему близким и любимым. В противном случае художник был ему неинтересен.

Именно из-за столь пристрастного выбора своих симпатий в изобразительном искусстве и благодаря тому, что элементы изобразительного искусства присутствовали в его собственном поэтическом творчестве, таким плодотворным оказался анализ творчества Заболоцкого с привлечением его пристрастий в области живописи. Это доказывает, например, интересная работа В. Альфонсова «Заболоцкий и живопись» в его книге «Слова и краски», в которой вскрываются внутренние связи и общие истоки поэзии Заболоцкого и его интереса к живописи таких художников, как Филонов, Шагал, Анри Руссо, Брейгель, Рокотов, Боттичелли. Действительно, перечисленных художников поэт особенно отличал, но интересовался и некоторыми другими мастерами, среди которых — Пиросмани, Рерих, Босх. Одних он любил долгие годы, к творчеству других начал присматриваться в последние годы жизни.

Интерес к рисунку и к живописи проявился у Заболоцкого еще в детстве, во время учебы в Уржумском реальном училище. Судя по всему, он проявил в этой области незаурядные способности и, по свидетельству его брата Алексея Алексеевича, одно время пробовал писать маслом. Сам поэт в автобиографическом очерке «Ранние годы» вспоминает о реальном училище: «Особенно великолепен был класс для рисования. Это тоже был амфитеатр, где каждый из нас имел отдельный мольберт. Вокруг стояли

статуи — копии античных скульптур. Рисование вместе с математикой считались у нас важнейшими предметами, нас обучали владеть и карандашом, и акварелью, и маслом. У нас были свои местные художники-знаменитости, и вообще живопись была предметом всеобщего увлечения».

Позднее, уже в зрелые годы, Заболоцкий почти не рисовал сам, все свои интересы подчинив основному делу своей жизни — поэзии. И именно в поэзии его живописное начало пустило прочные корни. По-видимому, весь склад характера и способ мышления поэта способствовали этому. Читая его стихи, иной раз кажется, что он видел их, а иногда и слышал слагающие их образы и созвучия. Бывало, что он реально видел их в своих сновидениях. Так, работая в Караганде над переводом «Слова о полку Игореве», он писал Н. Л. Степанову: «... я люблю «Слово» и, ложась спать, вижу его во сне». Не случайными представляются и строки одного из его стихотворений:

Я увидел во сне можжевельный куст,
Я услышал вдали металлический хруст,
Аметистовых ягод услышал я звон,
И во сне, в тишине, мне понравился он.

В молодости Заболоцкий пытался иногда переносить интересовавшие его образы на бумагу. В двадцатые годы, увлекаясь деформацией человеческой природы, в некоторых стихотворениях («На рынке», 1927; «Обводный канал», 1928) он изображал наряду с красочными рыночными натюрмортами и рыночных калек. И в стихотворении «Бродячие музыканты» (1928) — «горбати́к, скрипочку приплюснув подбородком, слепил перстом улыбочку на личике коротком». В то же время Заболоцкий любил рисовать уродливые фигурки людей. Об этих рисунках вспоминает И. Синельников, описывая комнату на Конной улице в Ленинграде, где он бывал у Заболоцкого в 1928 году: «Это небольшие рисунки, сделанные разноцветной тушью и прикрепленные к стенам. Все они изображали каких-то уродцев. Это были произведения самого Заболоцкого. На столе лежали два сборника его стихов в красочных, разноцветных обложках. Заболоцкий сам их рисовал».

В тех же воспоминаниях говорится едва ли не о первом знакомстве поэта с творчеством

Питера Брейгеля, которое произошло в конце двадцатых годов: «Как-то Николай Алексеевич сообщил мне, что провел вечер у Николая Тигонова:

— Это был интересный вечер. Николай Семенович, между прочим, показывал привезенные им из-за границы книги по искусству. Что-то читал. А я весь вечер смотрел альбом Брейгеля...

Монография о Брейгеле-старшем произвела на него сильное впечатление. Николай Алексеевич не уставая рассказывал об этом чудесном художнике».

С тех пор Брейгель стал одним из наиболее почитаемых Заболоцким художников, привязанность к которому сохранилась у поэта до конца жизни. В пятидесятых годах репродукция картины Брейгеля «Охотники на снегу» одно время стояла за стеклом его книжного шкафа, и он не раз с особым удовольствием говорил о ней. Он даже хотел заказать копию этой картины. Как-то особенно близок был Заболоцкому брейгелевский взгляд на мир и на людей, особым образом расположенных в этом мире.

Из поздних увлечений Заболоцкого в области живописи следует особенно отметить русского художника-портретиста XVIII века Рокотова, на которого поэт обратил пристальное внимание в начале пятидесятых годов. В этот период его начинают занимать конкретные лица людей с проглядывающими в их чертах характерами и судьбами. В стихах поэта пятидесятых годов мы находим поэтический результат этих в известной степени новых для него устремлений. Он пишет такие стихотворения, как «В кино» (1954), «Некрасивая девочка» (1955), «Детство» (1957), в основе которых лежат наблюдения за лицами людей и попытки экстраполировать внешние черты на внутреннюю сущность человека и его отношение к миру. В этом плане обобщающим является стихотворение о «Красоте человеческих лиц» (1955), где живописное начало сливается с музыкальным началом в общем гимне выразительности человеческого лица:

Поистине мир и велик и чудесен!
Есть лица — подобья ликующих песен.
Из этих, как солнце, сияющих нот
Составлена песня небесных высот.

Не удивительно, что примерно в это же время Заболоцкий стал особенно внимательно присматриваться к портретной живописи, пытаясь постигнуть тайну изображения художественными средствами «души изменчивой примет». Творчество Рокотова привлекло его особое внимание. Он ходил в Третьяковскую галерею

и подолгу рассматривал рокотовские портреты, читал книги о Рокотове. Однажды в 1953 году приобрел женский портрет этого художника или его школы, повесил его дома на видном месте, любил поговорить о нем с приходившими к нему знакомыми. Среди книг поэта сохранилась небольшая книжка А. В. Лебедева «Ф. С. Рокотов (этюды для монографии)» с подчеркнутыми Заболоцким несколькими фразами. Там, в частности, выделены слова: «... то трепетанье живой жизни, та одухотворенность, которая удавалась только Рокотову и которая никогда не удавалась копировальщикам с него». Эта неуловимая трепетность, двойственность выражения, загадочность взгляда и улыбки в сочетании с классическими формами портрета XVIII века и привлекали поэта.

Вот тогда, изучая творчество художника, выдвинул он среди других картин портрет Струйской и написал свое известное стихотворение «Портрет» (1953):

Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.
Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?
Ее глаза — как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза — как два обмана,
Покрытых мглою неудач.
Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуйскуп,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.
Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Ее прекрасные глаза.

А в 1957 году во время поездки в Италию Заболоцкий посетил галерею Уффици во Флоренции и долго стоял там перед картинами Боттичелли, которые привлекли его внимание прежде всего изображенными на них лицами. В записной книжке поэта среди других записей имеется краткое, для памяти, перечисление деталей, открывающее его восприятие живописи этого художника:

«Виноградные лица у Боттичелли... (далее следует перечисление пяти картин художника).

Тайна в уголках губ. Они глубоки и нежно-туповато очерчены. Тонкие высокие брови. Глаза дивной чистоты или широко открыты или опущены. Золотые кудри расчесаны в завитки. Длинные белые руки и пальцы. Алмазная (?) корона. На лице Мадонны задумчивая нежность и легко страдающая покорность судьбе. Тосканский пейзаж на заднем плане».

Как видно, поэта привлекали в произведениях Боттичелли черты, в чем-то сходные (не по характеру исполнения, а по существу своему) с чертами портретов Рокотова. Это все те же «души изменчивой приметы»: «тайна в уголках губ», «задумчивая нежность», «страдающая покорность судьбе» — то, что так важно было

для него и во внешности наблюдаемых им людей.

Приехав в Москву, Николай Алексеевич с особым воодушевлением рассказывал об этих «виноградных лицах» и мадоннах великого итальянского художника. Это было последнее его увлечение в живописи.

Осия Брик

В архиве О. М. Брика (1888—1945) сохранилась рукопись его статьи «О Хлебникове», до сих пор не публиковавшейся.

Редколлегия считает, что статья эта представляет интерес для тех, кто хочет полнее представить себе пути развития русской советской поэзии.

О ХЛЕБНИКОВЕ

Мы ехали с Хлебниковым в трамвае. Сидели друг против друга. На Хлебникове была большая шуба с меховым воротником-шалю. На голове меховая шапка. Он сидел, несколько откинувшись назад, чуть прикрыв глаза и надув губы. «Витя! Вы сейчас очень похожи на старообрядца», — сказал я. Хлебников мгновенно, не задумываясь, спросил: «А какого толка?» Я смутился. «Не знаю какого. Вообще на старообрядца». — «Я потому спрашиваю, что старообрядцы носят бороды, а я бритый».

У кого-то, кажется у Кульбина, зашел разговор о порче русского языка беженцами. Это было в Питере, во время войны. Кто-то ораторствовал о киевлянах, которые-де вносят в русскую речь свой провинциализм. Когда Хлебников сердился, он выкрикивал слова высочайшим тенорком. Он крикнул петушьим криком: «Провинция происходит от латинского «рго» и «vin-sege», что значит завоевывать. Провинция это завоеванная страна. В отношении русского языка провинция Питер, а не Киев».

Для Хлебникова слова «старообрядец», «провинция» и все прочие слова человеческой речи были не условными значками, что-то «приблизительно» означающими, — для него каждое слово цвело пышным, ветвистым деревом со всеми своими смыслами и звучаниями, со всеми своими видовыми сходствами и различиями, со своими синонимами и омонимами.

Для огромного большинства людей слова — это случайные звукосочетания, которым «условились» придать то или иное значение.

Вне этой условности данные звукосочетания ничем от «бессмысленных» звукосочетаний не отличаются.

Это похоже на то, когда люди играют в карты на фишки. А в качестве фишек «у с л о в н о» пускают в ход какие-нибудь предметы: спички, орехи, пуговицы. Образовываются две категории спичек, орехов, пуговиц. Спички, которые зажигают, — и спички, «которые имеют хождение». Орехи, которые едят, — и орехи, «которые деньги». Пуговицы, которые пришивают, — и пуговицы, которыми можно дать сдачи за спички или за орехи.

Что произошло, когда я сказал Хлебникову, что он похож на старообрядца? Хлебников «смутно» напомнил мне «какие-то» где-то виденные изображения «каких-то» старорусских людей. И я «приблизительно» обозначил комплекс увиденного и вспомненного словом «с т а р о о б р я д е ц».

А для Хлебникова слово «старообрядец» имело не «приблизительный», а большой, многообразный смысл, в который, между прочим, непременно входило понятие «борода». Поэтому сказанное мной слово «старообрядец» никак не покрывало обозначенного им явления — безбородого Хлебникова.

Причем — и это важнее всего — для того чтобы ощутить «непокрытие» словом действительности, надо было ощутить действительность не менее полно, чем слово. Нужно было вспомнить о бороде не только в комплексе по-

нятия «старообрядец», но и в комплексе «безбородого» человека, которого этим словом пытались обозначить.

Хлебников знал не только значение слова «провинция», но и значение Питера и Киева.

Хлебников был человек огромных знаний и острейшего чувства действительности. Какая чепуха говорить о Хлебникове, что он был не от мира сего! Он знал и ощущал сей мир во всех тонкостях, во всех изгибах его исторической судьбы и человеческой психики. Прочтите его внимательно — и вы обнаружите в его стихах, в его прозе, в его письмах мильон необычайно тонких, необычайно метких, верных наблюдений, деталей весьма «сегомирного» характера.

Когда Хлебников «выдумывал» слова, он их выдумывал для того, чтобы назвать новорожденное явление или новооткрытую разновидность явления. Хлебников никогда не был эстетом слова. Он никогда не мыслил слова вне того предмета или факта, которые оно должно было обозначить.

Когда Хлебников создавал свое «Заклятье смехом», он был убежден, что каждое его слово найдет себе место в многообразии реального комплекса «смех».

Крученых говорил: «Слово «лилия» захвачено, я говорю «Еуь» — и белоснежность лилии восстановлена». Это эстетство. Новому слову не соответствует никакое новое явление и никакой новый оттенок явления. Просто цветок лилия меняет свою кличку. Откликнулся на «лилия», будет откликаться на «Еуь». И только. Для Хлебникова это было мало. Хлебников вместе с новыми словами давал новые реальности. В этом все дело.

И главное — Хлебников никогда ничего не «выдумывал», не «изобретал». Он открывал. Изобретатель создает несуществующее. Открыватель передает людям то, что всегда существовало. Поэтому создания изобретателя могут не начать существовать, могут оказаться мертворожденными. А открытия — они всегда существовали, вопрос о возможности их существования даже не ставится. Электричество было открыто. Электрическая лампочка была изобретена. Гении открывают, таланты изобретают.

Хлебников не выдумывал слова. Хлебников показывал нам в языке такие стороны, о которых мы не подозревали.

Кирсанов берет два слова и делает из них третье. И это третье слово никакой «третьей» реальности не соответствует. «Люблотики». Что это, новый сорт лютиков? или новый оттенок любви? Ни то, ни другое. Это «objet d'art», «произведение искусства».

Скажут, а как же «слово, как таковое»? Имен-

но — «как таковое». Слово непременно должно относиться к реальному — иначе оно «не таковое».

Переводить с одного языка на другой — не значит переводить слова одного языка словами другого. Это значит — пересказать словами своего языка реальности, рассказанные словами языка чужого. Чтобы хорошо переводить, надо знать не только языки, но главным образом ту реальность, о которой идет речь. Как бы ни знал человек языки, он не сумеет хорошо перевести роман из жизни, предположим, негров, если он понятия не имеет о неграх и об их жизни. Огромное большинство ляпсусов и курьезов, которыми пестрят переводы, происходят не от незнания языка, а от незнания предмета, о котором идет речь.

Кстати, — «слово греческое, ничего не значащее», — это спичка, не ставшая фишкой. Но это, конечно, не «слово». Слово не может ничего не значить.

«Заумь» не есть «заумная речь». Это именно «заумь», внеречевое сочетание членораздельных звуков органов человеческой речи.

Но с того момента, как некое заумное звуко сочетание находит себе свою реальность, оно становится словом. Так было с выдуманным словом «хлыщ».

И обратно: если для новой реальности выдумывают искусственное слово по способу сочетания смысловых отрезков — так выдуманы все наши советские составные слова, — то выживают только те, которые, преодолевая свою фрагментарность, добиваются цельного, им только присущего, звучанья. Например — нарком, комсомолец, политрук. Они были наскоро шиты из словесных лоскутов — они стали полноценными словами.

У Маяковского в «Про это» есть изумительное словообразование (строка 613-я). Все время оргельпунктом звучит тема любви. На 577-й строке вступает тема путешествия на север.

Бегут берега — за видом вид.

И — на 609-й:

Что за земля? Какой это край?
Грен лап люб-ландия?

На одно мгновение пересеклись две темы — тема любви и тема путешествия. И как искра вспыхнуло слово «любландия». Да, слово! Потому что им обозначена реальнейшая из реальностей: искомое всей поэмы, ее конечный смысл.

Но величайшей пошлостью было бы выкопывать любландию из контекста поэмы и внести ее в словарь русского языка: «Любландия — страна любви». Почему пошлость? Потому что

реальность, обозначенная словом «любландия», — неповторима, единична, только в нем, в Маяковском, в данный творческий момент существующая: ее нельзя обобщить. Мгновенно вспыхнувшее и озарившее эту реальность слово нельзя сделать расхожим словом. Любландия — это и не страна любви.

У Маяковского много таких неповторимых поэтических вспышек и взрывов. Маяковский лирик. И лирика его автобиографична. История его времени тоже часть его автобиографии.

Это было с бойцами или страной,
или в сердце было в моем.

Вариант знаменитой формулы величайшего лирика Генриха Гейне: «Мир раскололся — и трещина прошла через мое сердце».

А Хлебников был совсем другой. Хлебников ни в какой мере, ни в самой наималейшей, не был лириком.

Это не значит, что Хлебников не бывал лирически взволнован — что он был сух, черств и бесщеден. Он был вспыльчив. Был смешлив. Часто сильно грустил.

Но Хлебникову в голову не приходило про это, про свои эмоции писать стихи. Он был скрытен и стыдлив. К тому же у него было иное отношение к слову. Слово для Хлебникова было меньше всего «выразительным средством», слугою мысли и чувства.

Слово для Хлебникова жило своей богатой звучаньями и значеньями жизнью. Хлебников бросал слова на бумагу, как звезды по небу, и по ним гадал о судьбах человека и человечества.

В чем смысл слов? Не в том, что они значат — а в том, что они могут значить. «В полном смысле слова...» Что такое — этот «полный смысл слова»? Это — все безграничное многообразие сущих и возможных значений слова. А слово в быту, в человеческой обыденщине, это слово в «неполном своем смысле», слово, в котором только ничтожная часть его смысла имеет хождение, — эта часть, которая практически нужна для «обмена» или для «выражения».

А Хлебников писал полными смыслами слов. И слова его, полные до краев, становились друг к другу не сливаясь, не согласуясь — а, как звездные миры, существуя по законам притяжения и отталкивания.

У Хлебникова не сочетания слов — а созвездия слов. Хлебников — поэт-звездочет.

«Звезды, гадание по звездам, звездочет» — все это «образно» и туманно. Согласен. Но это — Хлебников. Звезды, их жизнь, их строй, законы их движения — несомненный прообраз творческой системы Хлебникова. Он много говорил о звездах.

«Ясные звезды юга разбудили во мне халдеянина» («Учитель и ученик»).

... «...записывай дни и часы чувств, как если бы они двигались как звезды...» (письмо к Каменскому).

... «...у меня есть уравнения звезд, уравнения голоса, уравнения мысли, уравнения рождения и смерти» (Письмо к В. В. Хлебниковой).

Тут как раз уместно рассказать о математических вычислениях Хлебникова. Но я хочу еще немного сказать о Хлебникове-поэте.

Для Хлебникова «слово в полном смысле» — это не только все значения слова, но и все его звучания, — потому что каждое звучание для Хлебникова полно смыслом. Каждый звук человеческой речи осмыслен. И Хлебников создает смысловые созвездия слов на *М*, на *В*, на *С*, на *К* — вызывающие улыбку у «деловых» людей.

Чему улыбаются деловые люди? А как же не улыбаться, когда Хлебников хочет их надуть самым наивным образом. Хлебников пишет: «*К*» начинает или слова около смерти: колоть, койка, конец, кукла, или слова лишения свободы: ковать, кузня, кольцо, ключ, круг, — или слова неподвижных вещей: кладь, колода, камень, кот».

«Ха-ха-ха! А кисель? а курица? а колбаса? Это что же? около смерти? или лишение свободы? или неподвижные вещи? Бросьте, не надуйте!»

Но деловые люди смеются зря. Какое дело Хлебникову до слов, которые не входят в созвездие? Какое дело стихотворцу до слов, которые не рифмуются? — эти-то рифмуются! Какое дело Хлебникову, что не в с е слова на *К* им охвачены? И кому это нужно: кропотливо распределить все слова на *К* по их значению? Разве этим занимался Хлебников?

Идиоты! Хлебников не каталогизатор слов, Хлебников — поэт. Хлебников рифмовал слова — рифмовал их по звучанию и по смыслу. Он создавал поэмы на *К*, на *М*, на *С*, на *В* — чистейшую поэзию, — поэзию величайшего мастера, в которой слова сочетаются не силлогизмами практической речи — а свободно, самовито, по собственным законам «слова, как такового».

Самая замечательная книга — это словарь, книга языка. В нем имеется не только все, что уже сказано, и все, что будет сказано, — но и все, что м о ж е т б ы т ь сказано. Деловые люди этого не говорили и не скажут. Оно им не требуется, ни к чему им! Бедные деловые люди: они никогда не прочтут Хлебникова!

Два материала о русской рифме сошлись на страницах «Дня поэзии». Письмо знаменитого поэта Константина Бальмонта и статья нашего современника Давида Самойлова как бы «рифмуются» между собой. Поэтому мы поставили их рядом.

Письмо К. Бальмонта публикуется впервые, с небольшими сокращениями.

К. Бальмонт

О РИФМЕ ВЕРНОЙ И РИФМЕ НЕВЕРНОЙ

Письмо к юной поэтессе

Мой юный друг, я издавна, с большим сочувствием и, сказал бы, с душевной созвонностью — про себя, написав скучное слово сочувствие, — слезу за еще не окрепшим, но красивым вашим поэтическим даром. Вы любите вечер, тонкий налет грусти, ощущение разлуки в самом миге свидания и находите для выражения ускользающих настроений не по-юному четкие, меткие строки. Но скажите, вы, любящая честность выражения, вы, избравшая своими водителями Пушкина и еще более Баратынского, вы, которая, не желая подчиниться моему влиянию, несмотря на любовь к моему творчеству, имели мужество в течение трех лет умышленно не читать моих стихов (боюсь, что эта жертва была для вас очень легкой), — как можете вы свои четкие, верные строки заканчивать неверными, увы, расплывающимися рифмами? И притом си-сте-ма-ти-чески. Неужели срифмовать, — и притом сознательно, а иногда сознательность есть большой грех, — «слова» и «провал» или «ограды» и «сада», вместо, напр., «слова» и «божества» или «ограды» и «серенады», — есть какое-нибудь угаданье, есть своеобразие, а не просто звуковое безобразие и указание на нечуткость музыкального чувства? Или рифма должна быть, или не должна быть. Если должна, она должна быть верной. Что есть рифма? Наш превосходный Даль определяет: «Однозвучие конечных слогов, в стихах красный склад». Красный, т. е. красивый, воплощающий красоту. Вы знаете, во что одевается красота? В эллинский мрамор, в церковно правильные линии, в ткани, где каждый извив — соразмерность, в строгую верность звука и отзвука, — часто и в прихотливость, но в такую прихотливость, где за кажущейся прихотью —

строгая основа верного угадания. Не в ленточки, — одну покороче, другую подлиннее. Не в побрякушки, напоминающие утиные попискивания детских игрушек.

Слово «рифма» взято нами из греческого слова «ритмос»... Слово «ритмос» значит по-гречески «такт», «ровность в движении», в применении к речи означает, кроме того, «образ», «фигура», «пропорциональность». Прекрасно. Посмотрите, сколько тут указаний нам в самом слове. Благородные, красивые эллины писали сами без рифм, а нам подарили слово «ритмос» и любовью к ритму — певунью рифму. Это как Пушкин. Он в «Обвале» создал чисто звуковую музыку стиха, тот построенный на музыке стих, который позднее создал Фет, Тютчев и, — да будет дозволено сказать, — я, но сам он не захотел писать этим играющим стихом, а пошел по другой дороге, тогда бывшей на очереди — необходимой. Ровность в движении стиха — это и есть верная рифма, между прочим. Ибо неверная рифма есть музыкальная неприятность, неровное движение по кочкам, умышленная нестройность, а если неумышленная, то указующая на недостаточное владение музыкальным инструментом. Неверная рифма — не образ, а гротеск, безобразность или же безобразие, не фигура, понятие, означающее красивую правильность и законченность в сочетании линий, а фигурничанье, заборные узорчики, личина, в которой все и содержание — то, что она без склада и лада, не пропорциональность, составляющая аксиоматический закон высокой красоты, не Афродита и не Афина, а так себе, ничего себе, косоватая сухоручка, правая рука покороче, а левая подлиннее, и все с левой стороны она старается, левша, уютное чудо-юдо.

Вы помните, как пропел наш боготворимый, всепонимающий, рифму:

Рифма — звучная подруга
Вдохновенного досуга,
Вдохновенного труда...

Вы терпеть не можете Валерия Брюсова. Вы ужасаетесь и негодуете, что он посмел,— и плохая то была смелость,— окончить «Египетские ночи», которые Пушкин не считал надобным кончать. Но, знаете, для последовательности, вы, не принимая Пушкинского закона правильной рифмы и полагая, что неверная рифма есть дальнейший поступательный ход стихотворчества, должны были бы улучшить три эти божественные строки. Так легко, например, сказать:

Рифма — звучная подруга,
Украшаешь ты досуги
Вдохновенного труда...

И вдохновенность, пожалуй, уж тут кончается.

Вы вздыхаете, видя мою непримиримость, и предательски-рассеянным голосом говорите мне: «Но ... мне кажется, народная песня очень любит неверные рифмы?» Приветствую, что, кроме Пушкина и Баратынского, вы любите также народные наши песни. Но знаете что,— вы насчет этой песни говорите что-нибудь иное. Народная песня — не связанный никакими правилами род поэтического творчества, народная песня настолько глубинно выражается из народного сердца, что нужно быть Народом и в Народе, чтобы участвовать в создании Народной Песни. Подражать Жар-Птице нельзя. Да притом ваше утверждение неточно. Народная песня любит созвучие, а не неверную рифму. В естественном тяготении к созвучию народная песня одинаково свободно создаст — и стихи без рифмы, и стихи с рифмой верной, и стихи с рифмой неверной, и стихи, похожие на прозу, зачинающую песнь, и все это в народной песне совсем не строится систематически, как у вас, юный друг, или у злой нашей Марфы Посадницы разбойничанья в поэзии — Марины Цветаевой, которая свой крупный план посвятила за последнее время созиданию Пугачевщины в русском стихосложении.

Мне хочется сказать еще вам, что в погоне за уловлением какой-то радостной шуки в мелководных бочажках неверной рифмы вы логически пришли к звуковой — простите — тарарабумбии. Вы прислали мне очень интересное восьмистишие, оговорившись, что оно вам не нравится. Вот оно. И заранее скажу,— если вы искренни, говоря, что оно вам не нравится, а не

замыслили меня в чем-то уловить, то я рукоплещу от радости. Вы скоро исцелитесь от неверной рифмы.

Вам нравится ваше восьмистишие,— иначе бы вы не написали для самой себя,— но по вашему изяществу поэтическому, вашему тонкому вкусу, возлюбившему того, кто воспел Соименницу зари и Последнего поэта и Где сладкий шопот моих лесов? — как могли бы понравиться ваши собственные рифмы, когда, доводя до предельности закономерность вашей системы, вы изволили впасть в знакомые нам с детства грамматические звукосочетания, вроде «Белый, бледный, бедный бес» или «От топота копыт пыль по полю несется».

Итак, ваше восьмистишие:

С тихим вечером в разладе,
Я грустила у ограды,
И слегка тревожил гряды
Ветер в сумеречном саде.
И клонились ветви долу.
Грусть не в силах вынести доле,
И подвластна мерной доле,
Ночь окутывала доли.

«Разладе» вы, надо думать, рифмуете с «гряды», а «ограды» с «саде». Но — природу гони в окно, она войдет в дверь, гони в дверь, влетит в окно или даже через щель проберется. Ведь вы правильно срифмовали, но только 1-ю строчку с 4-й, а 2-ю с 3-й. Допустим, однако, что вы рифмовали «по-своему» 1-ю строку с 3-й и 2-ю с 4-й. Господь с вами, наша тяжба слишком затягивается. Но это «долы-доле-долу-доле!» Зззззз, как гармошка! Как хотите, я даже народную песенку вспомнил одну. Екатеринбургско-славскую:

Крыса с мышей задралася,
Крыса в яму убралася,
Да не взялся Терешка,
Вмотал крысу в рогожку,
Да понес на базар,

Никто крысы не купает,
Никто даром не берет.

Бедная крыса. Но вот я ее беру. И говорю. Юный друг, если вы хотите, чтоб смена рифм была певучей, постарайтесь, чтоб ударная гласная в 1-й и 2-й строках была не одинаковая, не «а—а», не «о—о», а скажем «а—и», «о—у» и т. д. Если вы именно стремитесь к особому напевному действию монотонности, так потрудитесь одевать свою ударную гласную в нетождественные согласные... Восьмистишие ваше прелестно, хотя с краю, где рифмы, вы бедное свое детище окутали в безобразные цыганские лохмотья, совсем не романтические и не загадочные...

Ни Пушкину, ни Баратынскому, ни Тютчеву, ни Фету, ни покорному вашему слуге еще не приспела пора простонать: «Мне время тлеть, тебе цвести». Нет, ваш талант цветет и расцветает, но не сорная поросль, которая называется неверной рифмой. И от верного заполнения души высоким созерцанием, проникновенною ощущью того строя, который чувствуется везде в Природе, неизбежно в душе поэта рождаются верные рифмы.

Как ни божественно воспел рифму Пушкин, Баратынский воспел ее еще божественно.

нее. Вы помните, как кончается его гимн. Завет поэту.

...Ты, рифма, радуешь одна
Подобно голубю ковчега,
Одна ему с родного берега
Живую ветвь приносишь ты,
Одна с божественным порывом
Миришь его твоим отзвучием
И признаешь его мечты.

К. Бальмонт

VIII. 1928 г.

Публикация Н. К. Бруни-Бальмонт

Д. Самойлов

ПОЭТЫ О РИФМЕ

Несколько лет тому назад я разослал своим собратям по ремеслу анкету о рифме. Послал анкет числом более ста. Получил ответов ровно тридцать. Видно, не заинтересовали большинство моих братьев вопросы о рифме прежних и нынешних времен. Многие, возможно, заняты были более важными проблемами. И потому не собирались ответить. Но думаю, что число неотвечивших свидетельствует все же об отсутствии жгучего интереса к рифме у трех четвертей моих адресатов. Ежели бы что-нибудь их задело, ответили бы, нашли время. Да, по совести сказать, и среди ответивших многие послали мне письма больше по дружбе, чем из интереса. А иные и не скрывали своей иронии по поводу моего «хобби».

«До чего ты мудрый парень,— писал мне Марк Соболев,— я прямо завидую! Из-за тебя я должен размышлять над вещами, о которых вообще никогда всерьез не размышлял. Придется — только ради дружбы! — отвечать на твою анкету...»

Да не посетуют на меня Соболев и другие товарищи, что я привожу здесь их высказывания. По идее анкета предназначена для опубликования. И если по незначительности числа ответов трудно их классифицировать и разложить по категориям, как это следовало бы сделать при научной разработке, немало в них и ценных мыслей, наблюдений и соображений, достойных обнародования.

Первый мой вопрос был: считаете ли Вы рифму важным или второстепенным элементом стиха?

Важным, важнейшим, первостепенным, не-

обходимым,— безоговорочно отвечают двадцать два поэта. «Русского стихосложения» — уточняет С. Наровчатов.

Покойный С. Васильев ставит рифму в стихе после мысли «первой, а потом уже все остальное — эпитет, метафору и т. д.»

Однако «плохие стихи хорошими рифмами не спасешь», — резонно замечает Евг. Евтушенко.

А. Межиров ответил так: «Старые исследователи литературы считали ритм более «благородным» (употреблялось именно это слово) и важным элементом стиха. Такое суждение представляется мне ошибочным. Вообще весьма нежелательно разделять стих на элементы. Слишком все в нем связано. Если бы стих можно было разять на составные части, я ответил бы, что рифма является важным его элементом. Но разять нельзя. Иначе все сведется к буриме».

Точку зрения противоположную сторонникам рифмы предельно кратко сформулировал Е. Винокуров: «Рифма может быть и не быть».

Подобный же взгляд излагает в своем эмоциональном письме Павел Григорьевич Антокольский: «Я знаю, что вне р и т м а нет поэзии вообще. Это закон. С рифмой дело обстоит сложнее. Она м о ж е т быть, но отнюдь не д о л ж н а». И дальше: «Повторяю и настаиваю: все дело, вся тревога, вся с т р а с т ь, наконец — один только царь и бог нашего брата — РИТМ».

«Рифма — вроде пуговиц,— иронизирует А. Марков,— чем дешевле материал, тем они ярче, бросче».

Фазиль Искандер, тоже склонный к иронии, на сей раз изъясняется почти серьезно: «Рифма — созвучие. Стихотворение, построенное по правилам созвучия, должно иметь рифму, иначе нарушается закон игры. Следовательно, рифма настолько важна, насколько во всякой игре важно соблюдать ее правила. Ни больше ни меньше».

Конечно, такой ответ должен порадовать В. Куприянова, горячего сторонника «игры по другим правилам». Он пишет: «Рифма является второстепенным элементом рифмованного стиха. Ее полное отсутствие является важным в безрифменном стихе».

«В рифмованном стихе (рифма) — элемент важный, — неохотно соглашается В. Британинский, — но роль ее у разных поэтов была разной: мы помним рифмы Маяковского, но не помним рифмы Тютчева».

Бедный Тютчев! В ответах на другие вопросы многие поэты довольно низко оценивают его рифмы.

Самый изящный ответ на анкету прислал Булат Окуджава, не поленившись написать его от имени своего героя — бедного Авросимова. Не могу удержаться от цитаты.

«Милостивый государь Давид Самойлович!

Большую радость испытал я, получив Ваше письмо с анкеткой, но и не меньшую горечь.

Посудите сами: уж если Вы пишете письма, да, мало того, рассуждаете о всяких материях, стало быть, Вы в добром здравии, и есть отчего радоваться...

Это прямо удивительно, как Вас хватает рассуждать о сих предметах, когда происходят такие события в мире! Ведь люди погрязли в суеи и всяких прожектах, а Вы, милостивый государь, всё о рифме да о рифме, ибо, как Вы, наверное, полагаете, все — преходяще, лишь она одна — вечна. Меня это умиляет и восхищает, хотя, боюсь, не могу служить Вам полной мерой по причине старости, неграмотности и равнодушия». И дальше — ответ на вопрос анкеты:

«Куда ж от нее деться? Будучи проставлена в конце, она ведь не просто слово, она, если хотите, тонкость нашего слуха и изящество нашей души».

Второй мой вопрос: каковы, по Вашему мнению, перспективы русского безрифменного стиха: белого? свободного?

«Жалкие», — кратко заявляет Ст. Куняев. К этой точке зрения с большей или меньшей категоричностью присоединяются двадцать поэтов. Но и тут есть некоторые вариации. Иные поэты просто лично не принимают свободный стих и потому не обсуждают его перспективы.

«Верлибру — не верю! В наш век унифицированной мысли и бедности подлинных эмоций, но зато резко возросшего умения версификации и выдачи на-гора псевдомыслей, без эквилибристической рифмы не на чем держаться» (М. Соколь).

...«Подавляющее большинство авторов, пишущих в основном свободным стихом, по моим наблюдениям просто не умеют прилично рифмовать, поэтому и пишут без рифм» (Н. Старшинов). «Верлибр... как основная форма путь гибельный» (И. Снегова).

И снова иронизирует А. Марков: «Перспективы белого стиха, тем более свободного стиха — не вижу. Впереди маячит серый стих».

Все же многие как-то объясняют судьбу безрифменных форм в России. С. Наровчатов: «Пока в них нет серьезной заинтересованности (в белом стихе и свободном) ни у читателей, ни у поэтов. Видимо, нужен какой-то большой пример постоянного использования белого и свободного стиха. Либо крупный поэт, либо целое поколение, либо поэт и поколение вместе должны приучить читателя к этим формам. И не эпизодическими свершениями, а постоянными».

Вс. Рождественский выражает довольно пространное мнение, что свободный стих «не в природе русского стихосложения».

«РИТМ. РИТМ и еще раз РИТМ — первооснова сущего во всех искусствах», — продолжает свою оду ритму П. Антокольский. «Не может быть свободы от ритма».

Все же есть группа поэтов, которая подходит к вопросу о безрифменном стихе с некоторой раздумчивой осторожностью.

Любопытен в этом отношении ответ А. Межирова: «Белый стих (преимущественно пятистопный ямб) одна из исконных форм русской поэзии, существует много лет и будет существовать, а развиваться будет что-то другое. Как может развиваться белый стих «Моцарта и Сальери»? Приблизительно то же самое можно сказать о свободном стихе, хотя что-то мешает его существованию в русской поэзии. Нередко он звучит, как перевод (м. б., свободный стих является привилегией силлабики, но это слишком темная догадка). И все же стихи можно писать как угодно. Это главное. В русской литературе есть замечательные произведения, написанные свободным стихом. Они существуют немало лет и будут существовать, но не развиваться».

Межиров справедливо различает судьбы белого и свободного стиха, объединенных в одну категорию безрифменных. «Что касается «белого» стиха, — пишет Вс. Рождественский, — то его перспективы поистине безграничны».

«Белый стих в русской поэзии, на мой взгляд, кончился на Блоке», — заявляет П. Вегин.

Белый стих является органической частью действующего у нас стихосложения, видимо, он разделит с ним свою судьбу. Нас, конечно, больше интересуют прогнозы относительно свободного стиха.

Ю. Ряшенцев в целом сторонник свободного стиха, но он «убежден, что простой механический отказ от рифмы без всякого поиска компенсации в верлибре мало перспективен». В качестве примера найденной «компенсации» приводятся стихи М. Кузмина. Среди удавшихся русских верлибров поэты вспоминают стихи Фета, Блока, Брюсова, из наших современников — Ксению Некрасову. Почему-то забыт Хлебников.

Честно признается О. Дмитриев: «Всегда не любил верлибр, но сейчас чувствую, что бывают состояния, для выражения которых он необходим».

Но это значит, что можно представить себе поэта, чьи состояния всегда требуют свободного стиха? Дадим слово его сторонникам.

«Будут развиваться и белый стих и верлибр», — по обыкновению кратко отвечает Винокуров.

«В споре о свободном стихе я остаюсь одним из рьяных его сторонников и вижу его перспективу в зависимости от многих социальных и психологических изменений общества. Не оглядываясь на европейскую поэзию... считаю, что приход свободного стиха в русскую поэзию подготовили многие большие поэты» (П. Вегин). Приводится пример О. Мандельштама.

Неизбежность пришествия верлибра подробно обосновывает В. Куприянов: «Свободный стих имеет перспективы развития в связи со следующими предпосылками... Предпосылки, числом семь, для краткости я перескажу. Свободный стих: реализует не фонетические, а семантические возможности языка; продолжает традицию литературы на церковнославянском языке; развивает народную безрифменную традицию; вбирает лучшие традиции иноязычного верлибра, создавая образцы для перевода; более органично воспроизводит по-русски некоторые явления иноязычной поэзии; он наиболее удобен «для своевременного ознакомления иноязычного читателя с нашей идеологией»; и, наконец, — он представляет собой поэзию «в чистом виде».

Подвести итоги этой дискуссии можно было бы словами Л. Озерова: «Канон и антиканон ведут борьбу за существование, но друг без друга жить не могут» — или гуманным заявлением Н. Глазкова: «И белый и свободный стих

имеют право на существование. Борьба с ними во имя рифмы — дело бесполезное и даже дурацкое». Но мне хочется вновь дать реплику бедному Авросимову:

«Этого я просто не понимаю. То есть вы хотите знать, куда это все придет? Полагаю, что никуда. Да как это возможно!»

Я более или менее подробно развернул веер мнений по двум первым «затравочным» вопросам анкеты. Нет возможности в короткой статье сделать то же самое по всем остальным тринадцати вопросам. Поэтому я перескакиваю через несколько пунктов общего характера и обращаюсь к пункту конкретному.

Вопрос: что Вы считаете рифмой хорошей? Приведите примеры из себя или из другого поэта.

Сперва — общие положения, в которых как будто согласны все поэты, признающие рифму благом, а не наваждением. Таких, как известно, большинство.

Кратко: «Та рифма хороша, которая на своем месте» (И. Фоняков). «Хорошей рифмой считаю рифму незаметную в прекрасном стихотворении «Девушка пела в церковном хоре...» (С. Куняев). То же, по-своему, подтверждает Ю. Друнина: «Если я замечаю рифму... это, на мой взгляд, уже плохо: отлично шитое платье не должно затмевать самого человека. Я сторонница английского стиля в одежде, т. е. такого стиля, когда одежда не бросается в глаза».

«Все полезно, что в рот полезло», — удачно приводит поговорку Ю. Григорьев.

Хороша или плоха рифма, зависит от контекста.

Хорошие рифмы это те, которые к месту, которые «работают». «Когда-то (1954) молодой Евтушенко, — вспоминает К. Ваншенкин, — застал, услышав мою рифму: «мать-и-мачехи — математики». Он не мог себе простить, что сам не нашел эту рифму. А у меня, как ни странно, она почти не заметна...»

Раз уж зашла речь об Евтушенко, процитирую его:

«Лучшая рифма в моих стихах, может быть, «я была у Оки, ела я-бо-ло-ки». Но я ее, по-моему, где-то украл, хотя хозяин до сих пор не объявлялся».

Есть несколько «рабочих» определений хорошей рифмы: «Я люблю полную отчетливую рифму, будь она традиционной или нетрадиционной», — пишет М. Алигер. «Рифма должна быть с м ы с л о в а я. Она должна быть у д а р о м с м ы с л о в ы м. Рифмы — по смыслу должны быть совершенно разными, д а л е к и м и друг от друга, но близкими по звучанию. У каждого поэта своя система — что у

одного хорошо, у другого может быть неудачно. Для меня характерно: «вшивота — живота», «актера — костела», «ложи — слезы», беру наугад. Но это в сочетании с обычными, но «крепкими» («зарплаты — латы»)… Рифмы надо цитировать в контексте всей строфы, выдернутые они тускнеют. Так у Евтушенко рифма «приходит» и «ходит» — в контексте звучит здорово, но это вообще-то недопустимые рифмы от одного корня (как «ботинки» и «полуботинки»), — поясняет более пространно, чем в других случаях, Е. Винокуров. Практические критерии предлагает Н. Глазков:

«Качество рифмы измеряется: 1. Количеством зарифмованных букв (разумеется, при совпадении ударений. «Электричество — упадничество» при семи совпадающих буквах не рифма). 2. Краткость строки». (Выше приводится строфа из А. Полежаева:

Не для славы — для забавы
Я пишу,
Одобренья и сужденья
Не прошу.)

«3. Новизной рифмы. Поэтому рифма «гроза — глаза» средняя, а в двустиишь:

— Дорогой Андрей,
Над вершинами Анд рей! —

рифма хорошая».

А теперь приведу примеры хороших, с точки зрения поэтов, рифм — «из себя» и из «других»:

«Светлов нагло рифмует «Тпру — отопру» — и в данном конкретном случае это прекрасно» (М. Соболев).

Что ж поделаешь, стареем,
Не стареет лишь хорей,
и поэтому с хореем
дело движется скорей.

(С. Васильев — из себя)

Пример «из себя» с пояснением предлагает А. Марков:

Ему залезли в рот оглоблей
И говорят, что он озлоблен.

«Я считаю, что в данном случае рифма прилагает все усилия, чтобы подчеркнуть смысл».

П. Вегин — из А. Вознесенского:

Нам виделось к в а т р о ч е н т о
и как он, искусник, смел…
А было к р о в о т е ч е н ь е,
из горла, когда он пел.

Л. Озеров: «Слякоть — плакать» (Пастернак), «ты легла — телеграмм» (Маяковский), «въезде — созвездий» (Асеев), «ягод — лягут» (Ушаков).

В. Шаламов, не указывая автора: «река — глубока».

И. Фояков: «Леденят — лейтенант» («хорошо у Евтушенко и было бы плохо, невысказано — к примеру у Рубцова»).

Н. Старшинов: «подернется — горнице», «извилистой — вылезти», «обманывающая — шафрановую», «бальзаминово — запрокинув» (Пастернак); «строится — кроется — беспокоится — роется», «хвостатая — статуя», «кажется — смажется» (Мартынов); «сиротства — роста», «Подольске — доски», «потеряно — дерево», «исконный — знакомый», «короб — задворок», «аистово — Калистово», «пбезда — боязно» (Боков).

Немало нравящихся рифм разбросано в ответах на анкету. Нет места их привести, Любопытно: редко в качестве положительного примера приводятся рифмы Маяковского. Иное время — иные рифмы.

И опять приведу слова бедного Авросимова: «Ежели мы, к примеру, читаем стих или поем его душою, наслаждаясь, а после глядь — что же это такое? Отчего это нам так прелестно было? Да в нем же рифма, оказывается! Вот оно откуда наслаждение! Хорошо-то как! Но в иные разы читаешь — и одну лишь рифму слышишь: и красива, и знаменита, и новехонька, и ловка… А что с того? Да тьфу на нее!»

На этом бы и точку поставить. Но в конце анкеты я просил поэтов прислать стихи, посвященные рифме. И несколько таких получил. Вот, ввиду краткости и для завершения, четверостишие Николая Глазкова:

Зачем нужны стихи? Кому какая польза
От ритма, рифм и прочих пустяков?
— А вы попробуйте запомнить столько прозы,
Сколько на память знаете стихов!

Аким Я. (стр. 18), Аксельрод Е. (113), Александровский В. (8), Алигер М. (204), Алиханов С. (113), Антокольский П. (17), Антошкин Е. (113), Аронов А. (114), Артамонов Р. (114), Асеев Н. (9);

Бабаев Э. (18), Балин А. (19), Бальмонт К. (232), Бек Т. (163), Белаш Ю. (115), Белинский Я. (20), Беличенко Ю. (116), Беляев М. (116), Берестов В. (20), Благинина Е. (21), Бобров А. (22), Богданович А. (116), Брагин А. (117), Брик О. (229), Британишский В. (23), Бухарасв Р. (117), Бялосинская Н. (24);

Валиков Г. (118), Ваншенкин К. (24), Васильев Я. (164), Васильева Л. (120), Васютков А. (119), Вегин П. (26), Велихова З. (121), Винокуров Е. (27), Вознесенский А. (29), Волгин И. (120), Волобуева И. (121), Воронов Ю. (122), Воропаева Л. (122);

Глазков Н. (123), Глушкова Т. (30, 173), Говоров А. (31), Городницкий А. (122), Гофман В. (123), Гофф И. (187), Грибачев Н. (32), Григорьева Л. (124), Григорьева Н. (124), Гринберг И. (172);

Дагуров В. (125), Данин Д. (219), Дементьев А. (33), Денисов Ю. (125), Дмитриев О. (126, 189), Дриз О. (212), Друнина Ю. (34), Дымова Л. (124);

Евтушенко Е. (177), Елисеев Е. (126), Еремеев Г. (36), Ермолаева О. (165), Ерхов Е. (35), Есенин С. (7);

Жаров А. (128), Жданов И. (127), Железнов П. (128), Жигулин А. (36);

Заболоцкий Никита (227), Завальнюк Л. (38), Заурих А. (39), Заяц А. (129), Злотников Н. (40), Золотцев С. (129);

Ивнев Р. (41);

Кабаков М. (130), Казакова Р. (41), Казанцев В. (43), Казин В. (8), Калина П. (130), Канькин А. (44), Капралов В. (166), Карпеко В. (46), Карпов Н. (130), Кафанов А. (46), Кашежева И. (44), Кобзев И. (131), Коваль-Волков А. (131), Ковальджи К. (132), Кожин В. (168), Козловский Я. (132), Кондакова Н. (47), Кондратьев А. (48), Копылова Л. (48), Коржиков В. (133), Корин Г. (49), Коркия В. (167), Корнеев А. (133), Королев А. (134), Костко В. (133), Костров В. (49, 194), Костюрин Д. (135), Кочетков А. (210), Кочетков В. (50), Кошель П. (168), Красиков С. (134), Кра-сухин Г. (167), Кузнецов Вал. (135), Кузнецов Ю. (134), Кузнецова С. (51), Кузовлева Т. (136), Кузьмина-Караваева Е. (206), Куняев С. (52, 192, 217);

Лазарев В. (136), Лапушин Р. (191), Левин Г. (137), Левин Л. (201), Левитанский Ю. (53), Леонович В. (56), Ливанов А. (137), Липкин С. (57), Лисьянская И. (58), Лисянский М. (138), Лифшиц В. (57), Лоциц Ю. (59), Луговская М. (138), Лучковский Е. (138), Львов М. (60), Ляпин И. (60);

Магидсон С. (210), Макарова Т. (219), Марков А. (62), Марков С. (63), Мартынов Л. (61), Матвеев В. (139), Матвеева Н. (65, 180), Матусовский М. (66), Маяковский В. (11), Медведев А. (139), Мелехин П. (139), Мельников Ю. (140), Миллер Л. (170), Митасов Е. (67), Митрофанова Т. (171), Михайлов Ал. (196), Михайлов Ю. (140), Михайловская Т. (172), Мнацаканян С. (69), Морщ Ю. (68), Моценко В. (141), Мухина Л. (141);

Нарбикова В. (141), Никифоров А. (210), Никитина В. (173), Николаев А. (142), Николаева О. (143), Николаевская Е. (143), Николукин И. (144), Новиков Н. (145), Новлянская З. (144), Новосельнова Н. (145);

Оболдуев Г. (215), Одинцова Л. (146), Озеров Л. (70, 215), Орлов С. (202), Осинин В. (146), Ошанин Л. (70);

Павлинов В. (71), Паинова И. (147), Панченко Н. (73), Парпара А. (147), Пастернак Б. (10), Передерев А. (75), Перельмутер В. (148), Петров Г. (148), Поделков С. (74), Поженин Г. (76), Полетаев Н. (7), Полторацкий В. (77), Поляков Ю. (175), Портягин Э. (217), Постникова О. (148), Потехина И. (78), Преловский А. (78), Прейма А. (149), Примеров Б. (79), Пришелец А. (209), Пьянов А. (149);

Рахманин Б. (150), Реброва Т. (176), Рерих Н. (221), Рихтерман М. (177), Русаков Г. (149), Ряскецев Ю. (80);

Савельев В. (81), Савельев И. (151), Савельев М. (150), Самойлов Д. (82, 234), Свободин А. (213), Седугин А. (83), Семакин В. (84), Семенов В. (151), Сергеев В. (152), Сидоров В. (85, 221), Слуцкий Б. (86), Смеляков Я. (11), Смергина Т. (85), Смирнов Л. (88), Смирнов Ю. (89), Соболев М. (195), Соколов В. (89), Соложенкина С. (152), Старшинов Н. (92, 193), Стрешнева Т. (91), Стройло А. (93), Субботин В. (94), Суслович Н. (153), Сухарев Д. (95), Сушкова Л. (152), Сырыщева Т. (96);

Танич М. (153), Тараканова Л. (155), Тарасов Н. (213), Тарковский А. (97, 170), Татьяничева Л. (98), Темин Л. (154), Терещенко Д. (100), Тихонов Н. (15);

Ушаков Д. (155);

Федоров Вас. (100), Федотов В. (155), Фильштейн М. (156), Флоров Г. (156);

Хелемский Я. (102), Храмов Е. (103);

Цветаева М. (223), Цыбин В. (104, 188, 212);

Челноков А. (158), Чердынцев М. (157), Чернов А. (178), Чугай О. (180), Чусов Ф. (157);

Шаламов В. (105), Шевелева Е. (158), Шестинский О. (106), Широков В. (159), Шкляревский И. (107, 191), Шленский В. (159), Шумаков Н. (160);

Щербатов Б. (183), Щипахина Л. (108), Щипачев С. (7, 16);

Эскович Н. (160);

Юдахин А. (109).

ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1978

М., «Советский писатель», 1978, 240 стр.
План выпуска 1978 г., № 142

Редактор *В. С. Фогельсон*
Худож. редактор *В. В. Медведев*
Техн. редактор *И. М. Минская*
Корректоры *А. В. Полякова*
и *Т. Ф. Ювичева*
ИБ № 1339

Сдано в набор 16.06.78. Подписано к печати 21.08.78. А10032. Формат 84×108^{1/16}. Бумага тип. № 1. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 26,88. Уч.-изд. л. 23,43. Тираж: 75 000 экз. Заказ № 2803. Цена 2 р. 40к.
Издательство «Советский писатель»,
121069. Москва, ул. Воровского, 11.

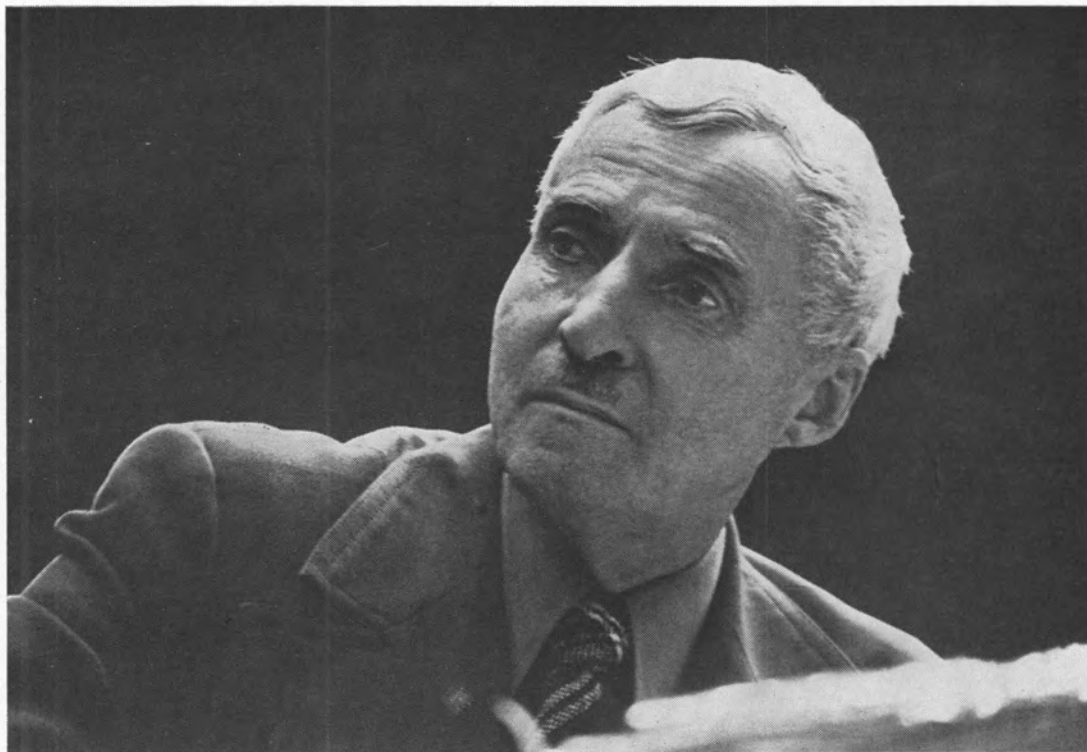
Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва М-54, Валовая, 28.

МОСКВА ПОЭТИЧЕСКАЯ

Столице нашей Родины посвящено немало прекрасных стихотворений и поэм, многие поэтические судьбы связаны с Москвой. И никого не удивляет, что именно в нашем городе завоевал всеобщее признание самый массовый литературный праздник.

... Трибуны Дворца спорта в Лужниках заполнили многие тысячи любителей поэзии. Представим себе на минуту, что мы — среди них.
Торжественная тишина в зале. На сцене — известные московские поэты...





Константин Симонов



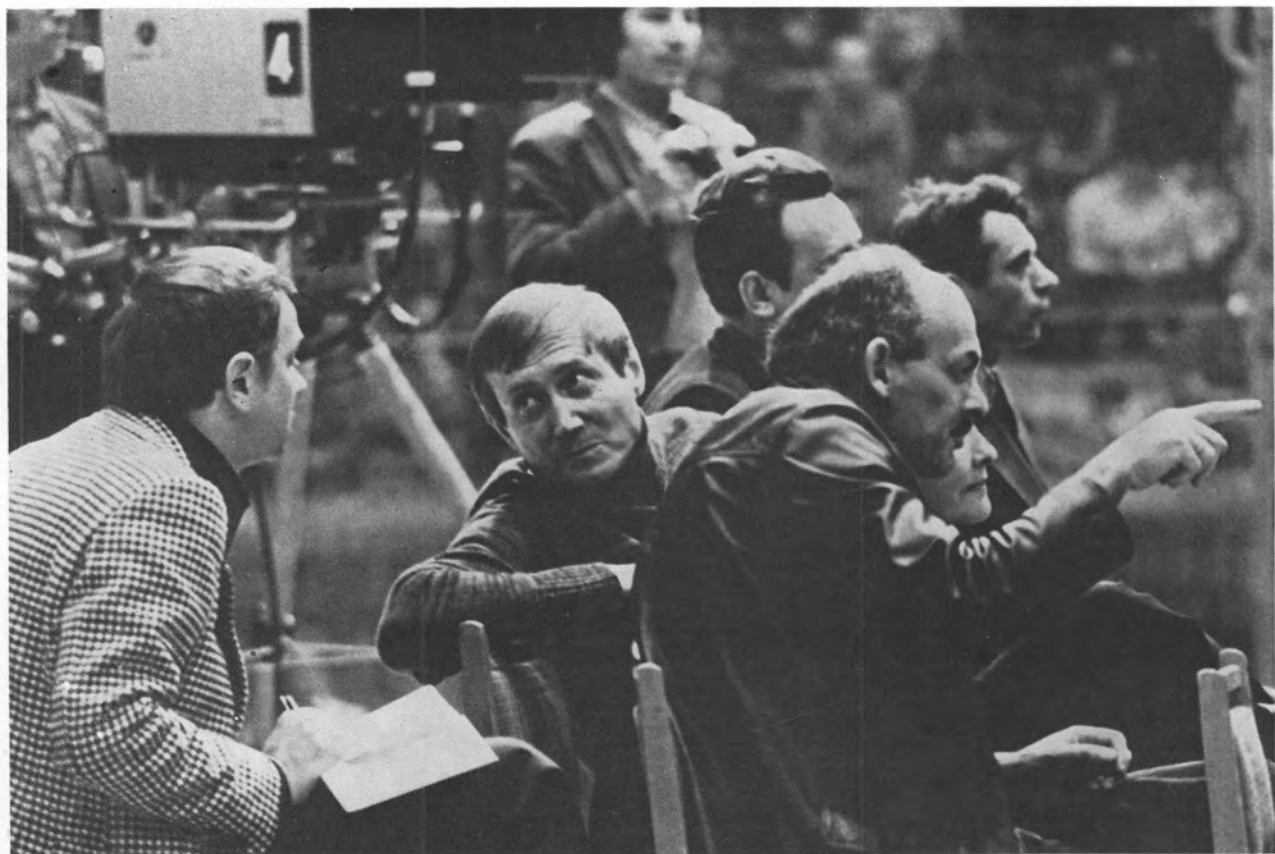
Юлия Друнина



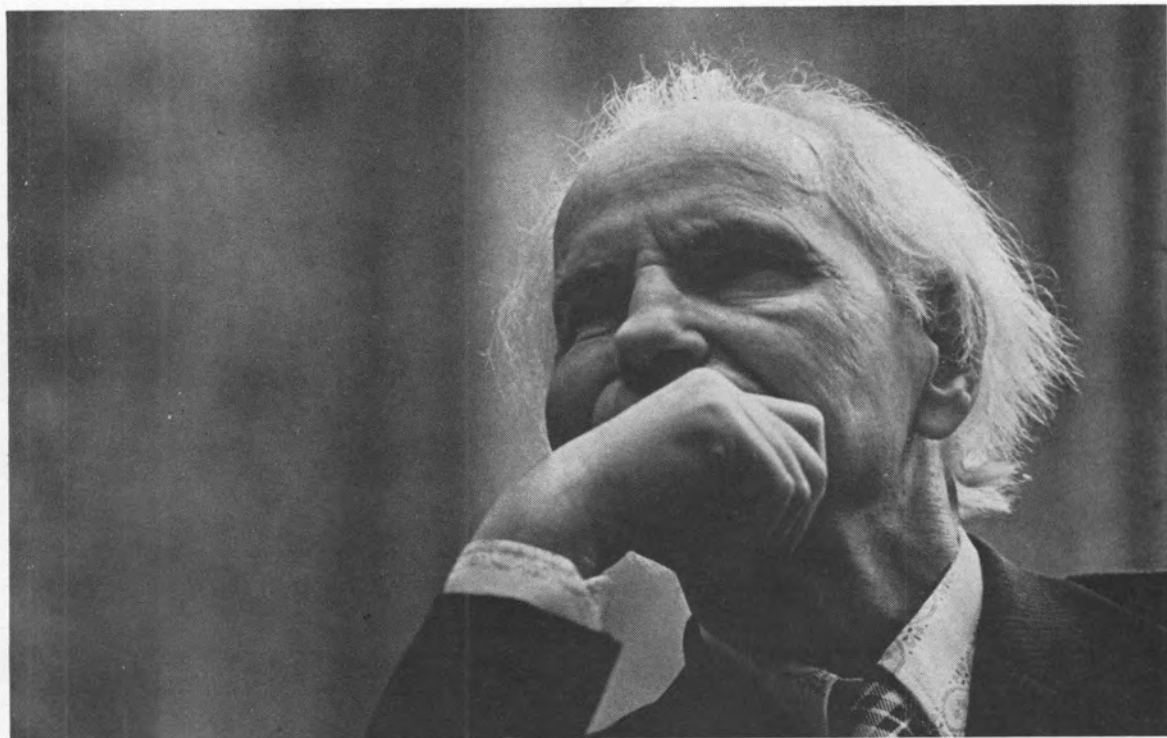
Алексей Сурков



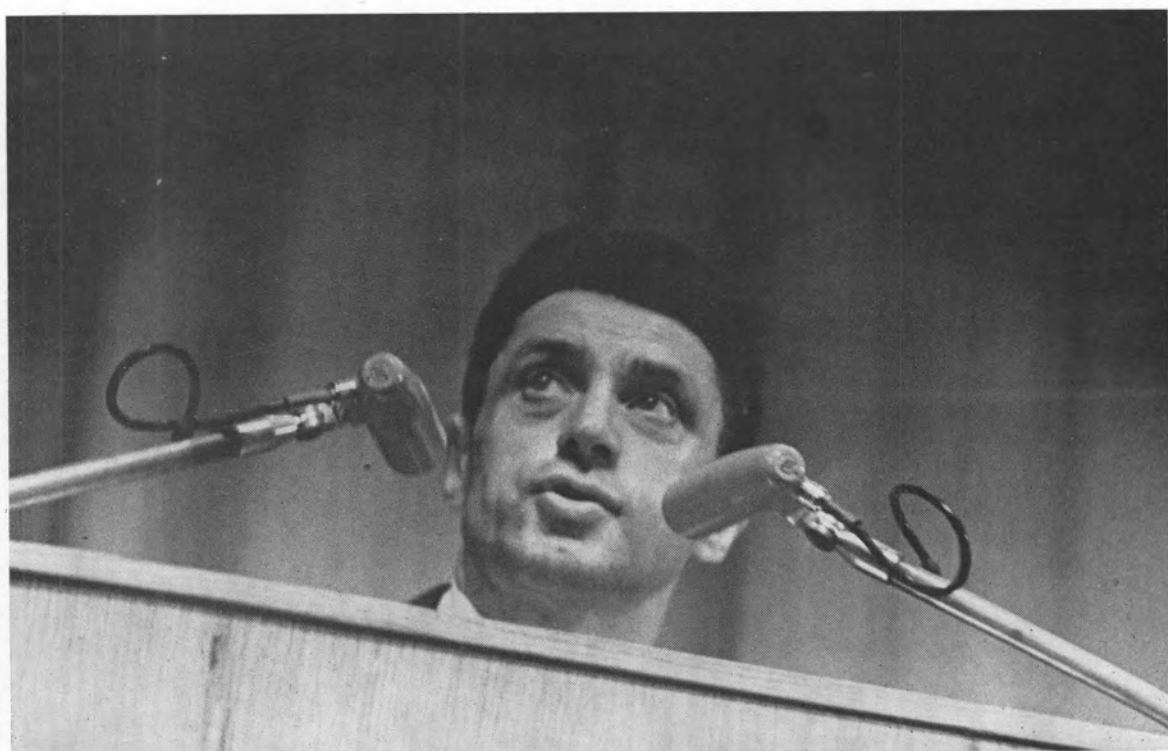
Владимир Цыбин и Егор Исаев



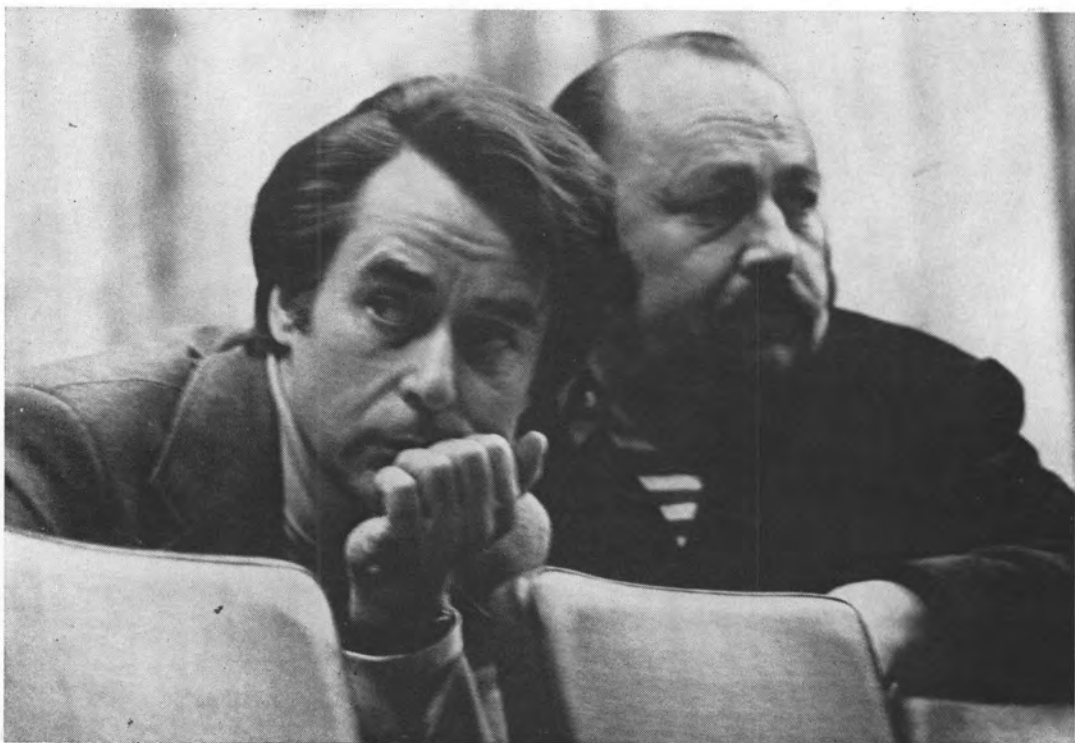
На первом плане — Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко и Булат Окуджава



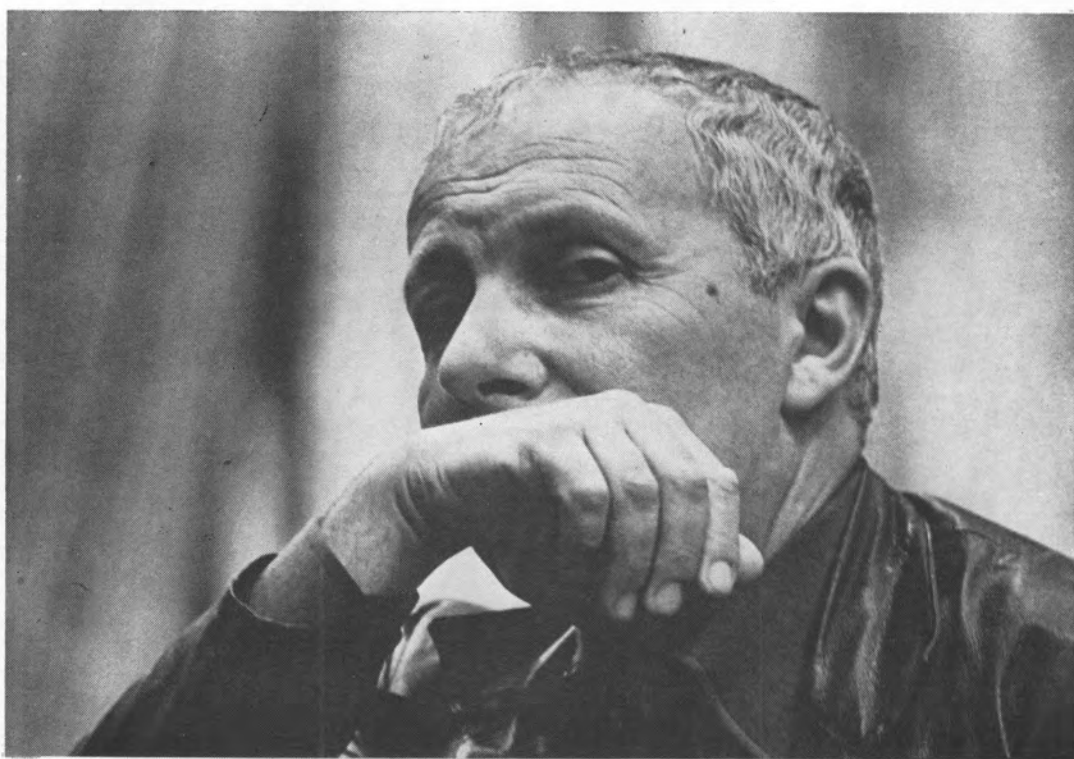
Степан Щипачев



Николай Старшинов



Андрей Дементьев и Григорий Поженян



Александр Межиров

Как продолжение «лужниковского» праздника поэзии—многие и многие встречи поэтов-москвичей с читателями в различных уголках нашей страны.



Виктор Боков в полеводческой бригаде (Донецкая обл.)



Римма Казакова на строительстве БАМа



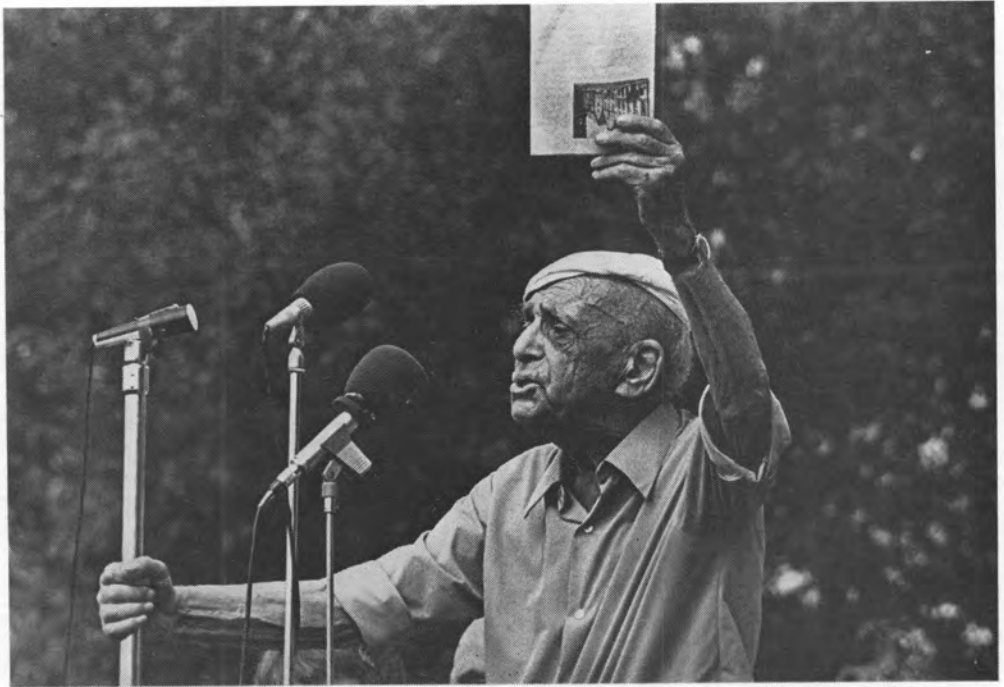
Константин Ваншенкин у шахтеров

МОСКВА ПОЭТИЧЕСКАЯ

Шестое июня — день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Цветы к подножию памятника великому русскому поэту возложили Сергей Михалков, Михаил Квливидзе, Ираклий Андроников.



Павел Антокольский выступает на блоковском празднике поэзии в Солнечногорске.



Наш город — один из главных на литературной карте Земли. Многие поэты мира были гостями Москвы.



Луи Арагон

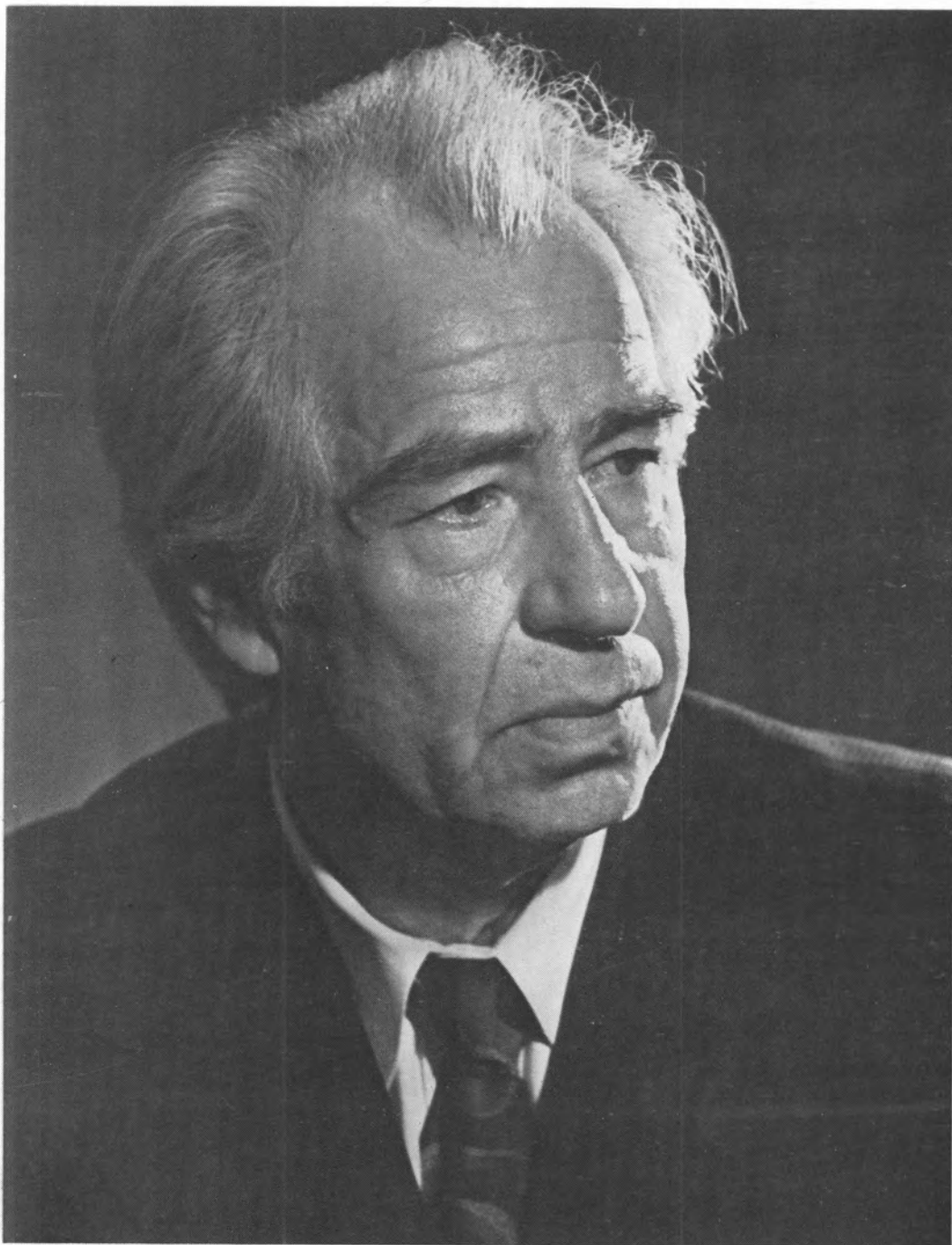
Яннис Рицос



**МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЭТОВ-МОСКВИЧЕЙ С ПРАЗДНИЧНЫМИ ДАТАМИ
В ИХ ЖИЗНИ:**



Василия Казина — с восьмидесятилетием



Василия Федорова — с шестидесятилетием



Владимира Соколова — с пятидесятилетием

В этом году исполнилось бы семьдесят пять лет Николаю Заболоцкому и Михаилу Светлову, шестьдесят — Михаилу Луконину. Мы отмечаем эти даты публикацией портретов выдающихся мастеров советской поэзии.



Николай Алексеевич Заболоцкий
(На заднем плане — портрет Струйской
работы Рокотова)

Н. Заболоцкий. Автопортрет. 1925 г.





Михаил Аркадьевич Светлов



Михаил Кузьмич Луконин

